

L. Akcunob

Сергей Тимофеевич Аксаков

Воспоминания (Очерки) (Библиотека "Огонек ")

Во второй том собраний сочинений входят воспоминания писателя, а также очерки и незавершенные произведения, такие как «Буран», "Наташа", "Очерк зимнего дня" и др.

Содержит цветные иллюстрации.

*Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т.
М., Правда, 1966; (библиотека «Огонек»)
Том 2. — 500 с. — с. 158–394.*

Содержание

СОБИРАНИЕ БАБОЧЕК (Рассказ из студенческой жизни)	0004
ВСТРЕЧА С МАРТИНИСТАМИ (Воспоминания из петербургской жизни)	0117
ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ СЕМЕНОВИЧЕ ШИШКОВЕ	0204
ЗНАКОМСТВО С ДЕРЖАВИНЫМ	0296
ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ШУШЕРИН И СОВРЕМЕННЫЕ ЕМУ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ	0339
ВОСПОМИНАНИЯ О ДМИТРИИ БОРИСОВИЧЕ МЕРТВАГО (Письмо к В. П. Безобразову)	0458
ПРИМЕЧАНИЯ	0474

СОБИРАНИЕ БАБОЧЕК (Рассказ из студентской жизни)

Собирание бабочек было одним из тех увлечений моей ранней молодости, которое хотя недолго, но зато со всею силою страсти владело мною и оставило в моей памяти глубокое, свежее до сих пор впечатление. Я любил натуральную историю с детских лет; книжка на русском языке (которой названия не помню) с лубочными изображениями зверей, птиц, рыб, попавшаяся мне в руки еще в гимназии, с благоговеньем, от доски до доски, была выучена мною наизусть. Увидев, что в книжке нет того, что при первом взгляде было замечаяемо моим детским пытливым вниманием, я сам пробовал описывать зверков, птичек и рыбок, с которыми мне довелось покороче познакомиться. Это были ребячьи попытки мальчика, которому каждое приобретенное им самим знание казалось новостью, никому не известною, драгоценным и важным открытием, которое надобно записать и

сообщить другим. С умилением смотрю я теперь на эти две тетрадки в четвертку из толстой синей бумаги, какой в настоящее время и отыскать нельзя. На страничках этих тетрадок детским почерком и слогом описаны: зайчик, белка, болотный кулик, куличок-зук, *неизвестный* куличок, плотичка, пескарь и лошок; очевидно, что мальчик-наблюдатель познакомился с ними первыми. Вскоре я развлекся множеством других новых и еще более важных интересов, которыми так богата молодая жизнь; развлекся и перестал описывать своих зверков, птичек и рыбок. Но горячая любовь к природе и живым творениям, населяющим божий мир, не остывала в душе моей, и через пятьдесят лет, обогащенный опытами охотничьей жизни страстного стрелка и рыбака, я оглянулся с любовью на свое детство — и попытки мальчика осуществил шестидесятилетний старик: вышли в свет «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии».

Еще в ребячестве моем я получил из «Детского чтения» понятие о червячках, которые

превращаются в куколок, или хризалид, и, наконец, в бабочек. Это, конечно, придавало бабочкам новый интерес в моих глазах; но и без того я очень любил их. Да и в самом деле, из всех насекомых, населяющих божий мир, из всех мелких тварей, ползающих, прыгающих и летающих, — бабочка лучше, изящнее всех. Это поистине «порхающий цветок», или расписанный чудными яркими красками, блестящими золотом, серебром и перламутром, или испещренный неопределенными цветами и узорами, не менее прекрасными и привлекательными; это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, который сосет оно своим хоботком, у иных коротеньким и толстым, а у иных длинным и тоненьким, как волос, свивающимся в несколько колечек, когда нет надобности в его употреблении. Как радостно первое появление бабочек весной! Обыкновенно это бывают бабочки крапивные, белые, а потом и желтые. Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы, когда почти нет еще ни зеленой травы,

ни листьев, когда вид голых деревьев и увядшей прошлогодней осенней растительности был бы очень печален, если б благодатное тепло и мысль, что скоро все зазеленеет, зацветет, что жизненные соки уже текут из корней вверх по стволам и ветвям древесным, что ростки молодых трав и растений уже пробиваются из согретой влажной земли, — не успокоивала, не веселила сердца человеческого.

В 1805 году, как известно, был утвержден устав Казанского университета, и через несколько месяцев последовало его открытие; между немногими преподавателями, начавшими чтение университетских лекций, находился ординарный профессор натуральной истории Карл Федорович Фукс, читавший свой предмет на французском языке. Это было уже в начале 1806 года. Хотя я свободно читал и понимал французские книги даже отвлеченного содержания, но разговорный язык и вообще изустная речь профессора сначала затрудняли меня; скоро, однако, я привык к ним и с жадностью слушал лекции Фукса. Много способствовало к ясному пони-

манию то обстоятельство, что Фукс читал по Blumenбаху, печатные экземпляры которого на русском языке находились у нас в руках. Книга эта, в трех частях, называется «Руководство к естественной истории Д. Ион. Фридр. Blumenбаха, Геттингенского университета профессора и великобританского надворного советника, с немецкого на российский язык переведенное истории естественной и гражданской и географии учителями: Петром Наумовым и Андреем Теряевым, печатано в привилегированной типографии у Вильковского. В Санктпетербурге 1797 года».

Между слушателями Фукса был один студент, Василий Тимьянский, который и прежде охотнее всех нас занимался языками, не только французским и немецким, но и латинским, за что и был он всегда любимцем бывшего у нас в высших классах в гимназии преподавателя этих языков, учителя Эриха. Эрих был сделан адъюнкт-профессором и читал в университете латинскую и греческую литературу. Личность адъюнкта Эриха, который, как все говорили, имел глубокие познания в древних и новых языках, была в выс-

шей степени карикатурна и забавна, а русский язык он так коверкал, что без смеха нельзя было его слушать. Впрочем, к русскому языку он обращался только в крайности, видя иногда, что ученик не понимает его, хотя он для лучшего уразумения прибегал уже ко всем ему известным языкам. Эрих даже и фамилии наши переиначивал по-своему. Студента Безобразова, напр., звал «гер Абразанцов», а меня то «гер Аксаев», то «гер Ачаков» и никогда Аксаков, хотя очень меня знал, потому что нередко бывал у адъюнкта Г. И. Карташевского, у которого я прежде жил. Тимьянский передразнивал Эриха в совершенстве. Я также умел несколько передразнивать своего наставника, и мы с Тимьянским нередко потешали студентов, представляя встречу на улице и взаимные приветствия наших адъюнкт-профессоров. Но виноват! воспоминания юношества увлекли меня в сторону, возвращаюсь к предмету моего рассказа. Этот студент Тимьянский, считавшийся у нас первым латинистом и, вероятно, знавший тогда не очень много по-латыни, скоро обратил на себя внимание Фукса, понравился ему за свою

латынь и стал ездить к нему на квартиру: Фукс нанимал прекрасный дом Жмакина на Арском поле. Однажды Тимьянский при мне рассказывал, что видел у профессора большое собрание многих насекомых, и в том числе бабочек, и что Фукс обещал выучить его, как их ловить, раскладывать и сушить. В эту самую минуту я только что воротился в университет с кулачного боя, который видел первый раз в моей жизни. Это было в январе или феврале 1806 года. Я сам в свою очередь горячо рассказывал товарищам о виденном мною и пропустил мимо ушей слова Тимьянского.

Тогда в Казани происходили по зимам, на льду, большого озера Кабана, знаменитые кулачные бои между татарскими слободами и русскими суконными слободами, состоявшими из крепостных крестьян помещика Осокина; и татарские и русские слободы были поселены по противоположным берегам озера Кабана.[1]

Бои эти доходили иногда до ожесточения, и, конечно, к обыкновенной горячности бойцов примешивалось чувство национально-

сти. Бой, который видел я, происходил, однако, в должных границах и по правилам, которые нарушались только тогда, когда случилось одолевать татарам. Бойцы, выстроившись в две стены, одна против другой, на порядочном расстоянии, долго стояли в бездействии, и только одни мальчишки выскакивали с обеих сторон на нейтральную середину и бились между собою, подстрекаемые насмешками или похвалами взрослых; наконец, вышел вперед известный боец Абдулка, и сейчас явился перед ним также известный боец Никита; татарин полетел с ног и вместо него вырос другой. Между тем в нескольких местах начали биться попарно разные бойцы. Удача была сначала равная: падали татары, падали и русские. Вставая, кто держался за бок, кто за скулу, а иных и уносили. Вдруг с страшным криком татары бросились стеной на стену — и завязалась ужасная, вполне рукопашная драка; но татары держались недолго, скоро попятели их назад, и они побежали. Русские преследовали их до берегов Кабана и с торжеством воротились. Мне сказывали, что когда случалось одолевать татарам, то они пресле-

довали русских даже в их избах и что тут-то вновь восстанавлился ожесточенный бой, в котором принимали участие и старики, и женщины, и дети: дрались уже чем ни попало. Такая схватка всегда оканчивалась бегством татар.

Весною 1806 года я узнал, что Тимьянский вместе с студентом Кайсаровым уже начинают собирать насекомых и что способ собирания, то есть ловли, бабочек и доски для раскладывания их держат они в секрете. Тогда только вспомнил я, что уже слышал об этом. Вдруг загорелось во мне сильное желание самому собирать бабочек. Я сообщил об этом другу моему, студенту А. И. Панаеву, и возбудил в нем такую же охоту. Сначала я обратился к Тимьянскому с просьбой научить меня производству этого дела; но он не согласился открыть мне секрета, говоря, что тогда откроет его, когда сделает значительное собрание, а только показал мне несколько экземпляров высушенных бабочек и насекомых. Это воспламенило меня еще больше, и я решил сейчас ехать к профессору Фуксу, который был в то же время доктор медицины и начи-

нал практиковать. Я приехал к нему под предлогом какого-то выдуманного нездоровья. В кабинете у профессора я увидел висящие по стенам ящики, в которых за стеклами торчали воткнутые на булавках, превосходно сохранные и высушенные, такие прелестные бабочки, каких я и не видывал. Я пришел в совершенный восторг и поспешил объяснить кое-как Фуксу мою страстную любовь к естественной истории и горячее желание собирать бабочек, прося его в то же время научить меня, как приступить к этому делу. Профессор был очень доволен и охотно рассказал мне все подробности этого искусства, не мудреного, но требующего осторожности, терпения и ловкости. Он тут же показал мне все нужные инструменты как для ловли бабочек, так и для раскладывания их. Я знал, что Панаев на все это будет гораздо искуснее меня: он был великий мастер на все механические мелкие ручные работы, — и потому выпросил позволение у Фука привести к нему на другой же день Панаева с несколькими живыми бабочками, которых профессор обещал при нас же разложить для сушки. А как я

хотел не только ловить бабочек, но и собирать гусениц для того, чтобы бабочки выводились у меня дома, то Фукс объяснил мне и снабдил меня наставлениями, как различать червяков, из которых должны выводиться бабочки, от тех червей, из которых выводятся другие разные насекомые, как их содержать, чем кормить и вообще как с ними обращаться. Мы с Панаевым также решились хранить в тайне наше предприятие не только от Тимьянского, но и от всех других студентов. На другой день, наловив кое-каких бабочек в саду, отправились мы к Фуксу, который при нас же разложил двух бабочек, а третью дал разложить Панаеву, желая, чтобы он первый опыт сделал у него на глазах. Дело происходило следующим образом: взяв бабочку снизу осторожно за грудь большим и указательным пальцами, Фукс сжал ее довольно крепко; это нужно для того, чтобы бабочка лишилась чувств, не билась крылушками и не сбивала с них цветную пыль. Для этого сжатия имелись особые стальные щипчики; но Фукс сказал и показал нам, что мы можем обойтись и без них. Потом он взял булавку, величина кото-

рой должна быть соразмерна величине бабочки, и проколол ей спинку сверху вниз, выпустив конец булавки настолько, насколько было нужно для втыканья его в дерево. Пропустив кончик булавки сквозь карточку, он слегка нагрел его на свечке: предосторожность, необходимая для того, чтобы тело насекомого присохло и не вертелось на булавке. Потом взял гладкую липовую дощечку (липовая мягче других) с вынутыми во всю ее длину ложбинками:[2] пошире для бабочек, у которых брюшко потолще, и поуже для тех, у которых туловище тоньше. В одну из таких ложбинок Фукс опустил туловище бабочки и воткнул конец булавки настолько, чтобы крылушки пришлись как раз к поверхности дощечки. Наконец, он взял узенькие полоски почтовой бумаги, нарочно для того нарезанные, наложил одну из них на верхнее и нижнее крылья бабочки, прикрепил вверху булавкой и особым инструментом, похожим на длинную иглу или шило (большая длинная булавка может всегда заменить его), расправил им крылья бабочки, сначала одно, а потом другое, ровно и гладко, так, чтобы верх-

нее не закрывало нижнего, а только его касалось; в заключение прикрепил, то есть воткнул булавку в нижний конец бумажки и в дерево. Очевидно, что все умение и ловкость заключались в расправлении крыльев бабочки: надобно было их не прорвать, не измять и не стереть с них пыль. Через несколько дней бабочка высохнет; тогда бережно снимаются с нее бумажки, и бабочка перемещается в ящик или шкаф, в котором она должна храниться. Третью бабочку разложил Панаев, и с первого раза так искусно, что Фукс, повторяя беспрестанно: «*Bien, tres bien, parfaitement bien*», [3] провозгласил, наконец, торжественно «*Optime!*». [4]

И вот закипела у нас с Панаевым молодая пылкая деятельность! Липовые сухие доски и дощечки гладко выструганы под личным присмотром моего товарища, а ложбинки искусно и ловко вынуты им самим; отысканы толстые, так называемые *фунтовые*, булавки для раскладки и прикрепления бабочкиных крыльев; нашли и плотную почтовую бумагу, которая не прорывалась, как это случалось у Фукса. Рампетки для ловли бабочек сделали

двух сортов: одни с длинными флеровыми или кисейными мешочками, другие — натянутые, как рампетки, которыми играют в во-лан. Рампеткой первого вида надобно было подхватывать бабочку на лету и завертывать ее в мешочке, а рампеткой второго вида надобно было сбивать бабочку на землю, в траву, или накрывать ее, сидящую на каком-нибудь цветке или растении. Первый способ очевидно лучше: пыль с бабочки стирается меньше; но действовать рампеткою с мешочком требовалось больше ловкости и проворства. В два дня все было готово, и благодаря неусыпным, горячим хлопотам моим, а также стараньям и уменью моего товарища все было придумано и устроено гораздо лучше, чем у профессора Фукса.

Раскладывание бабочек Панаев решительно взял на себя: разложив их еще несколько экземпляров, он стал совершенным мастером в этом деле. Ловлю бабочек за городом мы положили производить вместе, кроме каких-нибудь особенных случаев, а воспитание червей, до превращения их в хризалиды, отыскивание готовых куколок и хранение тех и дру-

гих, до превращения их в бабочки, я принял уже на свое попечение. Кроме того, что я имел особенную охоту к наблюдению за жизнью и нравами всего живущего в природе, меня подстрекнули слова Фукса, который сказал, что бабочки, выводящиеся дома, будут самыми лучшими экземплярами, потому что сохраняют всю первородную яркость и свежесть своих красок; что бабочки, начав летать по полям, подвергаясь дождям и ветрам, уже теряют несколько, то есть стирают или стряхивают с себя цветную пыль, которою, в виде крошечных чешуек, бывают покрыты их крылья, когда они только что выползут из скорлупы хризалиды, или куколки, и расправят свои сжатые члены и сморщенные крылушки.

Оставив адъюнкт-профессора Л. С. Левицкого, у которого я не в силах был прожить более двух месяцев, о чем сказано подробнее в моих «Воспоминаниях», я жил тогда, в первый раз в моей жизни, сам по себе, полным хозяином, на собственной квартире. Я нанимал флигель у какого-то обруселого немца Ег. Ив. Германа, сын которого, Александр, был

некогда моим гимназическим товарищем, а теперь служил в казанском почтамте; он жил у меня во флигеле и часто бывал моим спутником, даже руководителем на всех общественных и народных гуляньях, до которых был большой охотник. В настоящее время, то есть весной, в Казани происходило обыкновенное ежегодное и оригинальное гулянье, и вот по какому поводу: как только выступит из берегов Волга и затопит на несколько верст (иногда более десяти) свою луговую сторону, она сливается с озером Кабаном, лежащим от нее, кажется, верстах в трех, и, пополнив его неподвижные воды, устремит их в канал, или проток, называемый Булак (мелкий, тинистый и вонючий летом), который, проходя сквозь всю нижнюю часть Казани, соединяется с рекой Казанкой.[5]

Целые стаи больших лодок, нагруженных разным мелким товаром, пользуясь водопольем, приходят с Волги через озеро Кабан и буквально покрывают Булак. Казанские жители всегда с нетерпением ожидают этого времени как единственной своей ярмарки, и весть: «Лодки пришли» мгновенно оживляет

По берегам Булака устраивается шумное гулянье; публика и народ толпятся по его грязным и гадким набережным, точно как в Москве под Новинским на святой неделе. Между множеством разного товара, между апельсинами и лимонами привозится огромное количество посуды фарфоровой, стеклянной и глиняной муравленой, то есть покрытой внутри и снаружи или только изнутри зеленым лаком. В числе посуды привозят много глиняных и стеклянных ребячьих игрушек, как то: уточек, гуськов, дудочек и брызгалок. В это время по всем казанским улицам и особенно около Булака толпы мальчишек и девчонок, все вооруженные новыми игрушками, купленными на лодках, с радостными лицами и каким-то бешеным азартом бегают, свистят, пищат или пускают фонтанчики из брызгалок, обливая водою друг друга и даже гуляющих, и это продолжается с месяц. Вид такого, чисто народного, торга и гулянья, куда аристократия Казани приезжает только полюбоваться на толпу, смесь одежд татарских

и русских, городских и деревенских — очень живописны. Мы с Германом часто посещали Булак, и Герман очень был огорчен, когда я вдруг объявил ему, что не намерен более шататься по Булаку, что у меня другое на уме, что все свободное время я буду посвящать собиранию бабочек, воспитанию гусениц и отыскиванию хризалид и что буду очень рад, если он станет помогать мне. Герману не нравилось мое намерение, ему приятнее и выгоднее было иметь меня своим товарищем на гуляньях, но делать было нечего, и он волею-неволею согласился быть моим помощником в новых моих занятиях. Комнат было у меня довольно, и я назначил одну из них, совершенно отдельную, исключительно для помещения, на особых столах, стеклянных ящичков с картонными крышками, картонных коробок и даже больших стеклянных банок, в которых должны были сидеть разные черви или гусеницы, достаточно снабженные теми травами и растениями, которые служили им обыкновенной пищей. Для того чтобы воздух мог проходить в ящики и коробочки, крышки их были все исколоты толстой булав-

кой. То же сделал я с бумагою, которою обвязывались стеклянные банки. В этих мелких и скучных хлопотливых приготовлениях Герман был, точно, моим помощником. Впоследствии, когда собрание гусениц сделалось довольно многочисленно, в комнате, где жили червяки, распространился сильный и противный запах, так что без растворенного окна в ней нельзя было долго оставаться, а я любил подолгу наблюдать за моими питомцами; Герман же перестал и ходить туда, уверял даже, что во всем флигеле воняет червями, что было совершенно несправедливо. Для дневных, сумеречных и ночных хризалид были назначены особые ящики. Квартира моя имела еще то удобство, что находилась на каком-то пустыре, окруженном с двух сторон оврагами, идущими к реке Казанке и заросшими травой. Я немедленно осмотрел их с большим вниманием и, к удовольствию моему, увидел, что там летают разные бабочки. У Панаева, который жил на Черном Озере, вместе с четырьмя братьями, в собственном доме, был под руками тоже довольно большой сад, превращенный частью в огород, совер-

шенно запущенный, что, однако, не мешало залетать туда бабочкам. Благодаря таким благоприятным для нас обстоятельствам мы с Панаевым в первые два дня, не выходя еще за город, поймали с десятков таких бабочек, которые хотя были довольно обыкновенны, но могли уже с честью занять свое место в нашем собрании. Я сказал, что мы решились было вести наше дело по секрету от всех товарищей. Но, увы! какие тайны сохраняются строго! На другой же день знали в университете о нашем предприятии. (Вероятно, разболтали меньшие братья Панаева, Владимир и Петр, которые были тогда своекоштными гимназистами.) Мы решились более не скрываться, да и Тимьянский с Кайсаровым последовали нашему примеру; но тем не менее между нами установилось открытое соперничество. Собрание Тимьянского имело уже то преимущество, что было старше нашего и успело собрать до тридцати экземпляров тогда, когда у нас не было еще ни одного; но мы имели более свободного времени, более средств и скоро потом сравнялись с своими соперниками. Впоследствии студенты разде-

лились на две стороны, из которых одна более хвалила собрание бабочек у казенных студентов, а другая — у своекоштных, то есть у меня и Панаева. — Как нарочно, несколько дней не удалось нам попасть за город, в рощи и сады за Арским полем. Мое нетерпение возрастало с каждым часом. Я, даже не испытывая еще настоящим образом удовольствие ловить бабочек особенно редких или почему-нибудь замечательных, — я уже всею душою, страстно предался новому увлечению, и в это время, кроме отыскивания червячков, хризалид и ловли бабочек, ничего не было у меня в голове; Панаев разделял мою новую охоту, но всегда в границах спокойного благоразумия. Наконец, в один воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаев ночевал у меня, потому что я жил гораздо ближе к Арскому полю, вышли мы на свою охоту, каждый с двумя рампетками: одна, крепко вставленная в деревянную палочку, была у каждого в руках, а другая, запасная, без ручки, висела на шнурке через плечо. У каждого также висел картонный ящик, в который можно было класть пойманных бабочек. Едва ли ко-

гда-нибудь, сделавшись уже страстным ружейным охотником, после продолжительного ненастья, продержавшего меня несколько дней дома, выходил я в таком упоительном восторге, с ружьем и легавой собакой, в изобильное первоклассною, благородною дичью болото!.. Да и какой весенний день сиял над нашими молодыми головами! Солнце из-за рощи выходило к нам навстречу и потоками пылающего света обливало всю окрестность. Как будто земля горела под нашими ногами, так быстро пробежали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле...[7]

И вот он, наконец, перед нами, старый, заглохший сад, с темными, вековыми липовыми аллеями, с своими ветхими заборами, своими цветистыми полянами, сад, называвшийся тогда Болховским.[8]

Хор птичьих голосов, заглушаемый соловьиными песнями, поразил сначала мой слух, но я скоро забыл о нем. Мы остановились с Панаевым, чтобы перевести дух и условиться в наших поисках. Мы решились пройт-

ти первую представившуюся нам широкую поляну вместе, то есть на расстоянии шагов ста один от другого. Только тронулся я с места по росистому лугу, в одну минуту промочившему мои ноги, как увидел, что Панаев побегал и начал что-то ловить своей рампеткой. Я забыл наше условие, чтобы не сходитьсь друг с другом, если другой не будет звать, и чтобы никогда обоим не гоняться за одной добычей. Я опрометью прибежал к Панаеву и увидел, что он, точно, ловит какую-то красивую бабочку, никогда мною не виданную. Я бросился ему помогать, несмотря на его крик, чтобы я ушел прочь, чтобы я не мешал ему. Но, увы, это было уже поздно. Бабочка, испуганная нашим преследованьем, особенно потому, что я забежал ей встречу, поднялась вверх столбом и, перепорхнув через аллею, скрылась от наших глаз. Панаев очень сердился и очень журил меня и положительно сказал, что если я в другой раз так поступлю, то он никогда вместе со мной ходить не будет. Он уверял, что бабочка была необыкновенно красива и что едва ли это не была Ириса или Глазчатая Нимфа. Я очень огорчился,

очень раскаивался, очень досадовал на себя и дал искреннее обещание, даже побожился, что вперед этого никогда не будет. Я в точности сдержал обещание. — Мы разошлись опять, каждый на свою черту, в назначенном расстоянии, и я скоро увидел, что Панаев опять побежал. В самое то время, как товарищ мой, что-то поймав, остановился и стал вынимать из мешочка рампетки, когда мне стоило большого труда, чтобы не прибежать к нему, не узнать, не посмотреть, что он поймал, — мелькнула перед моими глазами, бросая от себя по траве и цветам дрожащую и порхающую тень, большая бабочка, темная, но блестящая на солнце, как эмаль. Я бросился ее преследовать и очень счастливо: очень скоро поймал; руки у меня дрожали от радости, и я не вдруг мог подавить слегка грудку моей пленницы, чтобы привести ее в обморочное состояние; без этой печальной, необходимой предосторожности она стала бы биться в ящике и испортила бы свои бархатные крылушки. Эту дневную бабочку я сейчас узнал: она находилась уже в собрании у Тимьянского и была в точности определена по

Блуменбаху и утверждена Фуксом: она называлась Антиопа. Но каким жалким образом описывает ее Блуменбах: «Антиопа, бабочка Нимфа, полосатая, у коей крылья угольчатые, черные, с белесоватым краем». Вот и все. Ну какое понятие можно получить из этого описания? К тому же и полос на ней никаких нет. Тогда как Антиопа, несмотря на скромные свои краски, уже по величине своей принадлежит к числу замечательных русских бабочек; темнокофейные, блестящие, лаковые ее крылья, по изобилию цветной пыли, кажутся бархатными, а к самому брюшку или туловищу покрыты как будто мохом или тоненькими волосками рыжеватого цвета; края крыльев, и верхнего и нижнего, оторочены бледножелтою, палевою, довольно широкою зубчатою каемкою, вырезанною фестончиками; такого же цвета две коротеньких полоски находятся на верхнем крае верхних крыльев, а вдоль палевой каймы, по обоим крыльям, размещены яркие синие пятнушки; глаза Антиопы и булавообразные усы, сравнительно с другими бабочками, очень велики; все тело покрыто темным пухом; испод крыльев не за-

мечателен: по темному основанию он исчерчен белыми тонкими жилочками.[9]

Я был очень доволен, что у нас есть Антиопа. Поймав еще несколько бабочек, не известных мне по имени, которых я или вовсе не видывал, или видел издалека, сошелся я, наконец, с Панаевым. Он также поймал Антиопу и таких же яркоголубых и красно-золотистых маленьких бабочек, какие были и у меня в ящичке; я, сверх того, нашел несколько червей, из которых один, очень мохнатый, известный под именем Поповой Собаки, обещал очень красивую сумеречную бабочку. Гусениц бабочки я узнавал по тому, что они имеют обыкновенно восемь пар ног. Очень довольные таким началом, мы сели отдохнуть под непроницаемой тенью старых лип и даже позавтракали, потому что имели предусмотрительность запастись хлебом и сыром. Позавтракав, мы разошлись в разные стороны, назначив место, где мы должны сойтись. Болховской сад был нам хорошо известен; мы хаживали в него гулять, а также и в другой, кажется рядом с ним лежащий, Нееловский сад.

Я не видал этих садов пятьдесят два года. Они представляются мне теперь огромными и таинственными и некоторые места совершенно глухими и непроходимыми. Легко быть может, что они совсем не таковы и даже не велики. Мне не раз случалось увидеть в совершенных летах, после долгого промежутка, то место, где в ранней молодости часто гулял, или тот дом, в котором я долго жил; всегда я бывал поражен тем, что находил их миниатюрными в сравнении с теми образами, которые жили в моей памяти. Я боюсь, чтобы того же не случилось с садами Болховским и Нееловским, и потому предупреждаю моих читателей, что я пишу обо всех предметах так, как они казались мне за пятьдесят лет.

Побродив довольно долго по полянам и луговинам и поймав довольно бабочек, некоторых вовсе мне не известных, и предполагая, что иные из них, по оригинальности цветов и форм, должны быть замечательными, я занялся отыскиванием червяков, хризалид и ночных бабочек, которые привлекали меня к себе больше, чем дневные. Находя червяка, я всегда срывал растение или ветку того куста

или дерева, на котором находил его, для того, чтобы знать, чем кормить. Червяков или гусениц я мог бы набрать много; но сажать их было некуда, ящичек был уже довольно полон, и я пустился отыскивать хризалид и ночных бабочек: я осматривал для этого испод листьев всякой высокой и широколиственной травы, осматривал старые деревья, их дупла и всякие трещины и углубления в коре; наконец, осматривал полусгнившие местами заборы, их щели и продолбленные столбы. Успех превзошел мои ожидания, и я должен был прекратить мои поиски за неимением места, куда класть добычу. Я поспешил на условленное место и нашел там Панаева, который уже давно меня дожидался. По его веселому лицу я угадал, что его ловля была удачна. Панаев ничего не хотел мне рассказать, да и меня не стал слушать, говоря; «Если мы еще промешкаем, то многие бабочки, у которых грудки слишком сильно сжаты, высохнут и раскладывать их будет невозможно». Хотя мне очень хотелось отдохнуть, но причины были так важны и убедительны, что я сейчас согласился, и мы отправились домой, то есть пря-

мо к Панаеву, на Черное Озеро, чтобы немедленно воспользоваться плодами нашей ловли и, может быть, с первого раза затмить наших соперников. Эта мысль подкрепила наши силы, и мы шли бодро, рассказывая друг другу свои подвиги, удачи и неудачи и закусывая все это на ходу оставшимся у нас хлебом. Боже мой, как весело было наше возвращение! Братья Панаева, двое старших и двое младших (старшие были также студенты), с нетерпением нас ожидали. Они все принимали живое участие в собирании бабочек. Напоив нас квасом, потому что мы умирали от жажды, посадили нас сейчас за работу. Панаев должен был раскладывать самых лучших бабочек или таких, каких у нас еще не было, а мне предоставлялись дубликаты, также бабочки обыкновенные и оборотные: оборотными у нас назывались те, которые раскладывались и сушились обороченные вверх исподом своих крыльев. В полных учебных собраниях всегда так делалось, по словам Фукса, но у нас это было исключение для тех бабочек, у которых испод довольно красив; есть такие, у которых нижняя сторона даже лучше верхней.

При разборе наловленных бабочек оказалось, что мы оба с Панаевым, особенно я, по моей торопливости и горячности, не всегда в надлежащей мере сдавливали им грудки: некоторые совершенно отдохнули, вероятно бились и, по тесноте помещения, потерялись, то есть сбили пыль с своих крылушек; по счастью, лучшие бабочки сохранились хорошо. Собрание наше увеличилось двадцатью новыми экземплярами, из которых половина была тогда же определена нами по Блуменбаху, выученному почти наизусть; остальных же мы никак отыскать не могли, потому что Блуменбах очень краток в своих описаниях и неточен, да к тому же многих родов бабочек в нем вовсе не находится. Например, у него ни слова не сказано о маленьких голубых и оранжево-золотистых бабочках, блестящих, совершенно как эмаль, серебристым и золотистым блеском. Бабочки эти положительно денные и появляются иногда во множестве. Точно такую голубую бабочку я видел один раз большую, но, к сожалению, поймать ее не

МОГ.

Вот те бабочки, которых можно было определить с достоверностью. Денные: Капустная бабочка (*Brassicae*), [11] с черными кончиками и такими же двумя черными пятнушками; испод крыльев желтоватый; ее не надобно смешивать с обыкновенной капустной бабочкой, которая имеет несколько видов. Бабочка Ио или Глазчатая Нимфа, довольно большая, очень красивая и редкая; крылушки у ней угловато-зубчатые, цветом темновишневые; на каждом крыле находится по большому глазку голубовато-лилового цвета, по которому сбоку идут по пяти маленьких белых пятнушек. Глазки на верхних крыльях имеют неполный желтый ободочек, а глазки на нижних крыльях — темный. Испод крыльев темный. Оторочка крыльев черная. На верхних крыльях, возле глазков, после темного промежутка, ближе к туловищу, находится по желтоватому пятну или короткой полоске. Бабочка Галатей (*Galathea*), имеющая крылушки зубчатые, испещренная по бледнопалевому цвету черными пятнушками. На передних крыльях, с испода, находится по одному, а на нижних

по пяти или более бесцветных очков или кружочков. Она также теперь в Казани не попадает. Бабочка С. (С. Album); ее поймал Панав. Этой бабочке мы очень обрадовались, потому что, читая ее описание, нам казалось очень странным, даже невероятным, как это у бабочки на крыльях изображена белой краской буква С, да еще и с точкой? Эта бабочка средней величины, крылушки у ней по краям вырезаны уголками или городками; цветом желтовато-красная, с черными клетками и пятнушками, на нижних крыльях, по темному полю, с испода, очень ярко означена белым цветом буква С, и возле нее белая же точка. Бабочка Аглая (Aglais), как называет ее Блуменбах, называлась у нас, со слов профессора Фукса, *перламутровою*. Крылья у ней кругловатые, желто-бурые, с черными пятнушками, правильно расположенными, как будто в графах; испод же крыльев, по Блуменбаху, «имеет на каждой стороне по 21 пятну серебряному», но в действительности цвет их похож не на серебро, а на перламутр. Их даже нельзя назвать пятнами, а гораздо будет точнее, если сказать, что испод крыльев этой ба-

бочки весь перламутровый, расчерченный темными полосками на клеточки разной величины и фигуры, из коих некоторые кругловаты. Бабочка Проскурняковая (Malvoe), названная так потому, что водится на полевых рожках, или проскурняке; она имеет темные крылья с белыми пятнами, зубчатые по краешкам. Сумеречных находилось три бабочки и одна ночная. Первая из них называется Олендровая сумеречная бабочка (Nerii), и хотя сказано у Блуменбаха, что она водится на олендре, следовательно, не должна жить в России, но ее зеленого цвета угловатые крылья с разными, то бледными, то темными, то желтоватыми, повязками, описанные верно у Блуменбаха, не оставляют сомнения, что это она и что она живет в Казанской губернии. [12]

Молочайная сумеречная бабочка (Euphorbioe) имеет довольно большие бурые крылья; на передних лежит поперек бледно-розовая, а на задних — красная струя или повязка; очень красива. Бабочка Барашек (Filipenduloe), в двух видах. У Блуменбаха опи-

сан только первый вид, большей величины, и она названа *не настоящею сумеречною бабочкою*, вероятно, потому, что хотя у нее крылушки длинные и она складывает их, как сумеречная бабочка, в треугольник, но усы толстые, булавообразные[13] и летает она хотя мало, но днем, а в сумерки мне не случилось ее видеть. Она очень красива, и я, завидя ее перелетывающею перелетом изумрудных букашек, не счел бабочкой; когда же она села на траву, то я разглядел ее и пришел в восхищение! Верхние крылушки у ней точно бархат, зеленоватые, отливают голубым глянцем, и каждое крыло имеет шесть яркопунцовых точек или пятнушек, а нижние крылушки гораздо меньше верхних, чисто пунцовых с узкой черной каемкой; все тело зеленовато-голубое с отливом. Второй вид Барашка был пойман Панаевым; он несколько поменьше, верхние крылушки коричнево-зеленоватые, с такими же красивыми пятнушками, а нижние бледнорозовые или желтовато-розовые. Этими бабочками мы долго гордились, потому что наши соперники не могли долго достать их. Но я всего более радовался Хмелевой

ночной бабочке (Hirauli), которую нашел в дупле старой липы. У нее была совершенно совиная головка, тело красно-желтое, а крылья белые, как снег, с верхней стороны, а с испода темнобурые; вдобавок она была так свежа, как будто сейчас вывелась. По Блуменбаху, это был самец, самка же красновато-желтого цвета.

Разложивши бабочек, досыта налюбовавшись ими и пообедав на скорую руку с другом моим Панаевым (братья его давно уже отобедали, зная наперед, что мы вернемся поздно), я поспешил домой: мне нужно было разместить моих червячков и куколок; и тех и других нашлось до тридцати штук. Хризалид денных бабочек я старался развесить[14] на стенках или приклеить к верхней крышке ящика, который нарочно открывался сбоку; но это было очень трудно сделать, потому что клейкая материя, похожая на шелк-сырец, которою червячки приклеивают свой зад к исподу травяных и древесных листьев, а в дуплах и щелях — к дереву, уже высохла, и хотя я снимал хризалид очень бережно, отделяя ножичком приклейку, но, будучи намочена, она

уже теряла клейкость, не приставала и не держалась даже и на стенках ящичка, не только на верхней крышке. Впоследствии Панаев придумал приклеивать их вишневым клеем, что вышло очень удобно. Куколок же сумеречных бабочек, закутанных в каком-то пухе или гнезде, и куколок ночных бабочек, которых было у меня всего две и которые лежали в кругловатых яичках, оболочка которых была очень крепка, — я положил в особый ящичек, прикрыл их расщипанной хлопчатой бумагой и защитил от влияния света, потому что ночных хризалид всегда находишь в густой тени.

На другой день поутру явились мы с Панаевым в университет за полчаса до начала лекций, чтобы успеть рассказать о своих приобретениях и чтобы узнать, удачна ли была ловля наших соперников; мы знали, что они также собирались идти за город. Признаться, мы думали похвастаться своей добычей и предполагали, что преимущество останется на нашей стороне. Но только мы вошли в дортуары, как несколько человек студентов, принимавших более живое участие в предприя-

тии Тимьянского и Кайсарова, встретили нас громкими восклицаниями. «Ну, господа, каких бабочек поймал Тимьянский с Кайсаровым, так это чудо! Вам уж эдаких не достать; и какую пропасть наловили всяких редких насекомых! Они и теперь возьтятся с ними наверху, в аудитории Фукса; даже Кавалера Подалириуса достали!»[15]

Мы с Панаевым были очень озадачены и смущены таким известием. Особенно Кавалер как громом поразил нас. Тут узнали мы от своих словоохотливых товарищей, что вчера Тимьянский и Кайсаров вместе еще с тремя студентами, Поповым, Петровым и Кинтером, уходили на целый день за город к Хижицам и Зилантову монастырю (известное место, верстах в четырех или пяти от Казани), что они брали с собой особый большой ящик, в котором помещались доски для раскладывания бабочек и сушки других насекомых, что всего они набрали штук семьдесят. Мы поспешили наверх и там своими глазами убедились, что торжество было на стороне наших противников. Они поймали по нескольку экземпляров

всех бабочек, пойманных вчера мною и Паневым, кроме Барашков и Хмелевой ночной бабочки, да сверх того более десяти не известных нам видов, в том числе двух Кардамонных бабочек, бывающих не каждый год в окрестностях Казани; но что всего важнее: они поймали Кавалера Подалириуса. Когда я взглянул на него, во всей красе и величине разложенного на доске, со шпорами на задних крыльях, сердце у меня забилося от удовольствия и зависти! Надобно сказать, что во всем многочисленном царстве бабочек находится, по Блуменбаху, только четыре Кавалера; первый из них называется «Приам, бабочка Кавалер Троянский (так говорит Блуменбах), у коего крылья зубчатые, пушистые, сверху зеленые, с черными полосками, а задние с шестью черными пятнами. Водится в Амбоине. Он, так как и следующая порода, есть самое большое великолепное насекомое». Второй: «Улис, бабочка Кавалер Ахивский, у коего крылья бурые с хвостиками (то есть со шпорами), а верхняя их сторона синяя, блестящая и с зубчиками. Задние крылья имеют по семи глазков. Водится также в Ам-

боине». Уже из этого краткого и скудного описания можно себе вообразить, что за красивые, прелестные создания эти два Кавалера. Фукс видел их и говорил, что они величиною с летучую мышь и так хороши, что трудно описать.[16]

«Третий Кавалер, Махаон, и четвертый, Подалириус, водятся в Европе» — и одного-то из них удалось поймать нашим соперникам! Не зная тогда, что последние два вида Кавалеров водятся везде в России и что они не слишком редки, мы с Панаевым не могли не завидовать счастью Тимьянского, поймавшего чудного Подалириуса.

Тимьянский видел наше смущение и с торжествующей улыбкой сказал: «Вот, господа, я вам показываю всех наших бабочек, покажите же и вы нам своих». Панаев отвечал, что экземпляров у нас мало, следовательно показывать нечего, но что, пожалуй, мы привезем завтра или послезавтра, когда бабочки все высохнут, особенно одна, очень толстая, Хмелевая бабочка. «Разве у вас есть Ночная Хмелевая? — спросил Тимьянский с удивлени-

ем. — Ведь это редкость!» Я отвечал, что есть, что я нашел ее в дупле и совершенно свежую, то есть не потертою. Заметно было, что Тимьянский в свою очередь позавидовал Хмелевой бабочке; это нас утешило. Когда же мы вышли, то Панаев весело сказал мне: «А видел ли ты, как нечисто, неопрятно разложены у них все бабочки? Ведь они нашим в слуги не годятся!» Хотя я не обращал на это обстоятельство особенного внимания, но тут припомнил, что Панаев совершенно прав, — и мы оба, успокоенные, бодро отправились слушать профессорские лекции.

На другой же день нам удалось умножить наше собрание еще тремя сумеречными, необыкновенно красивыми, бабочками, которых и воткнуть иначе было нельзя, как на самые тоненькие кружевные булабочки, по миниатюрности их тела. При раскладке их Панаев вполне выказал свою ловкость и уменье. Я поймал их в оврагах около моей квартиры, куда заглянул случайно. Солнце было еще высоко, а в оврагах была уже тень, и сумеречные бабочки начали летать.

Через два дня повезли мы наш ящик, с

тридцатью пятью экземплярами бабочек, в университет, на показ своим товарищам. В одну минуту все сошлись смотреть их, и, конечно, всякий видел превосходство нашего собрания относительно целости, свежести и правильности раскладки наших бабочек; особенно нельзя было не удивляться маленьким прелестным ночным бабочкам, казавшимся совершенно живыми, потому что крошечных булабочек, на которых они торчали, совсем было незаметно. К этому надо прибавить, что ящик, внутренняя его оклейка, стекло, петли и замок — все было прекрасно благодаря попечениям Панаева. Разумеется, наружность бросилась в глаза всем; но Тимьянский очень хорошо видел, понимал и ценил, так сказать, внутреннее достоинство нашего собрания. Не без досады и, может быть, зависти, он холодно хвалил наших бабочек, особенно Ночную Хмелевую и Барашков, но сделал замечание, что бабочки слишком вычурно разложены, как-то напоказ, и что им дано неестественное положение. Если в последнем обвинении была своя доля правды, то это не наша вина: этот способ был принят всеми натуралистами.

ми. Я поспешил сказать о том в наше оправдание и прибавил в оправдание натуралистов, что денные бабочки часто принимают точно такое положение, в каком раскладываются; что, конечно, сумеречные и особенно ночные бабочки, когда сидят, не расширяют своих крыльев, а складывают их повислым треугольником, так что нижних крыльев под верхними не видно; но если их так и высушивать, то они потеряют половину своей красоты, потому, что нижние крылья бывают часто красивее верхних, и, что, глядя на такой экземпляр, не получить настоящего понятия о бабочке. «Да ты разве не так же раскладываешь? — сказал Панаев. — Верхние крылушки у тебя так же приподняты, а только нижние висят. Это разве естественное положение?» Но Тимьянский не соглашался и доказывал, что его способ раскладывания гораздо натуральнее; многие приняли его сторону, многие нашу, из этого вышел спор, и мы расстались с своими соперниками хотя без явного неудовольствия, но с холодностию. Впоследствии они прозвали нас «богачами-щеголями» и называли так даже в глаза, что, признаюсь, бы-

ло мне очень досадно, особенно потому, что было совершенно несправедливо; ящик наш, пожалуй, можно было назвать щеголеватым, но нисколько не богатым; все достоинство заключалось в чистоте отделки, до чего Панаев был большой охотник и за чем сам заботливо смотрел. Один из студентов, принадлежавший к противной партии, Михайло Пестяков, прозвал наше собрание бабочек «дворянским». Это прозвище также было в ходу потому что, как нарочно, все наши противники были разночинцы, от которых мы с Панаевым отличались в гимназии красными воротниками; это было очень прискорбно, потому что прежде у нас никогда не было слышно ни одного слова и даже намека на различие сословий. Благодаря бога все эти несколько неприятные отношения впоследствии исчезли, и мы уже соперничали дружески в общем деле, не завидуя друг другу. Кроме бабочек, которых у Тимьянского было более пятидесяти, он набрал уже около сотни разных насекомых: некоторые блистали яркими радужными красками, особенно из породы жуков, божьих коровок, шпанских мух и также из по-

роды коромыслов; а некоторые отличались особенностью и странностью своего наружного вида; но все они мне не нравились и даже были противны. Бабочки, бабочки! — вот к чему я привязывался с каждым днем более.

При первой возможности мы с Панаевым отправлялись за город; посетили сад Нееловский, Госпитальный и даже сад Чемесова, который был, впрочем, не за городом, а на краю города; бабочек в последнем мы нашли мало, но зато долго любовались на сотни кроликов, которым был отведен во владение довольно высокий пригорок или холм (не умею сказать, натуральный или искусственный), обнесенный кругом крепким забором. Кроликов развелось там невероятное множество; вся гора была изрыта их норами; они бегали целыми стаями и очень забавно играли между собой; но при первом шуме или стуке, который мы от времени до времени нарочно производили, эти трусливые зверки пугались и прятались в свои норы.[17]

Мы ходили с Панаевым также на пасеку, или посеку, и находящиеся по обеим ее сторо-

нам гористые места, или, лучше сказать, глубокие овраги, обраставшие тогда молодым леском, за которыми впоследствии утвердилось название Казанской Швейцарии, данное нами, то есть казанскими студентами. До сих пор эти места служат любимым гуляньем для жителей Казани. Я слышал даже, что это место разделяется на две половины: одна называется Немецкою, другая Русскою Швейцарию; последняя ближе к городу. Поиски наши были более или менее удачны, и мы, мало-помалу, приобрели всех тех бабочек, которые находились в собрании Тимьянского, и которых нам недоставало, кроме, однако, Кавалера Подалириуса. Мы даже не имели надежды достать его, потому что появление Кавалера в окрестностях Казани считалось тогда редкостью. Кавалер Подалириус торчал, как заноза, в нашем сердце! Не скоро достали мы и Кардамонную бабочку, которая, не будучи особенно ярка, пестра и красива, как-то очень мила. Ее кругловатые, молочной белизны крылушки покрыты каким-то особенным, нежным пухом; на каждом верхнем углу верхнего крыла у ней находится по одному

пятну яркого оранжевого цвета, а испод нижних крыльев — зеленовато-пестрый. Но самыми красивыми бабочками можно было назвать, во-первых, бабочку Ирису; крылья у ней несколько зубчатые, блестящего темнубурого цвета, с ярким синим яхонтовым отливом; верхние до половины перерезаны белою повязкою, а на нижних у верхнего края находится по белому очку; особенно замечательно, что испод ее крыльев есть совершенный отпечаток лицевой стороны, только несколько бледнее. Еще красивее бабочка Аталанта, или Адмирал (*Atalanta*). У ней крылья также зубчатые, черные с лоском, испещренные белыми пятнушками; во всю длину верхних крыльев лежит повязка яркопурпурового цвета, а на нижних крылушках такая же повязка, только с черными пятнушками, огибает их боковые края. Надобно признаться, что у нас и у Тимьянского было много бабочек безыменных, которых нельзя было определить по Блуменбаху и которых профессор Фукс не умел назвать по-русски.

Питомники мои были давно уже наполнены червяками или гусеницами, так что и са-

жать более было некуда. Многие превращались в куколок, а многие умирали, вероятно от недостатка свежего воздуха или пищи. Трудно было доставать именно то растение, которым они предпочтительно питались; по большей части мы не знали, какое это растение, потому что не знали названия гусеницы. Я обыкновенно набирал всяких трав и старался только чаще их переменять. Каждый день, по нескольку раз, наблюдал я за моими питомцами, и это доставляло мне большое наслаждение. Те червяки, которые попадались мне в периоде близкого превращения в куколок, почти никогда у меня не умирали; принадлежавшие к породам бабочек дневных, всегда имевшие гладкую кожу, приклепляли свой зад выпускаемою изо рта клейкой материей к стене или крышке ящика и казались умершими, что сначала меня очень огорчало; но по большей части в продолжение суток спадала с них сухая, съежившаяся кожица гусеницы, и висела уже хризалида с рожками, с очертанием будущих крылушек и с шипообразною грудкою и брюшком; многие из них были золотистого цвета. Можно себе предста-

вить мою радость, когда, вместо мнимо умирившего жалкого червяка, вдруг находил я милovidную куколку. Гусеницы сумеречных бабочек, более или менее волосистые, где-нибудь в верхнем уголку ящика, или под листом растения, положенного для их пищи, заматывали себя вокруг тонкими нитями той же клейкой материи, с примесью волосков, покрывавших туловище, — нитями, иногда пушистыми, как хлопчатая бумага, иногда покрытыми сверху белым, несколько блестящим лаком, что давало им вид тонкой и прозрачной, но некрепкой пелены. Гусеницы ночных бабочек, почти всегда очень мохнатые, кроме немногих исключений, устраивали себе скорлупообразные яички, или коконы, ложились в них, закрывались наглухо и превращались в куколок; у обеих последних пород свалившаяся сухая кожица червяка всегда лежала вместе с хризалидой внутри гнезда. Сумеречные и ночные куколки имели гладкую овальную наружность без всяких угловатостей и выпуклостей, но также с очертанием головы, крыльев, усиков, ножек и брюшных колец. Цветом они бывают всегда

темные, а некоторые породы ночных совершенно черные. Червяки молодые, которым должно было прожить до превращения в хризалиду определенный, весьма различный срок времени, если не погибали от голода и духоты, то раза два или три переменяли на себе кожу и всякий раз перед такой переменной впадали в сон или обморочное состояние, не прикрепляя, однако, своего тела ни к какому предмету. Вероятно, сначала я выкидывал некоторых, считая их уже умершими. Обновленный червяк, казавшийся сначала слабым или больным, выходил всегда цветнее, пушистее прежнего, с невероятною жадностью накидывался на пищу и скоро поправлялся. Из числа тех хризалид, которые превращались из червяков не у меня, а на воле, выводились иногда какие-то летучие тараканы, отвратительные по своей наружности. Из этого должно заключить, что куколки их похожи на бабочкины, потому что я не мог различить их.

[18]

Выводились также иногда бабочки-уродцы: с одним маленьким крылом, или совсем

без одного крыла, или с таким, которое не расправлялось и оставалось навсегда свернутым в трубочку. Фукс не мог удовлетворительно объяснить мне причины таких явлений. Я предполагаю, что хризалиды бабочек-уродцев были как-нибудь помяты или зашибены и что оттого крылушко на больной стороне не достигало полного своего развития. Весьма часто случалось, что пойманная бабочка, по большей части в ту минуту, когда ее раскладывали почти умирающую, выпускала из себя множество яичек, из которых впоследствии образовывались крошечные червячки; это и не удивительно, потому что бабочка могла быть прежде оплодотворена; но вот что достойно замечания, что выведшаяся у меня ночная свечная бабочка, через несколько часов разложенная, также при этой операции выпустила из себя яички, из которых впоследствии вылупились червячки.

[19]

Недавно открыто подобное изумительное явление не только в пчелиных матках, но и в рабочих пчелах,[20] доказывающее глубокую

экономическую предусмотрительность природы.

Когда наше собрание бабочек ни в чем уже не уступало собранию Кайсарова и Тимьянского (кроме, однако, Кавалера), а, напротив, в свежести красок и в изяществе раскладки имело большое преимущество, повезли мы с Панаевым уже два ящика бабочек на показ Фуксу. Профессор рассыпался в похвалах нашему искусству и особенно удивлялся маленьким сумеречным бабочкам, которые были так же хорошо разложены, как и большие. Он очень жалел, что мы не собирали и других насекомых.

Между тем лето вступало в права свои. Прошла весна. Соловей допел свои последние песни, да и другие певчие птички почти все перестали петь. Только варакушка еще передразнивала и перевирила голоса и крики всяких птиц, да и та скоро должна была умолкнуть. Одни жаворонки, висая где-то в небе, невидимые для глаз человеческих, рассыпали с высоты свои мелодические трели, оживляя сонную тишину знойного, молчаливого лета. Да, прошла голосистая весна, пора беззабот-

ного веселья, песен, любви! Прошли «летние повороты», то есть 12 июня; поворотило солнышко на зиму, а лето на жары, как говорит русский народ; наступила и для птиц пора деловая, пора неусыпных забот, беспрестанных опасений, инстинктивного самозабвения, самопожертвования, пора родительской любви. Вывелись дети у певчих птичек, надобно их кормить, потом учить летать и ежеминутно беречь от опасных врагов, от хищных птиц и зверей. Песен уже нет, а есть крик; это не песня, а речь: отец и мать беспрестанно окликают, зовут, манят своих глупых детенышей, которые отвечают им жалобным, однообразным писком, разевая голодные рты. Такая перемена, совершившаяся в какие-нибудь две недели, в продолжение которых я не выходил за город, сильно поразила и даже опечалила меня, когда я, во второй половине июня, вместе с неразлучным моим спутником Панаевым, рано утром вошел в тенистый Нееловский сад. — В прежние годы я не замечал такой перемены.

На сей раз добыча наша была незначительна. Вообще это посещение Нееловского

сада осталось памятно для нас неудачами и обманутыми надеждами. Панаев видел Кавалера, но не мог поймать, а я совершенно испортил превосходную розовую ночную бабочку, названия которой не знаю, но которую очень помню особенно потому, что впоследствии имел ее в руках. Нееловская розовая бабочка была замечательной величины, втрое больше розовой свечной, тоже ночной бабочки, которая очень обыкновенна и часто налетает на горящую свечку и обжигает свои крылушки; а испорченная мною была редкая бабочка; яркого алого цвета, бархатная пыль покрывала все ее крылья, головку и туловище, но яркость эта уменьшалась тем, что вся бабочка была исчерчена тоненькими желтыми жилками. Я взял ее очень бережно, подавил грудку и как-то уронил в траву; отыскивая, я наступил на нее ногой — и уничтожил прелестное создание. Смешно вспомнить, как я был огорчен этой потерей и как долго я не мог утешиться. В 1810 году, гуляя в Петербурге, в Летнем саду, я увидел точно такую бабочку, сидящую под широким листом векового клена. По старой охоте, я поймал, разложил,

высушил и подарил одному любителю натуральной истории.

Время лечит всякие язвы, и мы с Панаевым примирились с мыслию, что у нас нет Кавалера, а может быть, и не будет. Тимьянский также примирился с общим мнением, что наши бабочки лучше, и утешился тем, что он собирает всех насекомых, а мы только часть их, что целое гораздо важнее части.

У нас в университете шли экзамены, которые не имели и не могли иметь формы и условий настоящих университетских экзаменов. Это были семейные, дружеские испытания, или, лучше сказать, это было обозрение всего того, что профессоры успели прочесть, а студенты усвоить себе из выслушанного ими. Разделения предметов на факультеты не было, а следовательно, не было ни курсов, ни переходов на них. Конечно, это было детство возникающего университета, но тем не менее тут было много добрых, благотворных начал, прочно подвигавших на пути образованности искренно желавших учиться; немного было приобретено сведений научных, но зато они вошли в плоть и кровь учащихся, вполне бы-

ли усвоены ими и способствовали самобытному развитию молодых умственных сил. Предметы преподавания до того были перепутаны, и совет испытателей смотрел на это так не строго, что, например, адъюнкт-профессор И. И. Запольский, читавший опытную физику (по Бриссону), показывал на экзамене наши сочинения, и заставил читать вслух, о предметах философских, а иногда чисто литературных, и это никому не казалось странным. И. И. Запольский любил пофилософствовать, он был последователь и поклонник Канта; на каждой лекции о физике он как-нибудь припутывал «критику чистого разума». Один раз разговорился он о действующей и конечной причине и потом предложил нам, чтобы каждый из нас, кто понял его слова и кому предмет нравится, написал о нем хоть что-нибудь и показал ему. Написали человек десять, в том числе и я; и каково же было мое удивление, когда в числе студентских сочинений, читанных на экзамене, попались и мои три странички о действующей и конечной причине! Вероятно, это было самое ребячье и поверхностное понимание предмета. Адъюнкт

российского красноречия Л. С. Левицкий, читавший по программе философию и логику, уже давно не занимавшийся своими лекциями и почти переставший ездить в университет, притащился, однако, кое-как на экзамен и перепугал нас своим болезненным видом. Вместо российской словесности он произвел экзамен в логике, которую прежде проходил с нами по рукописной тетрадке, в самом сокращенном объеме; разумеется, он предупредил нас, чтобы мы приготовились к экзамену из логики. Фукс торжествовал с своей натуральной историей, и наши бабочки, и гусеницы, и другие насекомые — все пошли в дело. Тимьянский отличился обширностью своих знаний и латинским языком, но и мне досталось рассказать о моих наблюдениях над воспитанием червей, превращением их в хризалиды и бабочки. Все меня похвалили, даже и те профессора, которые не знали ни одного русского слова, а я говорил, разумеется, по-русски. Лучшим экзаменом, без сомнения, был математический, у Г. И. Карташевского, но я не повинен был в этом блеске и даже не являлся на экзамен. Этот предмет у нас шел

блистательно.

По случаю экзаменов заботы о собирании бабочек были оставлены, да к тому же случилось и другое обстоятельство: я сильно поссорился с старшими братьями Панаева, с которыми прежде всегда был очень дружен; один из них, именно старший, так меня обидел каким-то грубым и дерзким словом, что я вспылал и в горячности дал торжественное обещание не быть у них в доме до тех пор, покуда виноватый предо мною товарищ не попросит у меня прощения. Панаев (Николай) и не думал просить у меня прощения, и я целую неделю к ним не ездил. Друг мой, Александр Панаев, бывал у меня почти каждый день и своими известиями о старших братьях только усиливал мое оскорбление. Мне было особенно досадно на Ивана Панаева, нашего первого лирика; он был прекрасный товарищ, добрый и правдивый, очень меня любил, в семье своей он считался главным — и он не заступился за меня, не заставил брата извиниться передо мною, а еще его оправдывал. Но великие события именно совершаются тогда, когда всего менее можно ожидать их, и

мгновенно разрубают крепко затянутые узлы, которые без того не скоро, а может быть и никогда, не были бы распутаны.

В самых последних числах июня, когда наши экзамены приходили к окончанию, воротился я из университета на свою квартиру и по какому-то странному побуждению, еще не пообедав, взял рампетку и, несмотря на палящий зной, пошел в овраги, находившиеся неподалеку от моего флигеля. Мне захотелось обойти их перед обедом; почему? для чего? — и теперь не понимаю. Лишь только дошел я до половины ближайшего левого оврага, задыхаясь от жару и духоты, потому что ветерок не попадал в это ущелье, как увидел в двух шагах от себя пересевшего с одного цветка на другой великолепного Кавалера... Я так был поражен неожиданностью, что не вдруг поверил своим глазам, но, опомнившись, с судорожным напряжением смахнул рампеткой бабочку с вершины еще цветущего репейника... Кавалер исчез; смотрю завернувшийся мешочек рампетки — и ничего в нем не нахожу: он пуст! Мысль, что я брежу наяву, что я видел сон, мелькнула у меня в голове — и

вдруг вижу, в самом стиге флерового мешка, бесценную свою добычу, желанного, прошенного и моленного Кавалера, лежащего со сложенными крыльями в самом удобном положении, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнил и, не помня себя от восторга, не вынимая бабочки из рампетки, побежал домой. Как иступленный, закричал я еще издали своему дядьке Евсеичу, который ожидал меня у крыльца: «Дрожжи, дрожжи!» Добрый мой Евсеич, испуганный моим голосом и странным видом, побежал ко мне навстречу. Но я поспешил объяснить ему, в чем состояло дело, и просил, умолял, чтобы он велел поскорее заложить мне лошадь. Евсеич, успокоенный, покачал головой, улыбнулся, но пошел исполнить мое приказание. Я вошел в комнату, положил рампетку на стол, поглядел внимательно на свою добычу и, кажется, тут только поверил, что это не мечта, не призрак, что вот он, действительный Кавалер, пойман и лежит передо мною. Из предосторожности я в другой раз пожал грудку моему Подалириусу, бережно опустил его в картонный ящичек, накрыл бумажкой, а осталь-

ное пространство заложил хлопчатой бумагой, чтобы от езды бабочка не могла двигаться. Евсеич вернулся со словами: «Сейчас заложат» — и с прежней улыбкой. Тут-то высказал я свою радость моему доброму дядьке, обняв и расцеловав его предварительно. Хотя Евсеич гнал меня вдоль и поперек, как говорится, но безумный мой восторг смутил его. Все мои уверения и доказательства в важности приобретения Кавалера, в необычности события, что он залетел в середину большого города, что я пошел без всякой причины гулять по жару в овраги, — дядька мой выслушал с совершенным равнодушием. Он уже не улыбался, а все качал головой, и, наконец, сказал: «Нет, соколик, больно молодо, больно зелено, — надо долго еще учиться; ну куда тебе на службу!» Стук подкатившихся дрожек перервал поучительную речь Евсеича, и через минуту я уже скакал на Черное Озеро, прямо к Панаеву. Я живо представил себе его удивление и радость, особенно потому, что мы с полчаса как расстались. Долгим днем показалась мне четверть часа езды до Панаева. Вот он, наконец, белый, засаленный, хорошо

знакомый дом. Взбегаю на крыльцо, на лестницу, отворяю дверь в залу и вижу друга моего Александра Панаева, выбегающего из гостиной с окровавленным лицом, зажавшего один глаз рукою... «Что с тобой?» — закричал я. «Я пропал, — с отчаянием отвечал Панаев, — брат Петя нечаянно попал мне в самый зрачок глаза фарфоровым верешком. Если я окривею — я застрелюсь. Я бегу к колодцу, чтобы обмыть мой глаз холодной водой». Мы побежали вместе. Панаев так боялся увериться, что глаз у него испорчен, что красота его погибла (он действительно был красавец), что не вдруг решился отнять руку и промыть раненый глаз; я упросил его это сделать, и к великой моей и еще большей его радости я увидел, что рассечена только нижняя века и слегка оцарапан глазной белок. В самую ту минуту, как я обнимал и поздравлял моего друга с благополучным окончанием такой беды, прибежали его испуганные братья, кроме виноватого; я поспешил их успокоить, что никакой важности нет, да они и сами в том сейчас убедились. Радость была общая; мы все обнялись дружески и послали за Петей,

который с испугу и с горя залез в какой-то чулан. Вдруг Александр Панаев меня спросил: «Как это случилось, мой друг, что ты приехал в самую ту минуту, когда разразилась надо мной эта страшная гроза? Верно, сердце тебе сказало и ты, забыв все, прискакал на помощь к своему отчаянному другу?» Тут только я вспомнил, что я в ссоре с братьями Панаева, что я перестал к ним ездить и что я поймал Кавалера. «Нет, мой друг, — отвечал я, — на этот раз сердце мне ничего не сказало; но случилось другое обстоятельство, которое заставило меня позабыть все неудовольствия: с пол часа как я поймал у себя в овраге чудеснейшего Кавалера. Вот он...» И я побежал в залу, где оставил свой картонный ящичек на столе. Все Панаевы с радостными восклицаниями последовали за мной, и когда я, открывши ящичек, показал им лежащего в том же положении в самом деле необыкновенно большого и великолепного Подалириуса, раздался новый залп радостных восклицаний. Само собою разумеется, что я не один раз рассказал, как совершилось это счастливое событие. Друг мой Александр, примочив глаз розо-

вой водой и завязав его весьма щеголевато батистовым платочком, сейчас сел раскладывать Кавалера, который оказался совершенно целым и нигде не потертым. «Ну, теперь наше собрание бабочек несравненно выше Тимьянского», — сказал он с торжествующей улыбкой. Он аккуратно и внимательно принялся за свою работу, а мы все пятеро, тесно окружив его, не сводя глаз и не смея свободно дышать, следили за каждым движением его искусных рук. Напрасно Панаев кричал, что мы ему мешаем, что ему от нас тесно, жарко, чтоб мы отошли прочь, — никто не трогался с места. Наконец, раскладка совершилась благополучно, и я вспомнил, что еще не обедал. Панаевы уже успели пообедать. Не было и тени неудовольствия между нами, они упрашивали меня не ездить домой, желая угостить оставшимися блюдами, но я не мог исполнить их желания: я не видел сегодня еще своих червячков и хризалид! Может быть, там что-нибудь во что-нибудь превратилось или что-нибудь вывелось. Я помнил также, что для завтрашнего экзамена мне надобно прочесть одну тетрадку. Мне самому не хотелось

расстаться в эту минуту с Панаевыми и (надобно признаться) с пойманным мною Кавалером. Я примирил все обстоятельства тем, что обещал в полчаса осмотреть своих червячков и хризалид, пообедать и, захватив тетрадку с собою, воротиться к ним. Не один раз дружеские голоса товарищей заставляли меня повторить обещание, что через час я буду с ними. Как весело сел я на дрожки и поехал в свой уединенный флигелек!

Пословица говорит: «Пришла беда — отворяй ворота», — что, к сожалению, нередко и случается; но зато часто бывает и наоборот: вслед за одной радостью скоро наступает другая. Воротясь домой, только что я раскрыл ящик с хризалидами, как представилась мне прелестная сумеречная бабочка, самой крупной породы, выведшаяся, вероятно, еще ночью, потому что крылушки ее были совершенно расправлены. По Блуменбаху, я мог признать ее Крушинною (*ligustri*) сумеречною бабочкою, названною им так потому, что водится на растении крушине, испанском бузьяке, но я ее не определяю и не называю положительно; верхние ее крылушки у Блумен-

баха вовсе не описаны. Впоследствии я убедился, что очень красивая гусеница этой прекрасной бабочки живет преимущественно на крыжовнике и барбарисе. Крылья у ней — верхние темносерого цвета, с белыми пятнами или матово-белыми с темными пятнами: я потому говорю *или*, что обоих цветов находится поровну, и я не знаю, который из них признать основным; нижние крылья — красные, как будто кровяные, с тремя черными перевязками; туловище также красное, с черными ободочками по всему брюшку, — это довольно верно описано и у Блуменбаха. После мы всегда звали эту очень красивую сумеречную бабочку Барбарисовою. Она довольно обыкновенна; но я до тех пор ее не видывал, и она показалась мне чудом красоты. Да и как было не обрадоваться первой сумеречной бабочке, выведшейся у меня из найденных мною хризалид! По величине и темному цвету куколки я считал ее nocturnal. Поздно, но весело сел я обедать. Евсеич прислуживал мне, по обыкновению. Я заметил, что давешняя, не совсем обыкновенная, улыбка не сходила с его губ. Он от времени до времени подтруни-

вал над моей охотой ловить бабочек и возиться с червями, от которых гадко воняет, и я от души забавлялся его тонкими намеками и сарказмами. Пообедав, я повез свою новорожденную сумеречную красавицу, со всеми предосторожностями, чтобы не помрачить первородного блеска чудных ее красок, к другу моему Панаеву. Он принял ее почти с такой же радостью, как и знаменитого Кавалера, и немедленно разложил. Она должна была придать новый блеск нашему собранию.

На другой же день, поутру, весь университет знал о наших новых необыкновенных приобретениях, и хотя все были более или менее заняты и озабочены продолжающимися экзаменами, но приняли живое участие в наших новых бабочках. Тимьянский был даже озадачен и смущен, особенно когда увидел их. «Ну уж счастливцы! — говорил он нам. — Для вас Кавалер и в Казань прилетел. Вот, смеялись над тобой, Аксаков, что ты возишься по пустякам с червями, а пойдико достань такую сумеречную Крушинную бабочку, совершенно свежую и не потертую!.. так нигде не достанешь!»

Университетские экзамены кончились, а гимназические еще оканчивались. Семеро студентов, в том числе и я, продолжали ходить в высший русский класс к Ибрагимову (прежде в гимназии у него был средний, а высший занимал Л. С. Левицкий) и должны были явиться на гимназический экзамен, назначенный последним, заключительным. Товарищи мои обижались этим, а я, напротив, был очень доволен. Гимназические экзамены вообще шли полнее, стройнее и соответственнее своему назначению. У Ибрагимова же русский экзамен был его блестящим торжеством: мы читали свои сочинения, говорили о старой и новой литературе и критически оценивали лучших наших писателей. Мое декламаторство также было употреблено в дело. Все, волею или неволею, осыпали похвалами Ибрагимова, обиженного тем, что его не сделали адъюнктом, и поздравляли с блестящими успехами его учеников. Никогда не забуду светящихся удовольствием татарских глаз и раздвинутого улыбкою до ушей большого рта незабвенного для меня Николая Мисаиловича Ибрагимова, воспоминание о кото-

ром всегда сливается в моей памяти с самыми отрадными и чистыми воспоминаниями юношеских учебных годов. «Благодарствуйте, Аксаков! — говорил он. — Мне всегда было приятно заниматься с вами, вы отблагодарили меня достойным образом». Я обнимал его, уверяя, что очень чувствую и никогда не забуду, как много ему обязан.

Наконец, все экзамены кончились. Надобно было ехать на летнюю вакацию: мне в Симбирскую губернию, в Старое Аксаково, где жило этот год мое семейство, а Панаевым — в Тетюшский уезд Казанской губернии, где жила их мать и сестры. В первый раз случилось, что радостное время поездки на вакацию в деревню, к семейству, было смущено в душе моей посторонней заботой. По совету Фукса, бабочек мы оставляли в гимназической библиотеке под надзором ее смотрителя. Но что же было делать с моими гусеницами и хризалидами? Семь ящиков и три стеклянные банки нельзя было везти с собою в простой ямской кибитке; в одни сутки червяков бы затрясло, а хризалид оторвало с места и вообще все бы расстроилось,[21] да и просто некуда

было поместить эти громоздкие вещи; оставить же без призора мое воспитательное заведение — также было невозможно. Да и на кого же мог я положиться? В Казани оставался только мой кучер с лошадыю. Кто мог заменить меня? Признаюсь также, что жаль мне было оторваться от этого постоянного наблюдения, попечения, забот и ожиданий, которые я уже привык устремлять на жизнь моих питомцев, беспрестанно ожидая новых превращений и, наконец, последнего, полного превращения в какую-нибудь неизвестную мне чудную бабочку. Но делать было нечего, и с этою мыслию я уже примирился. Оставалось только решить, кому поручить их. Я готов уже был избрать в попечители о моих гусеницах и хризалидах оставшегося жить в моем флигеле Александра Германа, который невольным образом уже присмотрелся к этому делу и не отказывался от него; но он был очень ветрен и неблагонадежен. Вдруг пришел мне в голову Тимьянский: ему не к кому, некуда было ехать, и он оставался вакацию в университете, как и многие другие. Почему не попросить его? По моему мнению, наше со-

перничество не мешало ему заняться моими гусеницами и хризалидами, к которым он, как натуралист, не мог быть совершенно равнодушен. Я не ошибся. Лишь только я заговорил о моем затруднительном положении, Тимьянский сейчас, искренно и добродушно, вызвался сам присмотреть за моими питомцами. Я сказал Тимьянскому, что хотел просить его об этом и был заранее уверен, что он не откажется одолжить и успокоить товарища и что я сердечно ему благодарен. Точно гора свалилась у меня с плеч! Я знал, что целая комната возле нашего физического кабинета, то есть кабинета с физическими инструментами, находилась в его распоряжении для сушки бабочек и насекомых и даже аудитория, в которой читал Фукс и от которой он имел ключ: следовательно, ему было где разместиться; свежих же листьев и трав для корма червей он мог ежедневно доставать в саду, который находился при соседственном доме, купленном в казну для университета. Итак, поблагодарив еще раз от всей души доброго товарища за его радушную готовность принять на себя мои хлопоты и заботы, я сейчас

же отправился к Панаеву, чтобы сообщить ему это приятное известие. Друг мой принял его не так, как я ожидал. Он был немножко недоверчив и даже подозрителен и хотя не предполагал никакого дурного намерения у Тимьянского, но не ожидал слишком усердного попечения об умножении и украшении нашего собрания бабочек. Впрочем, он соглашался, что в настоящем нашем положении — это самое лучшее, чего можно было желать. В тот же день мы с Панаевым бережно перевезли бабочек в библиотеку, а моих гусениц и хризалид в особую комнату возле физического кабинета, назначенную для кабинета натуральной истории, где и сдали их с рук на руки Тимьянскому и Кайсарову. Я убедительно просил и Кайсарова присматривать за моими питомниками, и он обещал, но, по своему обыкновению и нраву, обещал очень холодно, так что я не полагал на него никакой надежды, в чем, однако, к большому моему удовольствию, совершенно ошибся. Кайсаров был как-то сух и необщителен. Я не знаю, были у него в целом университете не только друг, но короткий приятель; с Тимьянским

тоже у него не было никакой близости; я удивился, когда он сделался его помощником в собирании бабочек и насекомых. При прощании Тимьянский сказал нам: «Послушайте, господа, я стану усердно смотреть за вашими червями и хризалидами, но ведь я за успех не ручаюсь. Легко быть может, что гусеницы и хризалиды поколеют до своего превращения, так, чур, за это на меня не сердиться. Всех бабочек, которые выведутся, я разложу, как умею, высушу и сохраню... Да, кстати: сухие бабочки часто пропадают от моли, — это сказал мне Фукс и советовал напоить их туловище камфарою, то есть помазать и покапать на них с кисточки камфарным спиртом. Не худо вам сделать это сейчас с вашими бабочками, которых вы оставляете в библиотеке. Вот вам и кисточка и камфарный спирт». Такая заботливость убедила и друга моего Панаева в совершенном доброжелательстве Тимьянского. Мы с благодарностью воспользовались его предложением и сейчас побежали в библиотеку. Еще раз взглянули и простились с нашими чудесными бабочками, помазали камфарным спиртом, заперли ящики и ключики

отдали, на всякий случай, Тимьянскому. Мы простились с ним дружески, искренно уверяя, что во всем на него полагаемся и, чтобы ни случилось, за все будем благодарны. Простились также со всеми товарищами, остававшимися в университете, и, напутствуемые их добрыми желаниями, отправились домой, сначала к Панаевым, где я простился с другом моим Александром и с его братьями. Лошади у них были давно запряжены; ждали только возвращения Александра и уж побранивали нас, особенно меня, за возню с червями и хризалидами, — так нетерпеливо хотелось им ехать в деревню! Да и как не хотеть, как не рваться после десятимесячной школьной жизни, летом, из города, пыльного, душного и всегда чем-нибудь вонючего, в чистое, душистое поле, в тенистые леса, в прохладу, к семейству, на родину или по крайней мере туда, где прошли детские, незабвенные года. Панаевы при мне же уехали, поместившись все пятеро в старинной линейке, на присланных за ними своих лошадях. Александр сел с порядочным ящиком в руках, в котором находилось десятка два бабочек, собранных им из

дубликатов: он вез их подарить сестрам, но двое меньших братьев, сидевших с ним рядом, громко возопяли на него, утверждая, что от ящика им будет тесно... стук и дребезжанье старой линейки, тронувшейся с места, заглушили их детские голоса. Панаевы собирались и кормить и ночевать в поле; с ними были и удочки и даже ружье, — мне стало грустно и завидно. На этот раз приказано мне было приехать на почтовых, в простой ямской повозке; а главное, я должен был ехать не в милое и дорогое мне, богатое водами, лугами, болотами и отдельными рощами Оренбургское Аксаково, а в скучное, безводное, кругом лесное, старое Симбирское Аксаково, где и дома порядочного не было.

Воротясь в свою квартиру, я нашел также все готовым к отъезду. Ямские лошади были запряжены, слабо подвязанный колокольчик позвякивал от каждого движения коренной, люди, одетые по-дорожному, с картузами в руках, ждали меня на крыльце... Покуда я переодевался также в дорожное легкое платье, мысль о близком свидании с семейством, особенно с другом моим сестрицей, которая жда-

ла меня с живейшим нетерпением, мелькнула в моей голове и радостно взволновала мое сердце, а запах дегтя и рогожи, которым пахнуло на меня от кибитки, мгновенно перенес меня в деревню, и стало легко и весело у меня на душе. Евсеич сел со мной в повозку. Иван Малыш вскочил на козлы, ямщик потрянул вожжами, свистнул, и тройка полетела.

Когда мы выбрались из Казани и длинной городской слободы, которая называлась Мокрою, было уже не жарко, и великолепный летний вечер повеял прохладой на раскаленную землю. Стояла засуха, давно не было дождя. Я еще не испытывал настоящим образом удовольствия скорой почтовой езды, и когда ямщик, чтоб потешить молодого барина и заслужить на водку, пустил во весь опор, во весь дух свою лихую тройку, я почувствовал неизъяснимое и не известное мне, какое-то раздражающее наслаждение... Евсеич мой тоже очень был доволен. «Что, соколик, каково закатывает? — говорил он, улыбаясь. — А ведь лошадки-то, поглядеть, — дрянь! Да ты не боишься ли?» — продолжал он, видя, что я тяжело дышу и ничего не отвечаю. Мне ужас-

но стало досадно, но я переломил себя и ласково старался уверить моего дядьку, что, напротив, мне очень весело, что у меня сердце бьется от радости и как будто дух замирает. Это было совершенно справедливо, я говорил прерывающимся от волнения голосом. Я чувствовал такое нервное, невыразимо сладкое раздражение, такое внутреннее стремление вперед, что желал бы сам полететь, как птица! Между тем опускался вечер. Длиннее и длиннее становились тени от скачущей повозки, лошадей, кучера и Ивана Малыша, который заливался русскою песнею. Тени бледнели постепенно и, наконец, смешались с потемневшей землей. Все это вместе сильно подействовало на меня, я чувствовал какое-то волнение и не умел понять, что со мною делается. Мне не захотелось пить чаю на станции, хотя Евсеич проворно разложил погребец, а Иван Малыш наложил дорожный самоварчик. Мой отказ от чаю очень смутил доброго дядьку. Прежде этого никогда не случалось, а здесь была особенная приманка: на столе стоял горшок густых, сморщившихся холодных сливок, которые я очень любил. Евсеич поду-

мал, что я нездоров, стал приставать с расспросами, и для его успокоения я съел целую тарелку сливок с казанскими кренделями. Лошади были готовы, и мы опять поскакали. Обидная для меня мысль, что я напугался от скорой езды, не выходила из головы Евсеича; он не велел шибко ехать, чтоб ночью как-нибудь не опрокинуться, и ужасно надоел мне своими докучными расспросами и рассуждениями. Я закрыл глаза, хотя этого было и не нужно, потому что становилось темно, притворился спящим, даже всхрапывал, покуда не заснул сам наблюдавший меня мой попечительный дядька. Я, напротив, не спал долго и после восхождения солнца, и много новых ощущений и наслаждений доставила мне эта бессонная ночь с своей вечерней и утренней зарею. Не скоро и как-то нечаянно сон овладел мною, но зато я заснул уже так крепко, что не слышал, как переменили лошадей на станции, и проснулся часов в девять утра, разбуженный громовым ударом. Опомнившись и оглядевшись, я увидел, что над нашими головами быстро несло небольшое грозовое облако прямо к туче, которая синела,

чернела, росла ежеминутно и заволокла уже полнеба с правой стороны и у которой один край был белесоват. Там уже рубил дождевой ливень; глухой, какой-то зловещий шум и свежая влажность неслась оттуда. «Никак, град? — сказал Евсеич. — Господи, спаси и помилуй! Последний хлебец выбьет у мужичков». — Казалось, туча шла стороною; но вдруг поворотила и стала нагибать прямо на нас; крупные капли дождя зашлепали по пыльной дороге и по моей рогожной, также пыльной, кибитке. Люди засуетились, чтобы прикрыть меня и самим прикрыться. Евсеич велел ехать шагом, говоря, что в грозу скакать опасно. Скоро накрыла нас туча. Засверкали змеистые, ослепительные молнии, и мгновенно вслед за ними раздавались оглушительные громовые удары. Всякий раз казалось, что гром ударил возле нашей повозки. Сначала Евсеич, Иван Малыш и ямщик снимали шапки и крестились при блеске каждой молнии, но когда она сделалась почти непрерывною, то и креститься перестали... Вдруг налетела буря с крупным частым градом и проливным дождем, и воздух превратился в

белую водяную пыль. Должно признаться, что я не без страха смотрел на эту величественную, но грозную картину. Гнев стихий ужасен. В ту минуту он так могущественно проявлял свои разрушительные силы и ничтожность, незащитность человеческой природы, так явно изобличалась и чувствовалась мною, что я не мог оставаться спокойным; притом я в детстве был напуган громом и тогда еще не освободился от этого тяжелого впечатления. Признаюсь, чувство невыразимо оградного спокойствия и радости разлилось в душе моей, когда удары грома начали становиться реже и отдаленнее. Туча провалила с полудня на запад, и уже голубое небо засверкало с правой стороны. Мы с Евсеичем уцелели, а Иван Малыш и ямщик были до костей промочены дождем. Но яркое летнее солнце уже спешило выкатиться на очищенное от туч небо и принялось сушить мокрого ямщика и Малыша, которые весело подсмеивались друг над другом. Нам показалось, что туча самой серединой прошла над нашими головами; но, подвигаясь, уже рысью, вперед, мы увидели, что там и дождь и град были гораздо

сильнее, а громовые удары ближе и разрушительнее: лужи воды стояли на дороге, скошенные луговины были затоплены, как весной; крупный град еще не растаял и во многих местах, особенно по долочкам, лежал белыми полосами. Мы проезжали мимо хлебов, которые все были более или менее побиты градом, а некоторые десятины так вытолочены, как будто бы долго пасли на них стадо мелкого скота; не только колосья — солома, казалось, была втоптана в грязь. Вдобавок ко всему в одной окольной деревне виднелись два столба дыма, означавшие, без сомнения, пожары от молнии, а в ближнем лесу дымилось несколько расколотых деревьев, зажженных тоже молнией. Этот ужасный след быстро промчавшейся грозы был особенно поразителен при ясном небе, тишине освеженного воздуха и ярком солнечном освещении. «Ну, вот где была настоящая-то гроза, — говорил Евсич, — а нас, видно, туча только крылушком задела». Выбитые десятины хлеба возбуждали особенное участие в моих спутниках; ямщик сам был из той деревни, куда мы ехали, и знал даже, кому принадлежали эти десятины;

как нарочно, хозяйева их были бедные люди, и такая потеря окончательно разоряла их. Несколько времени все трое толковали о печальном событии, и в словах моего дядьки слышалась его искренняя, неподдельная доброта. «Ах, господи! — говорил он, — кабы я был богатый, вот и пособил бы им; а то что? убытку тут на сотни, на тысячи рублей, так копейками не поможешь». Мы скоро приехали на станцию и привезли печальное известие о хлебных полях. Никто не чаял такой беды; в деревне и граду не было, а слышали только шум. Между старухами и бабами поднялся вой и плач, и некоторые сейчас пошли в поля, чтобы собственными глазами удостовериться в своем несчастье. Евсеич признался мне потом, что отдал свои копейки одному самобеднейшему семейству.

На следующей станции мы переменили лошадей в таком селении, которое своими жителями произвело на меня необыкновенное впечатление: это были татары, перекрещенные в православное вероисповедание, как мне сказали, еще при царе Иване Васильевиче; и мужчины и женщины одевались и

говорили по-русски; но на всей их наружности лежал отпечаток чего-то печального и сурового, чего-то потерянного, бесприютного и беспорядочного; и платье на них сидело как-то не так, и какая-то робость была видна во всех движениях; они жили очень бедно, тогда как вокруг и татарские, и русские, и мордовские, и чувашские деревни жили зажиточно. Мой дядька Евсеич знал прежде эту деревню и знал таких же перекрещенцев в других деревнях. Он говорил мне, что они все на один лад и все бедны: от своего отстали, а к нашему не пристали; «так и маются, как какие-то Каины», — прибавил он в заключение. Слова его заставили меня очень задуматься. Я промешкал на станции лишних полчаса, стараясь внимательно взглядеться и разговориться с хозяевами. Я говорил также и с соседями их, со стариками и старухами, а также с мальчиками. Впрочем, в детях менее было заметно той грустной и неприятной особенности, которая лежала на всех взрослых: дети были живее и веселее. Тип татарской физиономии еще не истребился, но уже повыродился; никто не брил головы, но и длинных волос ни-

кто не носил; все казались какими-то сейчас остриженными, взятыми из крестьян в рекруты или на господский двор. Они отчасти понимали свое положение и считали невозможностью из него выйти. Между ними ходило предание, что праотцы их за какую-то вину должны были подвергнуться наказанию кнутом и ссылке в Сибирь в каторжную работу; что их простили за то, что они приняли русскую веру, и переселили на другие места; что Магомет их проклял и что потому они живут бедно. Все это произвело на меня тогда живое впечатление; но потом мне уже никогда не случалось бывать в деревне, населенной перекрещенцами, и я мало-помалу совершенно забыл об этих бедных и жалких людях; а любопытно было бы узнать: продолжается ли эта ужасная казнь над потомками за вероотступничество предков, совершенное без всякого убеждения, а из цели корыстной? или, наконец, смешавшись с русскими, с которыми вместе были поселены, эти невинные бедняки смягчили строгость нравственного правосудия своим долготерпением?

Далее по дороге не было и слуху о дожде и

граде. Мы ехали очень скоро, и ночь застала нас уже в тридцати пяти верстах от Старого Аксакова. Я крепко заснул, не слышал, как мы приехали, и, вероятно, проспал бы очень долго, если бы не разбудили меня ласки и поцелуи моей милой сестры. Проснувшись часов в шесть утра и узнав, что я приехал на заре и сплю в кибитке, она прибежала и разбудила меня. В доме почти все еще спали; я пошел в комнату моей сестрицы, которая немедленно сообщила мне, что наловила и собрала для меня много бабочек и червячков. Она знала из писем моих все подробности моего нового увлечения. В самом деле, червяки (многие даже не гусеницы) жили у ней в ящиках, в стеклянных банках и под опрокинутыми стаканами. Бабочки помещались на окне, которое не растворялось и с внутренней стороны было обтянуто кисеей. Эта выдумка была недурна, хотя имела ту невыгоду, что бабочки бились на стеклах и теряли свою цветную пыль; но другая выдумка была не так удачна: сестрица моя подняла фортепьянную доску, и под ней тоже были насажены разные бабочки; большая часть из них от духоты перемерли. Груды

свежих трав, цветов и листьев у червей показывали заботу, с которою ухаживала за ними моя милая сестрица, хотя червяков она терпеть не могла и никогда не брала в руки. Осмотрев внимательно не ожидаемое мною приобретение, я нашел несколько видов бабочек и гусениц мне не известных; много было мертвых и даже высохших, много было потертых бабочек, но довольно нашлось и таких, которых я сейчас принялся раскладывать, потому что дощечки, булавки и бумажки привез с собой. Я просил мою добрую сестру не смотреть на раскладку, говоря, что ей будет жалко; но она не хотела со мной расстаться, да и любопытно ей было поглядеть, как это делается; прижиганье на свечке заставило ее убежать, и она долго не могла равнодушно смотреть и на высушенных бабочек.

Между тем в доме все проснулись. Я не стану говорить об общей семейной радости и об особенной радости моей матери, которая видела во мне теперь настоящего студента, уже не мальчика, а молодого человека, живущего самобытною жизнью. Видела в то же время мою полную искренность и прежнюю чисто-

ту нравов. Добрый мой отец также был очень мною доволен, и хотя он мне ничего такого не говорил, но я видел, с каким удовольствием он смотрел на меня, когда я с жаром описывал свою университетскую жизнь. Первые дни были посвящены разговорам и взаимным рассказам. Я услышал много нового и в житейском, существенном отношении очень много важного и приятного. С своей стороны, я рассказал о своих новых и старых профессорах, о новых предметах учения, о наших студентских спектаклях, о литературных занятиях и затеях на будущее время и, наконец, о моей страсти к собиранию бабочек и о пользе, которая может произойти для науки от подобных собраний. Потом съездили мы к друзьям нашим Миницким, к двоюродной сестре моей А. И. Веригиной, бывшей воспитаннице Н. И. Куроедовой, жившей теперь уже своим домом, в своей деревеньке; съездили и к другим соседям.

Когда все разъезды были кончены, деревенская жизнь с возможными по тамошней местности удовольствиями пошла по своей обыкновенной колее. Что и говорить — не бы-

ло никакого сравнения между Старым и Новым Аксаковым! Там была река, огромный пруд, купанье, ужение и самая разнообразная стрельба, а здесь воды совсем почти не было, даже воду для питья привозили за две версты из родников; охота с ружьем, правда, была чудесная, но лесная, для меня еще не доступная, да и легавой собаки не было. Впрочем, отец возил меня несколько раз на охоту за выводками глухих тетеревов, которых тамошний охотник, крестьянин Егор Филатов, умел находить и поднимать без собаки; но все это было в лесу, и я не успевал поднять ружья, как все тетеревята разлетались в разные стороны, а отец мой и охотник Егор всякий раз, однако, умудрялись как-то убивать по нескольку штук; я же только один раз убил глухого тетеревенка, имевшего глупость сесть на дерево. Вальдшнепов было великое множество, но для них еще не наступила пора. Впрочем, Егор приносил иногда старых и молодых вальдшнепов: молодых он ловил руками, с помощью своей зверовой собаки, а как он ухитрялся убивать старых — я и теперь не знаю, потому что он в лёт стрелять не умел.

Около моховых болот, окруженных лесом, жило множество бекасов, старых и молодых; но я решительно не умел их стрелять, да и болотные берега озер под ногами так тряслись и опускались, «ходенем ходили», как говорили крестьяне, что я, по непривычке, и ходить там боялся. Езжали мы иногда в лес, целой семьей, за ягодами, за грибами, за орехами; но эти поездки мало меня привлекали. Итак, поневоле единственным моим наслаждением было собирание бабочек; на него-то устремил я все свое внимание и деятельность. Бабочек, по счастью, в Старом Аксакове оказалось очень много, и самых разнообразных пород; особенно же было много бабочек ночных и сумеречных. Гусениц попадалось уже мало, да я и не занимался ими, потому что выводиться было им уже некогда или поздно: наступал август месяц. При первых моих поисках и в старом плодовитом саду, и на поникшей речке Майне, и около маленьких родничков, которые кое-где просачивались по старому руслу реки, и на полянах между лесами я встретил не только бабочек, водившихся в окрестностях Казани, но много таких, о ко-

торых я не имел понятия. Сумеречных бабочек я караулил всегда в сумерки или отыскивал в лесном сумраке, даже среди дня, где они, не чувствуя яркого солнечного света, перепархивали с места на место. Ночных же бабочек, кроме отыскивания их днем в дуплах деревьев или в расщелинах заборов и старых строений, я добывал ночью, приманивая их на огонь. Я сделал себе маленький фонарь и привязывал его на вершину смородинного или барбарисового куста, или на синель, или невысокую яблонь. Привлеченные светом бабочки прилетали и кружились около моего фонаря, а я, стоя неподвижно возле него с готовой рампеткой, подхватывал их на лету. В непродолжительном времени я поймал около двадцати новых экземпляров; трудно было определить их названия по Блуменбаху, как мы ни хлопотали над ним вместе с сестрой. Не ручаюсь даже за точность имен, принятых мною по некоторым признакам и сходству в описании. Я заимствовал их из нашего немецкого руководителя, и они казались мне тогда верными. Расскажу о самых замечательных бабочках по порядку, как они мне

доставались. Первая бабочка, пойманная мною, должна принадлежать к породе не настоящих сумеречных бабочек, потому что признаки в ней были смешанные. Мне казалось, что ее можно отнести к одному из многочисленных видов моли, принадлежащих к породе ночных бабочек; но в описанных у Блуменбаха ее нет, да она и крупна для пород моли. Это была бабочка несколько менее средних, но и не маленькая; крылушки у ней круглые, как снег белые, покрытые длинным пухом, который на голове, спинке и брюшке еще длиннее; на этом белом пуху ярко выдаются черные, как уголь, глазки, такого же цвета длинный волосяной хоботок, толстые усики и ножки.[22]

Когда я увидел ее в первый раз, тихо вьющуюся около какого-то дерева в лесу, то опускающуюся, то поднимающуюся, я подумал, что это летает пух в душном, недоступном продольному ветерку лесном воздухе. Но когда в другой раз увидел я эту точно косматую пушинку, прильнувшую к древесному листку, тогда, подойдя поближе, к великой моей

радости, я разглядел, что это бабочка. Много предстояло мне хлопот. Много надо было ловкости, чтобы ее поймать и разложить, не помявши и не потерши ее пушистых крылушек. Вторую бабочку поймал я и назвал, по Блуменбаху, Иперант (*Huperanthus*). Она принадлежала по величине к породе средних бабочек; на всех ее четырех темносизых, вырезанных, угольчатых крыльях находятся беленькие точки, а на изнанке нижних крыльев по три светлых очка или кружочка; она была довольно красива, или, правильнее сказать, необыкновенна. Потом поймал я Атропу, или Мертвую Голову; в ее названии ошибиться нельзя — признак слишком очевиден: возле самой ее головки, на спинке, находится нечто похожее на человеческий череп и две кости, сложенные под ним крестообразно. Верхние крылья у нее светлобурые, а задние — желтые с двумя черными поперечными полосами; брюшко желтое с черными перевязками. Хотя она показана у Блуменбаха в числе сумеречных бабочек, но мы признавали ее за ночную, по величине ее крыльев и толщине туловища.[23]

Очень была красива узором и замечательна относительной величиной своей Настоящая сумеречная бабочка, у которой крылушки верхние и нижние были совершенно клетчатые: кофейные клеточки лежали по белому полю. Маленькие в этом роде бабочки попадались часто, но такой величины я никогда уже не встречал. Она ночью залетела в комнату моей сестры и уселась очень низко в углу. Я заметил ее поутру и подумал, что это лоскуточек клетчатого ситца или кисеи пристал как-нибудь к стене, — и боже мой, как обрадовался, когда разглядел, что это бабочка. У Блуменбаха ее вовсе нет. Была также у меня очень большая ночная бабочка, вся светлорая, у которой на крыльях лежала диагональная полоса беловато-розового цвета, так что когда я разложил ее и поднял верх длинноватые и угловатые ее крылья, то конец перевязки на верхнем сошелся с началом перевязки на нижнем крыле и они составили бы треугольник, если бы продолжить их сходящиеся концы. У Блуменбаха есть некоторое сходство с нею в описании Огородной ночной бабочки.

Впрочем, сходство это ограничивается только перевязкою, похожею на треугольник. Но самыми драгоценными приобретениями, из которых каждое в свою очередь привело меня в восторг, были две бабочки: Кавалер Махаон и Большой Павлин. Вот каким образом достались мне эти сокровища. Шел я однажды по иссохшему руслу речки Майны и увидел в небольшом углублении, вероятно высохшего от жаров родничка, дно которого было еще мокро, целую кучу белых простых капустных бабочек. Многие из них лежали уже мертвые или умирали, другие сидели в кучке, сложив свои крылья, ползали, но уже не летали, остальные вились над ними. Подобные явления для меня были не новость. Я видел, как некоторые породы бабочек, как, например, белые маленькие, голубые и маленькие же светлокоричневые с точками на задних крыльях, собираются в кучи, чтобы вместе умирать.

[24]

Я подошел, однако, из любопытства, пото-

му что подобные необъяснимые явления всегда любопытны. Вдруг вижу, что в числе сидящих и ползающих сидит одна большая желтая бабочка. Я наклонился ее рассмотреть и пришел в такой восторг, который трудно передать моим читателям. Эта бабочка была Кавалер, и не Подалириус, потому что широкие сверху и узенькие внизу поперечные черные полосы ясно изображались и на исподней стороне ее верхних крыльев, чего совсем нет у Подалириуса, да и концы шпор были совершенно другие. Итак, это Кавалер Махаон!.. Необычайность такого счастья оуманила меня... Как бы для полного моего удостоверения, бабочка раскрыла свои крылья, проползла вершка два и опять плотно сложила их. По рисункам и по одному экземпляру у Фукса я знал хорошо отличительные особенности Махаона, и у меня не осталось сомнения, что это он. Я накрыл его поспешно рампеткой и, успокоившись от волнения, вздохнув свободнее, стал думать, как бы взять бережнее мою драгоценную добычу. Сначала я старался спугнуть бабочку, чтоб она взлетела и чтоб я мог завернуть ее в мешочке рампетки; но она

не двигалась с места. Тут я догадался, что она находится в таком же полусонном или болезненном предсмертном состоянии, как и окружавшие ее белые бабочки; я подпустил правую руку под рампетку, преспокойно взял двумя пальцами Кавалера за грудку, сжал и, не выпуская из рук, поспешил домой. Раскладывая Махаона, я, к моему огорчению, увидел, что верхняя сторона левого нижнего крыла была потерта. Вообще при внимательном рассмотрении можно было заметить, что бабочка уже много жила и много потеряла цветной своей пыли, следовательно, потеряла яркость и свежесть своих красок, точно полиняла. Но, несмотря на эти недостатки, Кавалер Махаон мог назваться драгоценной добычей.

Здесь я считаю кстати объяснить недоразумение, в котором мы находились тогда относительно обоих Кавалеров, то есть Подалириуса и Махаона.

Имея в руках Blumenbacha, Ozeretskovskogo и Раффа (двое последних тогда были известны мне и другим студентам, охотникам до натуральной истории), имея в настоящую минуту перед глазами высушенных, нарисован-

ных Кавалеров, рассмотрев все это с особенным вниманием, я увидел странную ошибку: Махаона мы называли Подалириусом, а Подалириуса — Махаоном. Правда, что с первого взгляда они несколько похожи друг на друга, но не сходство этих бабочек, а профессор Фукс ввел нас в это заблуждение. Он назвал Махаона Подалириусом, а мы, положась на его слова, уже невнимательно прочли описание Blumenбаха, Озерецковского и Раффа. Итак, первые Кавалеры, пойманные Тимьянским и мною, были Махаоны. Вот описание последнего с натуры, по возможности подробное и точное. Махаон принадлежит к числу крупных наших бабочек; крылья имеет не круглые, а довольно длинные и остроконечные, по желтому основанию испещренные черными пятнами, жилками и клетками; передние крылья перевиты по верхнему краю тремя черными короткими перевязками, а по краю боковому, на черной широкой кайме, лежат отдельно, в виде оторочки, желтые полукружочки, числом восемь; к туловищу, в корнях крыльев, примыкают черные углы в полпальца шириною; везде по желтому полю рассы-

паны черные жилки, и все черные места как будто посыпаны слегка желтоватою пылью. Нижние крылья овально-кругловаты, по краям вырезаны городками или фестончиками, отороченными черною каймою, с шестью желтыми полукружочками, более крупными, чем на верхних крыльях; непосредственно за ними следуют черные, широкие дугообразные полосы, также с шестью, но уже синими кружками, не ясно отделяющимися; седьмой кружок, самый нижний, красно-бурого цвета, с белым оттенком кверху; после второго желтого полукружочка снизу или как будто из него идут длинные черные хвостики, называемые шпорами, на которые они очень похожи. Подалириус же — цветом также желтый, но гораздо бледнее, с черными пестринами; на верхних своих крыльях имеет широкие, сначала черные перевязки, идущие с верхнего края до нижнего, но внизу оканчивающиеся уже узенькой ниточкой; на нижних крыльях у Подалириуса лежат кровавые небольшие ободочки с синей середкой; синюю же каймою оторочены нижние крылья с наружного края; шпоры имеет такие же длинные и

черные, с желтыми оконечностями. Вообще Подалириус в объеме уже Махаона. Для меня он даже красивее.

Ночная бабочка Павлин, редкой величины и красоты, залетела ко мне сама. Недели за две до моего отъезда были у нас гости. Часов в девять вечера все сидели в гостиной около самовара и пили чай; моя мать сама его разливала. Вечера становились уже прохладны, но окна были открыты; четыре свечи горели в комнате. Взглянув нечаянно вверх, я увидел на самом потолке мелькающую тень от чего-то летающего. Я сейчас подумал, что это летучая мышь: их водилось там очень много, и они часто по вечерам влетали на огонь в горницы. Мать моя имела к ним непреодолимое отвращение, и я хотел уже сказать, чтобы она вышла, куда мы выгоним незванную гостью. Но, взглядевшись попристальнее, я заметил, что это была не летучая мышь, а бабочка, бабочка огромная и непременно ночная. Я поднял страшный крик и бросился затворять двери и окна. Все были испуганы, мать осердилась и начала бранить меня; но когда я, задыхаясь от волнения, указывая вверх рукою,

умоляющим голосом выговорил: «Бабочка, огромнейшая, чудеснейшая бабочка! позвольте мне ее поймать...» — все расхохотались, и мать, зная мою безумную страсть, не могла не улыбнуться; она позволила мне поймать залетевшую к нам бабочку, *огромнейшую и чудеснейшую*, по моим словам. Но это было не так легко сделать. Она летала под самым потолком и садилась иногда отдыхать на карнизе. Я сбегал за самой длинной рампеткой, поставил на стол стул и вскарабкался на него. Мать ушла с гостями в залу, чтобы я мог возиться на просторе, а сестра и отец остались помогать мне. Отец придерживал стул, на котором я стоял, а сестрица влезла на стол и, держа в руках две горящие свечи (остальные две мы потушили), вытянув руки вверх и стоя на цыпочках, светила мне и призывала бабочку на огонь. Распоряжения мои увенчались успехом: бабочка стала кружиться около меня, и я скоро поймал ее. Это была бабочка Большой Павлин, немного поменьше летучей мыши. Не берусь описывать, до какой степени я ей обрадовался и как я был счастлив тогда! Об огромном Павлине,

как о великой редкости, наслышался я от Фукса; без всякого сомнения, это была та самая бабочка. У Блуменбаха описание ее совершенно недостаточно, а в отношении к образованию крыльев вовсе не верно. Вот его описание: «Ночная бабочка Павлин (Pavonia) с гребенчатыми усиками, безъязычная, у коей крылья округленные, серовато-мутные, с некоторыми (?) повязками, а на них несколько прозрачный глазок». Пойманная же мною бабочка, признанная впоследствии за настоящего Большого Павлина[25] и профессором Фуксом, имела крылья не округленные, а несколько продолговатые и по краям с маленькими, чуть заметными вырезками. Пожалуй, можно их назвать серовато-мутными, но это не дает настоящего понятия о цвете ее крыльев; они были прекрасного пепельного цвета с темноватыми и беловатыми по краям полосками, или струями, с оттенками и переливами такого красивого узора, что можно было на них заглядеться. Нижние крылья были также хороши, но какого-то мутного, пепельного цвета, на всех четырех крыльях находилось по большому кружку, или глазку,

блиставшему цветом павлиньих перьев, то есть глазков, находящихся на длинных перьях в хвосте самца павлина, отчего, вероятно, и бабочка названа Павлином. Исполод крыльев просто серый, с белыми жилками, но глазки обозначались и там очень красиво, хотя не так ярко, с примесью бледнопунцового цвета, которого на верхней стороне совсем не видно. Хотя лучше было разложить прелестную бабочку при дневном свете, но я побоялся отложить эту операцию по двум причинам: если Павлин умрет от сжатия грудки, то может высохнуть к утру;[26] если же отдохнет, то станет биться и может стереть цветную пыль с своих крыльев. Итак, я решился разложить ее сейчас, зажег несколько свеч и в присутствии всех гостей и моего отца, смотревших с любопытством на мою работу, благополучно разложил чудесного Павлина.

Само собою разумеется, что у меня давно уже был сделан прекрасный ящик со стеклом, оклеенный внутри белой бумагой, с мягким липовым дном для удобного втыкания булавок с бабочками. Мало-помалу ящик наполнился поистине прекрасными и даже редки-

ми экземплярами бабочек; но теперь предстоял вопрос: как его довести до Казани на почтовых, в ямской кибитке? Булавки могут повыскакать от тряски, и тогда один вывалившийся экземпляр перепортит множество других. Оставалось одно средство: во всю дорогу держать ящик в руках; езды было всего сутки, можно ночку и не поспать.

Тридцатого августа утром я уже скакал по казанской дороге, именно с ящиком в руках. На каждой станции я пробовал, крепко ли держатся булавки. Бодро не спал всю ночь, и только на другой день поутру уступил просьбам моего Евсеича, который, вызвавшись поддержать моих бабочек, уговорил меня «соснуть часок-другой». К обеду приехал я благополучно в Казань, на свою квартиру. Панаевы еще не приезжали. Я немедленно отправился в университет, разумеется с ящиком бабочек. Я нашел Тимьянского выздоравливающим от болезни. Он, бедный, прохворал почти все лето лихорадкой. Наши бабочки, хранившиеся в библиотеке, и хризалиды и гусеницы находились в совершенном порядке; во все это время неусыпно смотрел за ними Кайса-

ров, — я не знал, как и благодарить его! Почти все червяки превратились в хризалиды, а остальные померли; многие из прежних хризалид превратились в бабочек; замечательных не оказалось, но все до одной были разложены. Мое деревенское собрание бабочек привело в восхищение Тимьянского, Кайсарова и других студентов, принимавших более или менее участие в этом деле. Почти все студенты, уезжавшие на вакацию, воротились к 15 августа, потому что 16-го начинались лекции. Собрание насекомых Тимьянского мало приобрело нового со времени моего отъезда сколько от его болезни, столько и от того, что ближайшие окрестности Казани не представляли особенных удобств к добыванию новых, разнообразных и редких насекомых. Что же касается бабочек, то не оставалось никакого сомнения, что наше с Панаевым собрание, не принимая в расчет того, что привезет мой товарищ, было несравненно лучше собрания Тимьянского. С мучительным нетерпением ожидал я возвращения друга моего Александра. Что-то удалось поймать ему? И что скажет он, взглянув на моих бабочек? Я бес-

престанно посылал узнавать, не приехали ли Панаевы, и сам несколько раз ездил осведомляться о том же. Наконец, 15 августа, вечером, прислали сказать мне из дому Панаевых, что «молодые господа сейчас приехали», — и через несколько минут я был уже на Черном Озере. Ящик с бабочками, конечно, был со мною; но я завязал его платком, чтоб показать вдруг с большим эффектом тогда уже, когда общее внимание будет устремлено без помехи на мои драгоценные приобретения. После первых радостных объятий и восклицаний мы оба с Александром в один голос спросили друг друга: «Ну, что же ты привез?» Я отвечал многозначительно, что «привез кое-что, чем он будет доволен». Панаев отвечал в таком же роде с самодовольною улыбкой; но братья его не вытерпели, и все четверо вдруг начали рассказывать и хвалиться своими бабочками, прибавляя, что у меня, «конечно, ничего подобного нет». — «Ну, так показывайте», — сказал я. «Нет, покажи наперед ты!» — возразил Панаев. В таких перекорах прошло несколько минут. Наконец, я уступил и открыл свой ящик. Панаевы были поражены,

уничтожены; Александр в радости бросился меня обнимать. Махаона, то есть Подалириуса, и Павлина никто не ожидал. «Ну, — сказал Александр Панаев, рассмотрев внимательнее моих бабочек, — после этого наших нечего и показывать! Да и как ты стал хорошо раскладывать, не хуже меня!» — прибавил он. Но это было несправедливо. Я стал лучше прежнего раскладывать — это правда; до Панаева же мне было далеко. После он разглядел, да я и сам указал ему многие мои грехи, происшедшие от неловкости и нетерпения. Наконец, Александр принес свой ящик. Цельность экземпляров, красота и чистота раскладки поистине были изумительны; но, конечно, таких редких бабочек, как Махаон и Павлин, у него не было. Он привез около двух десятков новых экземпляров и несколько дубликатов прежним нашим бабочкам в превосходнейшем виде. Лучшие бабочки его были следующие: денная бабочка, которую мы признали за Полихлора (*Polichloros*), по Блуменбаху, значительной величины; она имела крылья угловатые, желто-красные, с черными пятнами; на верхних крыльях сверху находились

четыре черные крупные точки, идущие от конца крылушка к туловищу. Она имела некоторое сходство с крапивной бабочкой. Другая дневная бабочка, которую с грехом пополам мы называли Пафия, тоже по Блуменбаху, была средней величины, крылья имела зубчатые, оранжево-желтые, с темносиними блестящими пятнами. Это была бабочка необыкновенной красоты, но «с исподи на крыльях серебряных поперек черт», как пишет Блуменбах, никаких не оказалось. Впрочем, это могло происходить от случайной причины. Из ночных замечательными можно было назвать двух бабочек: одна из них, Антиква, довольно большая, имевшая крылья очень плоские, *хорошего*, то есть яркого темнокрасного цвета; на передних или верхних ее крыльях, у заднего угла, находилось по белой лунке или пятну. Другая ночная бабочка, признанная всеми за Смородинную Геометру (*Grossulariata*), имела крылья белесоватые, испещренные кругловатыми черными пятнушками; на передних крыльях были заметны желтые черточки или желтые оторочки черных крапинок. Особенно были хороши у Па-

наева средней величины сумеречные бабочки. Первую из них признали мы, по Блуменбаху, за Сфинкса (*Celerio*); у ней были верхние серые или дымчатые крылья с продольною чертою, или, лучше сказать, двумя чертами, вместе соединенными; одна половина черты была черная, а другая белая, задние крылушки к корню, или туловищу, были красные, каждое с шестью точками или пятнушками. Про нее сказано у Блуменбаха, что она водится на винограде; но там, где его нет, вероятно она водится по другим кустарникам или растениям.[27]

Вторую же сумеречную бабочку можно назвать Собачья Голова (*Stellatarum*), по необыкновенно бородастой груди, мохнатуму брюшку и задним красновато-желтым крылушкам; верхние же крылья не сходны с описанием Блуменбаха: они не белые и черные, как он говорит, а самого простого серого цвета, как у всех обыкновенных свечных, ночных бабочек. Остальных сумеречных, тоже очень красивых, не часто попадающихся бабочек, пойманных Панаевым, мы определить и назвать

не могли.

Когда мы соединили наши четыре ящика и привели их в надлежащий порядок, то есть расположили бабочек по родам, выставили номера, составили регистр с названиями и описаниями, то поистине наше собрание можно было назвать превосходным во многих отношениях, хотя, конечно, не полным. Все студенты соглашались беспрекословно, и уже не было никакого спора, чье собрание лучше, наше или Тимьянского. Можно сказать, что мы с Панаевым торжествовали.

Между тем начались лекции, и я, чувствуя себя несколько отставшим, потому что с самой весны слишком много занимался бабочками, принялся с жаром догонять моих товарищей. Панаев тоже. Через неделю, однако, мы решились с ним, по старой привычке и не остывшей еще охоте, выйти за город, чтобы посмотреть, не попадет ли нам какая-нибудь новая, неизвестная порода бабочек. Но не только не попалось нам новой, даже известных бабочек встретилось мало, потому что наступил уже конец августа и погода очень похолодела. С этого дня прекратились

наши походы за бабочками, и прекратились навсегда! Пришла суровая осень, и все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал, под названием: «Журнал наших занятий». Я же, сверх того, сильно увлекся театром. У нас в университете составились спектакли, которые упрочили мою актерскую славу. Бабочки отошли сначала на второй план, но мы с Панаевым еще каждый день смотрели их, любовались ими, вспоминали с удовольствием, как доставались нам лучшие из них и как мы были тогда счастливы. Потом эти воспоминания день ото дня становились реже и беднее. Бабочки забывались понемногу, и страсть ловить и собирать их начала казаться нам слишком молодым или детским увлечением. Так казалось особенно мне, который был привязан к этой охоте несравненно горячее и страстнее Панаева.

В непродолжительном времени судьба моя была решена моим отцом и матерью: через несколько месяцев, в начале 1807 года, я должен был выйти из университета для поступления в статскую службу в Петербурге.

В университете в это время царствовал воинственный дух. Большая часть казенных студентов желала, хотя безнадежно, вступить в военную службу, чтоб принять личное и деятельное участие в войне с Наполеоном. Другой Александр Панаев с братом своим Иваном, нашим университетским лириком, также воспламенились бранным жаром и решились выйти немедленно из университета и определиться в кавалерию. Они ожидали согласия матери. Воинственному настроению в Казанском университете была особенная причина, кроме любви к отчизне и любви к народной славе. Между казенными студентами была одна необыкновенная личность, Петр Семеныч Балясников. Он был отличный студент по математике; пылкий, неустрашимый, предприимчивый и в то же время человек с железной волей — он бы наделал много славного, если бы смерть не пресекла рановременно его жизни. При переправе Наполеона через Березину Балясников был уже полковником и командовал батареей конной артиллерии; он простудился и умер горячкой. Этот-то Балясников, всегда имевший сильное

влияние на своих товарищей, воспламенял теперь всех воинским жаром. Он увлек даже и тех, которые, по-видимому, не имели и, по своему слабому здоровью и мирному настроению духа, не могли иметь никакого расположения к военной службе. Никто, конечно, не думал, чтобы маленький, тщедушный Михайло Фомин, студент необыкновенно умный, дельный, тихий, преимущественно занимавшийся литературою, или дорогой мой товарищ по театру, необыкновенный комический талант, тоже худощавый и кроткий по своим наклонностям, Петр Зыков — пошли в военную службу! Но именно так случилось на деле. Тимьянский и Кайсаров остались, однако, верными своему ученому назначению.

Прежде поступления на службу в Петербурге мне предстояло еще встретить весну в деревне, в моем любимом Аксакове. Прилет птицы приводил меня в восторг при одном воспоминании о той весне, которую я провел там, будучи еще восьмилетним мальчиком; но теперь, когда я мог встретить весну с ружьем в руках, прилет птицы казался мне таким желанным и блаженным временем, что

дай только бог терпенья дожить до него и сил — пережить его. При таком настроении не было уже места бабочкам в мечтах и желаниях, кипевших в то время в моей голове и душе. Сначала я подарил свою половину бабочек Панаеву. Панаев же подарил мне прекрасные рисунки лучших из них, снятые им с натуры с большим искусством и точностью; а как потом Панаев задумал в военную службу, то мы отдали бабочек в вечное и потомственное владение Тимьянскому. Остались ли они его собственностью, или он пожертвовал их в университетский кабинет натуральной истории — ничего не знаю.

Быстро, но горячо прошла по душе моей страсть — иначе я не могу назвать ее — ловить и собирать бабочек. Она доходила до излишеств, до крайностей, до смешного; может быть, на несколько месяцев она помешала мне внимательно слушать лекции... но нужды нет! Я не жалею об этом. Всякое бескорыстное стремление, напряжение сил душевных нравственно полезно человеку. На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминание этого времени, многих счастливых, бла-

женных часов. Ловля бабочек происходила под открытым небом, она была обставлена разнообразными явлениями, красотами, чудесами природы. Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а такие впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, — благодатны, и воспоминание о них вызывает отрадное чувство из глубины души человеческой.

*Москва, Петровский парк,
1858 год, 21 июля*

ВСТРЕЧА С МАРТИНИСТАМИ (Воспоминания из петербургской жизни)

В 1808 году на Мойке, набережная которой тогда отделялась, или, скорее, переделывалась и украшалась новой узорной чугунной решеткой, неподалеку от запасных хлебных магазинов и конногвардейских казарм, находился каменный дом старинной петербургской архитектуры. Дом этот принадлежал некогда, как я после узнал, Ломоносову и потом как-то приобретен был казною. В настоящее время в нем помещался с своим семейством начальник хлебных запасных магазинов, действительный статский советник и кавалер Владимира 3-й степени, Василий Васильич... назовем его: Рубановский. Это была его казенная квартира с отоплением и освещением, которая давала ему возможность, при небольшом жалованье, кое-как существовать в Петербурге. Конечно, место Рубановского было не безвыгодное, потому что хлеб отпускался *недостаточным* людям по такой

цене, которая была вдвое и даже втрое ниже рыночной; и хотя для получения хлеба по дешевой цене надобно было представить свидетельство от полиции в *недостаточности* состояния, но кому не известно, что при добром расположении главного начальника хлебной конторы легко можно было приобрести и доброе расположение частного пристава. При таком мирном согласии властей добрые люди, получавшие дешевый хлеб, конечно, не остались бы неблагодарными. Но статской Енерал (как его звал народ), или Генерал-Куль (как называло его одно высшее лицо), старик Рубановский, фанатик бескорыстия, сам почти нищий, был честности неподкупной, убеждений непреоборимых, и у него нельзя было спекулировать во имя недостаточности состояния. Рубановский, человек религиозный до мистицизма, злой мартинист, как его звали в обществе, во всю свою жизнь, с суровой строгостью и с тягостною для всех точностью, свято исполнял долг суда и правды на поприще своей разнообразной и долговременной служебной деятельности. Добившись до порядочного чина, он служил и у *города Архангельска*

председателем казенной палаты, а впоследствии и в Оренбургском крае, тоже председателем какой-то палаты. В Уфе, как и везде, был он одним и тем же чиновником непреклонной, неумолимой честности. Именно в Уфе он познакомился с моим отцом и матерью, и это был единственный дом или семейство, с которым Рубановский постоянно находился в дружеских отношениях. Он был нелюбим в обществе, ненавидим своими подчиненными; да, признаться, мудро было его и любить, но не уважать его было невозможно: будучи всегда чист в своих действиях, независим по своему бескорыстию и умеренности, он не стеснялся в своих речах законами лицемерного приличия, не держал на привязи своего языка, и, когда считал это справедливым, не щадил никого. Его боялись как огня и никогда не заводили с ним ни ссор, ни споров; от него молча отходили прочь, но зато неумолимо действовали против него тайно, как против беспокойного чиновника и злонравного человека. Вследствие таких происков Рубановский никогда не засиживался долго на одном месте; через каждые

два, три года его *переводили*, и вот, наконец, перевели из Уфы в Петербург, где уже он оставался довольно долго на службе, до выслуги пенсии, и то благодаря покровительству мартинистов.

Когда в 1808 году привезли меня в Петербург, для определения на службу, то на другой или на третий день нашего приезда меня послали с визитами: к бывшему наставнику моему, Г. И. Карташевскому, к крестному моему отцу, Д. Б. Мертваго, и к Рубановским. Последних я вовсе не знал, или, лучше оказать, не помнил, потому что был слишком мал, когда они уехали из Уфы, но я наслышался об них как об самых добродетельных и честных людях. Семейство Рубановских произвело, однако, на меня неприятное впечатление. Старик был огромного роста, сухощав, но атлетического, мускулезного сложения; глаза его выражали суровую строгость; лицо он имел необыкновенно длинное и бледное, с выдавшимся вперед подбородком; передние зубы, точно клыки, высывались, когда он говорил, особенно когда смеялся; но и в смехе его не было ничего веселого и добродушного. Он

просто показался мне страшен. Жена его, Анна Ивановна, была совершенная ему противоположность: маленькая ростом и худенькая, как скелет; лицо же ее светилось какою-то восковою прозрачностью. У старика я заметил довольно большую косу, обвитую черною лентою. Я помнил, что во время моего детства носили косы, помнил, что у моего отца коса была с лишком в аршин длиною, и помнил, как он приказал ее отрезать, уступив духу времени и просьбам моей матери; но с тех пор я ничего подобного не встречал, — и коса Рубановского, которая беспрестанно шевелилась и двигалась, сообразно движению его головы, привлекала мое внимание, и я не мог отвести от нее глаз; старик это заметил и сурово посмотрел на меня. Анна Ивановна была одета, как мне показалось, в какое-то фантастическое платье. Особенно поразил меня убор ее головы: это был высокий, как тулья мужской шляпы, чепчик, посредине обвязанный шелковым платочком или широкой лентой, из-под которого висели кружевные крылушки. Узнав от меня, что я сын родителей, с которыми они некогда жили в дружбе, что я

тот самый хворенький Сережа, которого они оставили двухлетним умирающим дитятей, хозяева приняли меня, по-своему, с радушием и ласкою. Мое превращение из ребенка в студента со шпагой и треугольной шляпой показалось им поразительным явлением, которому они долго и наивно удивлялись.

Когда я воротился домой и рассказал, какое впечатление произвели на меня Рубановские, рассказал, что я не мог у них долее оставаться, потому что в час они садились обедать, мне объяснили подробно, что за почтенные оригиналы были эти люди. Мать смеялась и сама удивлялась, что не предупредила меня об этом; но она думала, что пятнадцатилетнее пребывание в Петербурге на таком важном, по ее мнению, месте заставило Рубановских, несмотря на природное упрямство, бросить свой странный костюм и свои архангелогородские обычаи. «Честь и слава характеру Анны Ивановны, — воскликнула мать. — Для женщины это великий подвиг». Тут рассказала мне она, что Анна Ивановна — архангельская уроженка, что в Уфе, да и везде она одевалась точно так, как одеваются женщи-

ны, живущие у города Архангельска, что она всегда заявляла намерение не изменять ни в чем своего костюма и никогда не обедать позже часа. Все это казалось в Петербурге невозможным, а теперь оказалось в точности исполненным. Тут я также узнал, что Рубановские испытали ужасную потерю: менее года, как они лишились старшей дочери, необыкновенной красавицы и умницы, которая была идолом своего семейства, как выражалась одна наша общая знакомая; она же рассказала нам, что родители перенесли эту потерю с необыкновенной твердостью, особенно отец, который, не выронив ни одной слезинки, с каким-то торжественным весельем хоронил свою любимицу, тогда как все присутствующие надрывались от слез.

На другой день поутру отец мой ездил к Рубановским, мать же по нездоровью оставалась дома. Старик Рубановский, особенно любивший мою мать и нетерпеливо желавший ее увидеть, в тот же вечер приехал к нам. После всего слышанного мною я смотрел уже на него с почтительным любопытством и вниманием, несмотря на неприятное впечатле-

ние первой встречи. Разговор немедленно обратился на понесенную стариками ужасную потерю. Мать с искренним и горячим участием просила рассказать ей все подробности этого несчастного события. Старик Рубановский как-то дико рассмеялся и сказал: «Я знал, сударыня, что вы по дружбе к нам захотите узнать все обстоятельства, сопровождавшие эту великую эпоху в нашей жизни; она во многом вразумила, во многом переменяла нас. С первого дня болезни Александры Васильевны (так звали его умершую дочь и так всегда называл ее отец) я уже почувствовал волю Божию, понял, для чего нужно нам это испытание, — и покорился. Но в назидание другим, могущим впасть в подобное нашему, родительское, греховное ослепление, я стал записывать каждый день историю болезни моей дочери и ее христианскую кончину. Я привез прочесть вам эту записку: угодно выслушать?» Разумеется, мой отец и мать усердно об этом просили. Когда же хотели меня выслать, я попросил позволение также послушать, и старик Рубановский изъявил желание, чтобы я остался.

Ни один роман, ни одно стихотворение Державина, ни одна трагедия не производили на меня такого впечатления, какое произвело чтение этой записки. Я не думаю, чтобы она была написана хорошо в литературном отношении, но тут было не до красоты слога! Тут была правда, действительность, страстная родительская любовь, осужденная и пораженная гневом Божиим, как выражался сам несчастный отец. Я не смею думать, чтобы я мог передать чувства, произведенные во мне этой запиской, чтение которой продолжалось часа полтора. Я даже думаю, что если б я мог привести ее в подлиннике, то читатели не получили бы понятия о моем впечатлении: тут недоставало бы отца, читающего, самим им составленное, описание болезни и смерти обожаемой дочери. Сначала в записке старик исповедует, что считал, вместе с женою, дочь свою совершенством человеческой природы, чудом, ниспосланным на землю для обращения заблудших грешников на путь истинный. По словам его, это было собранье всех добродетелей, всех талантов внешних и внутренних. Между прочим, она писала пре-

восходные стихи духовного содержания, сама клала их на музыку и пела с неподражаемым совершенством. Пение этих стихов осталось навсегда лучшим украшением высоких бесед людей, избранных на прославление имени божия и проповедание христианской любви. Умнейшие и просвещеннейшие люди, как, например, А. Ф. Лабзин и какой-то архимандрит Иоанн, находили великое удовольствие и даже душевную пользу беседовать с этой девицей о самых высоких духовных предметах; но в то же время в ней не было никакого отшельничества: она являлась в свет, ездила на балы и в скромном своем наряде, одной любовью и красотой привлекала к себе толпу молодых людей, которые принимали каждое ее приветливое слово с радостью и благоговением. В самом начале болезни, не имевшей ничего в себе значительного, больная уже предчувствовала свою кончину, заранее приготовилась к ней и старалась приготовить свое семейство. Всякая медицинская помощь оказалась бесполезною. Больная слабела день ото дня, стала впадать в беспамятство, в продолжение которого она или беседо-

вала с незримыми для других посетителями, или пела божественные песни. Всегда чудный ее голос получил в это время необыкновенную силу, и торжественные его звуки разносились по целой улице, так что толпы народа собирались перед растворенными окнами их дома: окна были раскрыты от нестерпимого летнего зноя. Народ, зная, что поет умирающая, плакал от умиления и молился, а множество благодетельствованных ею нищих стояли день и ночь на коленях, воссылая горячие мольбы к богу о восстановлении здоровья болящей. Вся набережная была до такой степени полна народа, что полиция должна была разгонять его для проезда экипажей. Болезнь долго тянулась; отец подробно описал последние минуты своей дочери, ее прощанье с семейством и со всеми окружающими, ее кроткие желания и просьбы, ее мудрые наставления и радостное стремление к лучшей жизни. Отец сам одевал умершую свою дочь в приготовленное ею заранее платье, сам клал ее в гроб, выносил в церковь и отнес на кладбище; ни малейшего ропота не произнес его язык, и вся душа была исполне-

на благоговейной радости и покорности воле божией. — Мой отец, мать и я обливались слезами, слушая эту повесть, а старик Рубановский улыбался и говорил; «Вы можете плакать, а я должен радоваться и благодарить бога!»

Когда Рубановский уехал, мы долго сидели втроем и говорили о чудной кончине его дочери, необыкновенной твердости отца и преданности воле божией. Когда прошла живость первого впечатления и успокоились мои раздраженные нервы, я осмелился сказать, что мне не по душе такая нечеловеческая, ветхозаветная твердость, что можно покоряться воле божией без фанатизма, платя в то же время полную дань своей человеческой природе. Я прибавил, что Рубановский беспрестанно представлялся мне Авраамом, готовым закласть Исаака по гласу Иеговы, и что я, слушая его, часто чувствовал невольный ужас. Со мной никто не спорил, и только мать сказала: «Мы не можем судить об этом деле, потому что мы плохие христиане!»

Когда семейство мое уехало и я остался служить в Петербурге, я продолжал посещать

Рубановских и, согласно их требованию, обедал у них каждое воскресенье. Я познакомился с остальным семейством, которое состояло из двух сыновей и двух дочерей. Старший сын служил в лейб-гренадерском полку и был во всех отношениях совершенная противоположность своему суровому, но высоконравственному отцу; он был убит в 1812 году.

За первым же обедом я насмешил своих хозяев: узнав вовсе неожиданно, что они живут в доме Ломоносова, я вскрикнул от радостного изумления и едва не выскочил из-за стола. С юношеским увлечением принялся я ораторствовать, что жить в доме Ломоносова, этого великого русского гения, — истинное счастье; что дом его надобно бы сохранить как памятник, во всей его неприкосновенности; что всякий русский должен проходить мимо него с непокрытой головой (что я впоследствии всегда и делал). Все смеялись, говорили, что дом прескверный, и еще более подстрекнули мою восторженность, сказав, что некоторая мебель, принадлежавшая некогда Ломоносову, сохранилась и теперь, что в кабинете стоит письменный стол, за-

брызганный чернилами с пера Ломоносова... Этого было довольно. Я едва мог дожидаться конца обеда, попросил позволение пойти в кабинет хозяина и принялся целовать чернильные пятна на довольно неуклюжем полукруглом дубовом столе. Хозяева последовали за мной, и общий смех усилился. Старик Рубановский, желая охладить мою горячность, сказал мне с насмешкою, что когда он занял этот дом, то ему точно сказали, что письменный стол принадлежал Ломоносову, что это, может быть, и правда, но что чернильные пятна, вероятно, новейшего происхождения; что после Ломоносова хозяев перебывало здесь много и что всякий, без сомнения, и мыл и скоблил, а потом пачкал этот стол. «Да и за что такое поклонение господину Ломоносову? Конечно, есть и у него достойные похвалы стихи, как, например: «Размышление о божием величии» и «Ода к Иову»; но поэма господина Хераскова «Владимир» содержит в себе несравненно более христианских истин, полезных и душеспасительных для человека». Оскорбленный за Ломоносова до глубины души, я имел неосторож-

ность очень резко высказать свое мнение о Хераскове, где досталось и христианским истинам, так пошло и безжизненно вставленным в поэме Хераскова. Лицо моего хозяина искажилось от гнева; он злобно и с презрением посмотрел на меня и сказал: «Теперь я вижу, какие мысли и правила внушены вам вашими воспитателями». С этих пор старик невзлюбил меня и я никогда не пользовался его полным расположением, хотя впоследствии я был всегда осторожен и старался не говорить ему ничего неприятного.

В воскресенье у Рубановских садились обыкновенно за стол не в час, а в два часа, потому что, кроме меня, почти всегда бывало у них человека три из людей, коротко им знакомых; всего чаще бывали: Александр Григорьевич Черевин и Александр Петрович Мартынов, мой земляк. Я замечал иногда, что между ними и хозяином была какая-то особенная связь и что они часто из недоговоренных фраз хорошо понимали друг друга, но я не обращал на это большого внимания. Анна Ивановна приняла меня в свою особенную благосклонность, и один раз, когда я сидел,

после обеда, в кабинете у старика, именно с Черевиным и Мартыновым, и, признаться, скучал, особенно потому, что не ясно понимал, о чем они говорили, хозяйка позвала меня в гостиную, где она обыкновенно сидела со старшей дочерью (меньшая была больная). Анна Ивановна взяла тонкий и со стрелками чулок, а дочь всегда делала восковые цветы. «Посидите со мной, — сказала Анна Ивановна, — поговоримте о вашем семействе, об Уфе, — и, махнув рукой, прибавила: — Пусть они на просторе толкуют о своем деле». Я заметил это выражение, но в чем состояло дело, не понимал, спросить же мне показалось неприличным. Вскоре, однако, все для меня объяснилось. Павел Петрович Мартынов, родной брат Мартынова, часто бывавшего у Рубановских, служивший в Измайловском полку, при первом свидании открыл мне глаза: старик Рубановский и двое гостей, о которых я сейчас говорил, были масоны, или мартинисты, а А. Ф. Лабзин, о котором я часто слышал, был великий брат и начальник этой секты. Мартынов с смехом рассказал мне об их собраниях, о пении непонятных стихов и о раз-

ных церемониях и испытаниях, с которыми принимают они новых членов. Сказал, что они и его хотели завербовать, но что ему, как человеку военному и неученому, некогда было заниматься пустяками.

Поговорив таким образом и посмеявшись над чудаками, мы отправились к родному дяде Мартынова и моему крестному отцу, Д. Б. Мертваго. Мартынов немедленно рассказал ему, что просветил мое недоуменье на счет Рубановских и прочей их братии, и прибавил, что он боится, «как бы они не завербовали земляка», то есть меня. Мертваго рассмеялся и сказал: «Чего доброго! Не поддавайся, брат. Все это пустяки! Рубановские — это честные пуритане; но нельзя этого сказать обо всех: есть такие, которые в мутной воде рыбу ловят. Они приберут тебя к рукам; будут ездить на тебе верхом». Я поспешил уверить своего крестного отца, что питаю непреодолимое отвращение ко всем тайным обществам, ко всему мистическому, темному и непонятному. Мертваго сказал, что он очень этому рад, — и мы расстались.

С этих пор я уже совсем другими глазами

стал смотреть на старика Рубановского и на его посетителей, которые почти все принадлежали к масонскому братству, внимательнее стал прислушиваться к их разговорам и стал многое понимать, казавшееся мне прежде непонятным. Книги с мистическим направлением были мне давно известны, я знал даже и «Сионский вестник», издаваемый Лабзиным, который всегда подписывался двумя буквами У. М., то есть «Ученик Масонства», или Феопемпт Мисаилов.[28]

Но я всегда был до них большой неохотник. Я любил все ясное, прозрачное, легко и свободно понимаемое; труд и сухость отвлеченной мысли были мне скучны и тяжелы, и я, по молодости и легкомыслию, все не понимаемое мною называл не имеющим смысла. Мне, однако, пришлось вновь заглянуть в эти темные книги: однажды старик Рубановский, разговаривая о них с другими гостями, вдруг обратился ко мне с вопросом: читал ли я «Путешествие Младшего Костиса от востока к полудню»? (Именно об этой книге шел разговор.) Я отвечал, что читал, но что она показыва-

лась мне темною. Обыкновенная в таких случаях саркастическая улыбка искривила рот старика, и он значительно посоветовал мне вновь прочесть темную книгу, а если для меня что-нибудь покажется непонятным, то он беретса растолковать мне. Желая похвастаться, что мне не чуждо, а знакомо направление мистических сочинений, я сказал Рубановскому, что еще в первый год моего студентства я подписался на книгу «Приключения по смерти Юнга-Штиллинга», в трех частях, и что даже имя мое напечатано в числе подписавшихся. Рубановский очень удивился и как будто не совсем поверил мне. Я это почувствовал и попросил позволение принести книгу из его кабинета: я заметил ее лежащую на полке, устроенной во всю стену, где помещалась библиотека хозяина. Он поспешил сказать, что верит мне без справок, но что книгу я могу взять, если хочу. Я принес книгу «Приключения по смерти» и захватил «Путешествие Младшего Костиса». Я показал свое имя в числе весьма немногих подписчиков и, развернув «Младшего Костиса», остановился на первом попавшемся мне месте, и просил

объяснения следующих строк: «Цель есть блаженство целого. Самодеятельность, или воля человеческая, должна состоять под непеременимыми законами чистейшего ума. Сей же чистейший ум есть творец всех вещей. Натура есть *его уложение*, книга законов, в которой он идеи свои изобразил буквами, кои разум человеческий разуместь и знать должен». Хотя надобно признаться, что в этих словах можно добраться до некоторого смысла, но я притворился, что вовсе их не понимаю, и Рубановский принялся объяснять мне таинственное значение «идей, изображенных буквами, кои разум человеческий разуместь должен». Старик совершенно запутался; Черевин с Мартыновым поспешили к нему на помощь; но как им нельзя было резко противоречить хозяину, то из этого вышла еще большая путаница, и мне нетрудно было, указав на противоречие в их объяснениях, сбить моих противников с поля. Я опять развернул «Костиса» и на странице 129 прочел следующее: «Любовь, истина и премудрость составляют корону царя. Закон, средство и цель — скипетр его. Одежда жрецов — добродетель, жертвенник — воля,

жертва — победа над страстями, курения — деяния наши». Видя, что здесь победа будет для меня легче, Черевин и Мартынов предупредили старика Рубановского и пустились в объяснения еще более темные и непонятные, чем самый текст, который следовало объяснить. Я сейчас остановил и сконфузил их, сказав им, что во всех спорах первым условием должно быть ясное понимание языка, которым говорят говорящие, что их язык для меня китайский, и в доказательство повторил некоторые их выражения. Они сами чувствовали правду моих слов, и мне казалось, что Черевин сам был готов расхохотаться над собою. Пользуясь их замешательством, я предложил мое собственное объяснение, которое тут же пришло мне в голову и которое хотя имело только наружный смысл, но, право, было не хуже их объяснений, и, сверх того, было очень забавно. Я крепко озадачил и хозяина и гостей, что было мне очень приятно. Не умея настоящим образом опровергнуть меня, старый мартинист осердился и с досадою сказал, что если таким образом читать эти книги и позволять себе такие лжетолко-

вания, то лучше их не читать. Я поспешил успокоить его, что не считаю моего объяснения удовлетворительным, что я сказал так, только то, что пришло мне в голову и что может прийти в голову другим. Я обещал внимательно прочесть эти обе книги и попросить у Рубановского объяснения на все, чего не пойму; на это Рубановский с радостью согласился. Я сейчас почувствовал, что увлекся и зашел слишком далеко, зашел именно туда, куда не хотел идти. Скука читать эти противные мне книги, скука добираться в них до какого-нибудь смысла и еще большая скука — не совсем искренно толковать об этом с Рубановским представилась живо моему воображению, и я дорого бы заплатил за то, чтоб воротить слова, сорвавшиеся с моего болтливового языка, но уже было поздно. Это не только огорчило, даже опечалило меня, и я поспешил проститься с хозяевами ранее обыкновенного, взяв, однако, с собой обе книги, то есть «Путешествие Младшего Костиса» и «Приключения по смерти», на которые я смотрел теперь даже с какою-то ненавистью. Вся сцена происходила в гостиной, в присут-

ствии Анны Ивановны, которая посматривала на меня с улыбкой. Когда я, прощаясь, целовал ее руку, она шепнула мне на ухо: «Ну что, попались?» И мне стало еще досаднее на себя; старик же Рубановский и его гости, переглянувшись значительно между собой, простились со мной с большим вниманием против прежнего. Хозяин — с особенным благоволением, а гости — с особенной лаской и дружбой.

Какой я дурак, думал я, идя поспешно домой! Какой черт дернул меня зайти в этот безысходный лабиринт, всегда мне противный. Глупое самолюбие! Хотелось похвастаться, что мне знакомы мистические книги! Вот теперь и возись с ними. А что всего хуже: я поселил надежду в Рубаковском с его братией — затащить и меня в их общество. Такие мысли роились у меня в голове и умножали мою досаду на самого себя, но, увы, позднее раскаяние ничему не помогало. Воротясь домой, я нашел записку, которая мгновенно выгнала у меня из головы всех мартинистов, со всем их мистицизмом. Записка была от университетского моего товарища, который

некогда имел на всех нас сильное влияние смелостью своего духа и крепостью воли, о котором я не один раз говорил в моих «Воспоминаниях».

«Любезный друг Аксаков, — писал он, — вчера привез меня раненого из Финляндии, в своей карете, также раненный вместе со мною, благодетельный генерал Сабанеев, при полку которого я состою с моими орудиями.[29]

Алехин мне сказал, что ты здесь; покуда я остановился у Алехина. Твой Петр Балясников».

Алехин был нашим товарищем в гимназии, но он не был студентом по весьма печальному обстоятельству, признанному за какой-то бунт против начальства, по милости глупого директора. Алехин находился в числе пятерых лучших воспитанников, исключенных из гимназии.[30]

Это был человек с живым, острым умом, веселым характером и с самыми разнообразными и блистательными дарованиями: он был талантливый стихотворец и прозаик, ма-

тематик и рисовальщик. Выключенный или выгнанный из гимназии, он определился в военную службу солдатом и в настоящее время служил артиллерийским поручиком и состоял адъютантом при генерале Капцевиче, директоре канцелярии Военного министерства и любимце всемогущего тогда военного министра Аракчеева; у него-то остановился наш раненый товарищ. Само собою разумеется, что через несколько минут я уже обнимал Балясникова. Он был не опасно, но тяжело ранен: шведская пуля засела у него в ноге ниже колени, между костями, по счастью не раздробив их. Военные армейские доктора нашли невозможным вынуть пулю и отправили раненого для лечения в Петербург. С особенным чувством дружбы и уважения смотрел я на мужественное, исхудавшее и загоревшее лицо моего школьного товарища. Это было уже не слово, а дело! Это был уже не театральный герой, представлявший на нашей университетской сцене раненого офицера с подвязанной рукой, — это был в действительности храбрый воин, только что сошедший с поля битвы, страдавший от действительной

раны, не дававшей ему покоя ни днем, ни ночью. Почти до утра просидели мы втроем, то есть я, Балясников и Алехин. Не было конца задумчивым разговорам, воспоминаниям и рассказам. Забывая боль от раны, всех более говорил и рассказывал Балясников, да ему и было что рассказывать. Он превозносил похвалами шведов и называл их благороднейшей нацией: офицеры были образованны и мужественны, солдаты храбры и честны; все дрались отчаянно и каждый клочок земли уступали после упорного боя. Надобно сказать, что шведская война не возбуждала сочувствия в публике. Мы начали ее вследствие Тильзитского мира, по приказанию Наполеона, и это оскорбляло нашу народную гордость. По превосходству наших сил и по храбрости войск мы, конечно, должны были завоевать Финляндию, но и самая победа была бесславна. Кровное родство нашей царствующей императрицы, всеми искренно любимой, с королевой шведской еще более возбуждало нерасположение к этой войне. Я живо помню грустное и горькое впечатление, которое произвел на меня военный парад, устроенный

около памятника Петра Великого по случаю какой-то победы. Каково было видеть это торжество и слушать благодарственное пенье «Тебе бога хвалим» нашей кроткой императрице, горячо любившей свою сестру, шведскую королеву! Я и теперь вижу ее, бледную, с покрасневшими от слез глазами, подавленную тягостью своего державного сана, стоящую у подножия исполинского монумента. Понятно, что после этого рассказы Балясникова о войне и храбрости шведов возбудили мое сочувствие к этому народу и возмутили меня до глубины души. На другой день, или, лучше сказать, в тот же день, потому что уже рассветало, Балясников намеревался явиться к военному министру и настоятельно просить, чтоб немедленно вынули пулю из его ноги и дали ему возможность скорее возвратиться к действующей армии. Алехин предупреждал его, что Аракчеев человек страшный, что с ним надо поступать осторожно, но Балясников рассмеялся и сказал нам: «А вот увидите, как я поступлю с ним! Да еще и денег возьму с него! Я не хочу стеснять товарища и не давать ему спать по ночам своими стонами: я

хочу жить на своей собственной, хорошей, удобной квартире! Прощайте!» Он ушел за перегородку, где ему была приготовлена постель, и мы расстались.

Воротясь домой и уснув несколько часов, я отправился в Комиссию составления законов, где служил переводчиком. Я поспешил отделаться от директора Комиссии, Розенкампа, и часу в первом был уже на квартире Алехина. Он и Балясников еще не возвращались из Военного министерства. Впрочем, я не долго ожидал их. С громом подкатила карета, запряженная четверней отличных лошадей, остановилась у калитки квартиры Алехина; лакей в богатой военной ливрее отворил дверцы кареты, из которой выскочил АLEXIN, и вместе с великолепным лакеем, высадил Балясникова. Поддерживая раненого под руки, они ввели его в скромную комнату, где я встретил их с вытаращенными от изумления глазами. Балясников сухо сказал: «Скажи, что я благодарю министра». Лакей поклонился, вышел — и карета ускакала. Балясников был совершенно спокоен. Сейчас лег на единственный диван, положил ногу на его боко-

вую ручку (в этом положении боль от раны была сноснее) и сказал Алехину: «Ну, расскажи все Аксакову, а я устал». Лицо Алехина было очень весело, и прекрасные глаза его сверкали от удовольствия. «Ну, Аксаков, — начал он, — дорого бы я дал, чтоб ты был свидетелем всего, что происходило сейчас у Аракчеева! Мы приехали вместе; я оставил Балясникова в приемной, в толпе просителей, и побежал с бумагами к министру, потому что мой генерал болен, а в таких случаях я докладываю лично Аракчееву. Не успел я доложить и половины бумаг, как входит дежурный ординарец и говорит, что раненый гвардейский русский офицер, только что приехавший из действующей армии, просит позволение явиться к его высокопревосходительству. «Скажи, братец, господину раненому офицеру, — сердито сказал Аракчеев, — что я занят делом: пусть подождет». Я очень смутился. Начинаю вновь докладывать и слышу громкие разговоры в приемной и узнаю голос Балясникова. Через несколько минут входит опять тот же ординарец и говорит: «Извините, ваше высокопревосходительство, раненый

офицер неотступно требует доложить вам, что он страдает от раны, и ждать не может, и не верит, чтоб русский военный министр заставил дожидаться русского раненого офицера». Я обмер от страха; Аракчеев побледнел, что всегда означало у него припадок злости. «Пусть войдет», — сказал он глухим, похожим на змеиное шипенье голосом. Двери растворились, и Балясников, на клюке, вошел медленно и спокойно. Слегка поклонясь министру, он прямо и пристально посмотрел ему в глаза. Аракчеев как будто смутился и уже не таким сердитым голосом спросил: «Что вам угодно?» — «Прежде всего мне угодно сесть, ваше высокопревосходительство, потому что я страдаю от раны и не могу стоять, — равнодушно сказал Балясников. С этими словами он взял стул, сел и продолжал с невозмутимым спокойствием: — Потом мне нужна ваша помощь, господин министр; шведская пуля сидит у меня в ноге, ее надобно вынуть искусному доктору, чтобы я мог немедленно отправиться в армию. Наконец, мне нужен спокойный угол, мне надобно есть и пить, а у меня нет ни гроша». Все это было сказано тихо,

но твердо и как-то удивительно благородно. Ну как ты думаешь, что сделал Аракчеев? Я думал, что он съест Балясникова; но он обратился ко мне и сказал: «Вели сейчас выдать триста рублей этому офицеру, вели послать записку к Штофрегену (придворный лейб-медик), чтоб он сегодня же осмотрел его рану и донес мне немедленно, в каком находится она положении. Я поручаю этого офицера твоему попечению: найми ему хорошую квартиру, прислугу и позаботься об его столе; как скоро деньги выдут, доложи мне; а теперь возьми мою карету и отвези господина офицера домой». — «Он остановился у меня, ваше высокопревосходительство, он мой товарищ, — осмелился я сказать, — я отвезу его и сию минуту ворочусь». — «Тем лучше; но возвращаться не нужно, я велю другому доложить глупые бумаги твоего генерала». Мы поклонились, вышли, взяли министерскую карету и прискакали сюда, как сам ты видел. Ну, брат, это было какое-то волшебство, какое-то чудо! Балясников — колдун! Велика важность, что есть люди, которые заговаривают ядовитых змей. Нет, поди-ка заговори

Аракчеева! Ведь он страшнее всякого зверя». — Алехин не был студентом вместе с нами в университете и потому мало знал Балясникова, который был гораздо его моложе; но я знал Балясникова хорошо. Наша студентская жизнь воскресла передо мною. Прежде всего я принялся хвалить Аракчеева и доказывать, что совершенно дурной человек не способен к такому поступку, а потом рассказал Алехину, какую нравственную власть имел Балясников над студентами, и в доказательство привел следующее происшествие, пришедшее мне на память. Случилось однажды, что казенный студент П-в был сильно заподозрен, но не уличен в поступке весьма неблаговидном; а как он упорно заперся, то подозрение падало на другого студента, совершенно невинного, по общему нашему убеждению. Балясникову это было досадно, и он сказал нам: «Пойдемте, господа, я при вас допрошу П-ва, он у меня признается во всем». И, сопровождаемый толпою товарищей, в числе которых был и я, он пришел в комнату виноватого, который сидел на своей кровати и занимался любимым своим делом: резьбою

на кости, в чем был большой искусник. Балясников подошел к нему один, а мы стояли отдельною толпою вокруг них; Балясников принял величавое положение, сложил на груди руки и молча несколько времени смотрел на П-ва; взгляд голубых, устремленных глаз Балясникова поистине имел в себе что-то пронзительное. Я сам видел, что П-в и краснел и бледнел, хотя, не поднимая глаз, по-видимому, пристально занимался своей работой. Наконец, Балясников грозно и повелительно сказал: «Господин П-в, извольте бросить ваше занятие, товарищи пришли судить вас». П-в оторопел, бросил свою кость и ножичек и встал с постели. «Посмотрите-ка мне в глаза, — продолжал Балясников. тем же грозным голосом. — Погляжу я, как вы запретесь? Сейчас извольте признаваться: вы сделали поступок, который марает всех нас?..» И П-в едва взглянул на Балясникова, как в ту же минуту дрожащим голосом отвечал: «Я». Он сам после говорил, что дал клятву себе не признаваться, что он не понимает, какая неведомая сила заставила его признаться.

Покуда я рассказывал, Балясников, лежа

на диване, с поднятой вверх ногою, с костылем под головой, за который держался он обеими руками, смеялся и удивлялся, что я так хорошо помню это происшествие. «Но ты забыл, — сказал он, когда я кончил, — что мы с общего согласия назначили наказание П-ву и что он смиренно ему покорился». Я отвечал, что очень хорошо помню. Алехин был изумлен: он также хорошо помнил непреклонное упрямство П-ва, которого знал в гимназии. Мои рассказы вразумили Алехина, что за человек был Балясников, и он уже не так дивился его успеху при встрече с Аракчеевым.

Поболтав еще несколько времени и порадовавшись счастливому исходу, не всегда сопровождающему смелые поступки, мы, по настоятельному желанию Балясникова, в тот же день наняли ему прекрасную квартиру в Итальянской слободке: три отдельные комнаты, хорошо меблированные, в нижнем этаже деревянного дома — за двадцать пять рублей ассигнациями в месяц. Хозяйка, почтенная старушка, с удовольствием вызвалась сама ухаживать за раненым, а один из ее лакеев нанялся ему служить, и Балясников в тот же

день ночевал на новой своей квартире.

На другой же день поутру Штофреген приехал к Балясникову, внимательно осмотрел и ощупал его рану и сказал, что теперь пулю нельзя вынуть, а надобно подождать, когда она опустится и выйдет из соседства костей. Он прописал какую-то мазь или примочку, и это лекарство чудесно помогло Балясникову. Он почти перестал страдать от своей раны. Его хозяйка, потерявшая сына под Аустерлицем, с первого взгляда полюбила своего постояльца, как родного, и сейчас же принялась ухаживать за ним со всею нежностью и умением женской заботливости.

Прошла почти неделя, а я и не заглядывал ни в «Младшего Костиса», ни в «Приключения по смерти», даже забыл о них. Несмотря на то, по заведенному порядку, в воскресенье я отправился обедать к Рубановским. Старик сейчас спросил меня о книгах и очень наморщился, когда я отвечал, что не имел времени заглянуть в них. Все мои рассказы о раненом товарище, об его свиданье с Аракчеевым, о наших душевных беседах про гимназию и университет не извиняли меня в глазах

неумолимого хозяина. Он терпеть не мог Аракчеева, а Балясникова все-таки называл буяном, которого следовало бы лечить на гауптвахте. «Нет, милостивый государь мой, — сказал Рубановский с злобной иронией, — если б у вас было желание, то вы бы не только сами, но и товарищам своим прочли эти книги: как военные люди, они, верно, и не слыхивали о них». Я отвечал довольно резко, что мне было не до мистических книг, но сказал, что к будущему воскресенью прочту непременно обе книги. Старик был недоволен. Я заметил, что Анна Ивановна уже в другой раз проходит мимо кабинета и как-то значительно в него заглядывает. Я поспешил поздороваться с нею и ушел из кабинета. Надобно предварительно сказать, что хозяйка с каждым посещением моим показывала мне более и более своего благорасположения и даже доверенности. Мы уселись на обыкновенных своих местах в гостиной, и она поспешила предупредить меня, что сегодня после обеда будет у них Лабзин, что меня представят ему и что если я ему понравлюсь, то он пригласит меня к себе и на домашний спектакль.

такль, который скоро будет в доме Черевина, что она очень хорошо видит их намерение завлечь меня в общество, которого она терпеть не могла, и при этом случае откровенно и неблагоклонно выражалась обо всех его членах, называя одних сумасшедшими, а других дураками. Сквозь всю эту женскую болтовню я увидел настоящую причину ее гнева: Черевин был красивый, богатый жених и достойный человек во всех отношениях, и Анна Ивановна желала, чтоб он больше обращал вниманья на ее дочь, чем на масонские заседания и книги. Анна Ивановна даже выболтала мне, что Черевин сначала показывал большое расположение к ее Лизе, но что Лабзин, которому все они послушны, как дети, отвлекает его от этого намерения и хочет женить, и непременно женит на своей воспитаннице, Катерине Петровне, которую она ненавидела и всегда называла Катькой. Я, разумеется, очень искренно благодарил мою почтенную покровительницу за ее доверенность ко мне и предостережение. Я уверял ее, что не поддамся никаким обольщениям, чему, однако, она не очень верила. В самом деле после обе-

да приехал Лабзин. Старик Рубановский, у которого сейчас просветлело лицо, немедленно представил меня великому брату и начальнику как сына старинных своих друзей, как молодого человека неиспорченных нравов, подающего добрые надежды. Лабзин был среднего роста и крепкого сложения: выразительные черты лица, орлиный взгляд темных, глубоко-знаменательных глаз и голос, в котором слышна была привычка повелевать, произвели на меня сильное впечатление. В обращении он был совершенно прост и любил употреблять резкие, так называемые тривиальные или простонародные выражения, как, например: выцарапать глаза, заткнуть за пояс, разодрать глотку и т. п., от которых Анна Ивановна всегда морщилась и при употреблении которых всегда выразительно взглядывала на меня. Сейчас можно было заметить, что Александр Федорович Лабзин человек необыкновенно умный, властолюбивый, пылкий по природе, но умеющий владеть собою. В разговорах он ни одним словом не обнаружил своего исключительного, мистического направления, он не касался никаких духов-

ных предметов, а очень весело, остроумно, не скупясь на эпиграммы, рассуждал о делах общественных и житейских; сейчас заговорил со мной о театре и очень искусно заставил меня высказать все мое увлечение и все мои задушевные убеждения в высоком значении истинного артиста и театрального искусства вообще. Я так бойко разговорился, как никогда не говаривал у Рубановских, и все они, а также и обыкновенные посетители их, Черевин и Мартынов, смотрели на меня с некоторым изумлением. Лабзин повернул разговор на литературу, и я не замедлил с такой же горячностью высказать мои понятия и взгляды и мое русское направление в словесности и вообще в образе мыслей. Лабзин, по-видимому, был очень доволен мною, расхвалил, обласкал меня, звал к себе и пригласил на свой домашний спектакль к Черевину, а вместо билета дал мне печатную афишку. В обращении его с «братьями» слышен был тон господина, а «братья», не исключая и старика Рубановского, относились к нему почтительно, как будто к существу высшей природы. Наконец, Лабзин уехал, хозяин проводил его до ла-

кейской и, как видно, что-то говорил с ним, потому что не вдруг воротился; когда же он вошел к нам в гостиную, лицо его светилось от удовольствия; он с необыкновенной благосклонностью обратился ко мне, часто улыбался своей странной улыбкой и старался мне внушить, что понравится Александру Федоровичу Лабзину — большое счастье. Оба гостя сделали также ко мне необыкновенно внимательны и ласковы, и одна только Анна Ивановна чаще нюхала табак и чаще поправляла свой накрахмаленный архангелогородский чепчик. Она была в волнении и чем-то очень недовольна. Не имея возможности остаться со мной наедине, она начала ходить из угла в угол по длинной своей гостиной. Я понял ее желание и стал ходить вместе с ней. Когда мы дошли до противуположного угла, она тихо сказала мне: «Ну что? растаяли? Ну где вам устоять! Александр Федорович такой хитрец, что проведет кого угодно. Уж если он чего захочет, то непременно поставит на своем. Я вижу, что вы еще очень молоды. Вот теперь будете с ними на театре играть, станете читать их книги, потом вступите в члены, в

покорнейшие слуги Александра Федоровича, будете вместе с ними пить за ужином, а там, пожалуй, и в Катьку влюбитесь...» Все это было высказано не вдруг, а в несколько приемов, когда мы уходили в противоположный угол. И на все эти разорванные фразы, весьма гневно высказываемые, я едва успевал отвечать: «Сделайте милость, не беспокойтесь... ничего этого не будет... уверяю вас, что я никогда не буду мартинистом» — и пр. Давно прошел час, в который я обыкновенно уходил от Рубановских. Я взял шляпу и стал прощаться. Старик дружески пожал мне руку и напомнил о книгах; Черевин и Мартынов, против обыкновения, даже обняли меня; одна Анна Ивановна гневно сунула мне в губы свою костлявую руку и не поцеловала в щеку, как она, и очень ласково, дельвала это прежде.

Воротясь домой, я прочел данную мне Лабзинным афишку; она была составлена, вероятно, им самим, с большой претензией на остроумную замысловатость. К сожалению, я помню только одну курьезность: там было сказано, что такого-то года и числа будет

представлена «притворными» актерами драма в 3 действиях г-на Ильина: «Лиза, или Торжество благодарности».[31]

Слово «притворными», вместо «придворными», как всегда печаталось в обыкновенных афишах публичных императорских театров, конечно, было довольно удачно, изменение одной буквы давало совершенно противоположный и приличный смысл одному и тому же слову. Мне особенно это понравилось потому, что на благородных домашних театрах, хорошо мне знакомых, почти все действующие лица, конечно, только притворяются, будто они актеры. Этот спектакль в доме Черевина на Васильевском острове шел через несколько дней.

Мы с Алехиным каждый день бывали у Балясникова, но в продолжение этой недели я не мог посвящать ему всего свободного времени от служебных моих занятий. Я непременно должен был прочесть «Путешествие Младшего Костиса» и «Приключения по смерти», да еще две, три книжки «Сионского вестника», которыми также снабдил меня Руба-

новский. Чтение это было для меня невыносимо скучной работой. Я читал уже не с той целью, чтобы добираться до таинственного смысла, я читал с целью чисто полемическую: я отыскивал места самые темные и запутанные и придавал им самое произвольное и даже превратное толкованье. Все это я записывал, чтобы выдержать схватку с стариком Рубановским.

Накануне спектакля притворных актеров получил я записку от П. П. Мартынова, который, узнав от своего брата, что я приглашен Лабзиным в спектакль, выхлопотал и для себя пригласительный билет, то есть афишку. Лабзин не мог отказать в этом просьбам родного брата его, А. П. Мартынова, лучшего актера в их труппе. П. П. Мартынов предлагал мне ехать вместе в его экипаже, обещая и обратно довезти меня до дому. Я очень охотно согласился, потому что своих лошадей у меня не было.

В назначенное время П. П. Мартынов приехал за мной, и мы отправились на Васильевский остров. Во всю дорогу мы говорили о мартинистах, смеялись и заранее обещали се-

бе много забавных сцен, особенно потому, что мы были приглашены и на ужин, а за ужином всегда происходило у них общее пение, о котором Мартынов слышал от брата. Когда мы приехали, то нашли, что многие из приглашенных посетителей уже собрались. Впрочем, и все общество было невелико, потому что большому числу посетителей поместиться было бы негде: собственный деревянный дом Черевина был очень хорош, но не так велик. В первой комнате встретил меня Рубановский; лицо его исказилось от гнева. Он грубо схватил меня за руку, отвел в угол и задыхающимся голосом спросил: «Как, вы не были с визитом у Александра Федоровича? Вы не уважили его приглашения и осмелились приехать к нему в спектакль? Неужели вы не понимаете, какая эта невежливость и какое это оскорбление мне, который рекомендовал вас, как благовоспитанного молодого человека?» Я в самом деле был виноват без всякого оправдания; но, собравшись с духом, отвечал, что по утрам я занят на службе, после обеда же приехать было бы неучтиво, а потому я отложил свое посещение до воскре-

сенья, то есть до послезавтра; что я все это объясню Александру Федоровичу и надеюсь, что он уважит мои причины и извинит меня. Но Рубановский не хотел слушать моих оправданий. «Все это вздор, милостивый государь, — говорил он, сдерживая голос и подавляя свою досаду. — Вы могли не ездить один день в вашу Комиссию или могли попроситься у директора и уехать поранее. Я советую вам не показываться на глаза Александру Федоровичу и сейчас воротиться домой». Этот совет рассердил уже меня самого; я с твердостью отвечал, что ни за что в свете не уеду, и, оставя Рубановского, пошел в гостиную. Лабзин встретил меня с распростертыми объятиями, с самым веселым и ласковым видом. Я поспешил высказать мои извинения, но хозяин (Лабзин точно был хозяин в доме Черевина) не дал мне договорить их, обнял в другой раз и сказал: «Что за вздор! не пустым визитом выражается уважение и сердечное чувство: дело состоит в их искренности, а в вашей я не сомневаюсь». В это время Рубановский стоял уже подле нас. Я обратился к нему и сказал: «Не сердитесь на меня, Василий Ва-

сильевич, и извините меня так же благодушно, как извиняет меня Александр Федорович». Лабзин взглянул на искаженное лицо Рубановского, понял все дело и выразительно сказал: «Неужели вы рассердились на молодого человека за такую безделицу? В наши с вами года это уже неприлично. Да и вины-то тут никакой нет. Я даже хвалю его за точное исполнение служебной обязанности. Помиритесь с ним». Мгновенно разгладились морщины на лбу Рубановского, искривившийся рот пришел в свое обыкновенное положение, и он протянул мне руку, сказав: «Для Александра Федоровича я вас извиняю». Вся эта сцена была довольно странна и не могла не обратить на себя внимания общества. Я говорил тихо, а Лабзин очень громко. Очевидно было, что он нисколько не церемонился и что все его окружающие были его почитатели и покорнейшие слуги.

Александр Федорович так занимался мной, как будто я был единственный его гость, а все прочие — его семья. Он заранее хвалил своих актеров, особенно Александра Петровича Мартынова, и очень жалел, что в этот вечер я

увиджу его в невыгодной роли. «Он превосходит в стариках, — говорил Лабзин, — он так играл Эдипа, что едва ли не превзошел Шущерина; роль же молодого человека и любовника совсем к нему не идет. Притом же он теперь в горе; сегодня он получил письмо, что у него умер отец; брат его, Павел Петрович, ваш гвардейский приятель, не знает об этом; мы положили объявить ему завтра». Говоря это, Лабзин был не только спокоен, но и весел. Меня поразили его слова. Как? Отец умер, а сын, получив о том известие, играет на театре? Не может быть, чтоб добрый Мартынов поступал по своей воле; итак, он исполняет приказание Лабзина; итак, он не смеет его послушаться! Боже мой, откуда же происходит эта власть, эта деспотическая духовная сила, которою обладает Лабзин? Вот мысли, промелькнувшие у меня в голове, и я стал смотреть не только с неприятным, но даже с неприязненным чувством на великого брата и начальника. Жалко мне было глядеть и на Павла Петровича Мартынова, который, ничего не зная, беспрестанно шутил, смеялся и нашептывал мне на ухо всякий вздор. Спектакль скоро начался, и

Лабзин посадил меня возле себя. Пьеса шла очень недурно: видно было, что она поставлена и слажена мастером; очень хорошо играла воспитанница Лабзиных, Катерина Петровна, воспитанницу добродетельной помещицы г-жи Добросердовой; Черевин же в роли старосты был удивительно хорош! Он мастерски схватил выговор и манеры крестьян Орловской губернии (видно, коротко ему известных); этот местный колорит придавал его игре много живости и естественности. Я горячо хвалил его Лабзину, который отвечал, как-то не вполне соглашаясь со мною, что, конечно, эту роль Черевин играет очень хорошо, но это единственно потому, что он сам орловский помещик и что он удачно передразнивает провинциальный оттенок в выговоре и манерах своих крестьян. Не помню, кто играл Кремнева, отставного солдата; но и эта роль, впрочем очень выгодная и благодарная на сцене, была исполнена довольно удачно. Бедный Мартынов! Если б я и не знал об его горе, то непременно бы заметил, что у него лежит что-то тяжелое на душе. Впрочем, роль Лиодора, армейского капитана, совершенно не шла

ему по своему характеру и по его физическим средствам.

Само собою разумеется, что я в разговорах с Лабзиным давно успел высказать ему и мою охоту играть на театре, и мои успехи, и мои упражнения в сценическом искусстве под руководством Шушерина. Лабзин захотел послушать мою декламацию, и я охотно согласился. После спектакля, когда актеры, переодевшись, пришли в гостиную, Александр Федорович, пригласив двух Мартыновых и Червина, увел нас на другой конец дома, в кабинет хозяина. Предполагая, что мне будет ловчее и легче начать не первому, что, конечно, показывало тонкую разборчивость его, Александр Федорович обратился к Александру Петровичу Мартынову и сказал: «Прочти-ка нам монолог из «Эдипа», в котором он отвергает кающегося Полиника; да прочти на славу!» — Мартынов, на печальное лицо которого жалко было смотреть, отвечал почтительно: «Извините меня, Александр Федорович, я не в состоянии теперь читать». — «Отчего это?» — сказал Лабзин, возвысив голос и наморщив брови. «Я сегодня не в духе», — робко

отвечал смущенный Мартынов. «Ну что тут за духи! Прочтите!..» — и Мартынов начал читать. Разумеется, он не в состоянии был прочесть так сильно, как читывал прежде, но чувства и естественности было много в его чтении. Лабзин был, однако, недоволен и назвал Мартынова мокрой курицей. Я с негодованием выразительно посмотрел на Лабзина, и, кажется он понял мой взгляд, потому что сказал: «Мужчине стыдно поддаваться грустному чувству». Пришла моя очередь, я не заставил себя долго просить и прочел рассказ Мейнау, или Неизвестного, из комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», в котором он описывает измену и побег своей жены, а потом продекламировал с большим жаром монолог Ярба из трагедии Княжнина «Дидона». Когда я кончил, Лабзин сказал: «Куда же нам с ним играть, он всех нас за пояс заткнет, это уже не *притворный* актер!» Тогда эти слова показались мне великою похвалою; но едва ли в них не было насмешки над моею слишком громкою и напыщенною декламацией, от которой я тогда еще не освободился. Остальные слушатели, как следует, осыпали

меня похвалами. Я заметил, что были слушатели и позади дверей, которые разбежались при нашем выходе. Мы воротились в гостиную, и Лабзин занялся другими посетителями, освободив, наконец, меня от своего постоянного внимания. Я подошел к старику Рубановскому и старался изгладить его неудовольствие против меня, в чем, кажется, сначала и успел, но ненадолго. Между прочим, я имел неосторожность сказать, что меня удивляет странный выбор пьесы для сегодняшнего спектакля и что, кажется, нетрудно было бы найти другую, с содержанием более серьезным, написанную человеческим языком, в которой образованный и храбрый капитан не влюблялся бы с первого взгляда в дочь старосты, не бросался бы перед ней на колени и не объяснялся в любви языком аркадского пастушка. Старик посмотрел на меня с неприятным изумлением и выразительно сказал: «Вы очень смелы на осуждение людей, старших вас годами и умом. Уж если Александр Федорович выбрал эту драму, то, конечно, имел на то свои причины». Он с неудовольствием отвернулся от меня и ушел прочь. В

числе немногих дам была жена Лабзина с своей воспитанницей, которая мне очень понравилась, несмотря на дурную рекомендацию Анны Ивановны Рубановской. К удивлению моему, Лабзин не познакомил меня с своей женой и воспитанницей. Может быть, он хотел это сделать у себя дома. Когда ужин был готов, все дамы уехали. Нас позвали в залу, в которой прекрасно поставленный театр уже был снят и вместо него стоял богато убранный стол с кушаньями. Лабзин, поручив угощать и занимать меня Черевину, сел на главном хозяйском месте, окруженный старшею братией. Подле него с правой стороны сидел Рубановский, очень довольный своим почетным местом, а с левой — какой-то отставной адмирал с георгиевским крестом. Я сел на другом конце стола, между Черевиным и Павлом Петровичем Мартыновым, а брат его жаловался на головную боль и хотел уйти спать, даже простился с нами, но, подошед к Лабзину и пошептавшись с ним, воротился к нам и сел подле Черевина за стол. Мы с Павлом Петровичем все это видели, и мне очень было больно слушать, как он смеялся над покорно-

стью своего брата и шептал мне на ухо: «Ведь не осмелился уйти! Лабзин не позволил. Посмотри, будет давиться и станет есть». Но бедный Александр Петрович Мартынов печально просидел весь ужин, не дотронувшись до своего прибора. Всего возмутительнее для меня было то, что Павел Петрович не оставлял в покое своего брата и беспрестанно, разными экивоками, насмеялся над ним, сколько я ни уговаривал его, чтоб он не тревожил Александра Петровича, который, очевидно, болен и чем-то очень огорчен. По окончании ужина прислуга вышла, двери затворила, и все присутствующие, по знаку Лабзина, довольно складно запели какой-то гимн. Не пели только Павел Петрович Мартынов и его брат. Всех смешнее казался мне старик Рубановский, так усердно разевавший рот, что его передние зубы, похожие на клыки, выставлялись на показ всему собранию.

После первого куплета наступило общее молчанье, и Лабзин, постучав рукояткой своего столового ножа по столу, громко и грозно сказал: «Александр Петрович!..» Начался второй куплет, и несчастный Александр Петро-

вич также запел или по крайней мере разевал рот, вполголоса подтягивая общему хору. Брат его беспрестанно толкал меня ногой и смеялся, а мне было грустно, тяжело и даже страшно.

После ужина, поблагодарив Лабзина за приглашение в спектакль, а Черевина за угощение, потому что ужин и все расходы спектакля происходили на его счет, мы с Мартыновым отправились домой. Всю дорогу приставал он ко мне с своими шутками и смехом и удивлялся, отчего я не смеюсь. Я отвечал ему, что все виденное мною не смешно, а страшно, что я вижу тут какой-то католический фанатизм, напоминающий мне тайные инквизиторские судилища средних веков. Слова мои были тарабарской грамотой для моего товарища, и он замолчал. Бедный! Как он был жалок на другой день, поутру, когда при мне брат сказал ему о смерти их отца, и как сегодня горька ему была вчерашняя веселость! Он жестоко нападал на брата за его ребячью покорность приказаньям Лабзина, исполняя волю которого, он сам играл и пел и брата заставил веселиться и хохотать в то

время, когда им обоим следовало бы плакать, молиться и служить панихиду по отце! Добрый и простосердечный по природе, Александр Петрович старался уверить нас, что он сам не захотел расстроить вчерашнего спектакля, а потому и скрыл от брата их несчастье; но мы оба ему не поверили. Целый день провел я вместе с Мартыновыми, которые, помяв усердно богу и выплавав свое горе обильными, теплыми слезами, поуспокоились и покорились воле божией.

Наконец, наступило воскресенье, и я, вооружась по возможности к бою, заготовив множество замечаний, выписок и возражений против мистических книг, явился к Рубановскому гораздо ранее обыкновенного: «Ну что, прочитали?» — спросил меня, с неожиданною для меня ласковостью, строгий мартирист. «Прочел, Василий Васильевич», — и я положил на стол принесенные мною книги. «Ну что, многого не поняли?» — «Многого не понял, да думаю, что и никто понять не может, если не позволит себе произвольного толкованья. Я отметил карандашом и выписал в особую тетрадь некоторые темные ме-

ста, на которые я надеюсь получить от вас истолкованье, отметил также и такие, которых растолковать никто не может. Я написал также мой взгляд на книгу «Приключение по смерти», которую нахожу не душеспасительною, а вредною». Я сейчас увидел, что опять поступил неосторожно: я раздражил моего хозяина преждевременно, мне надо бы было кончить этим ударом, а я начал. Я пощажу моих читателей от скуки выслушать весь мой спор с Рубановским. Но для образчика расскажу только некоторые мои вопросы, недоумения и объяснения старого мартиниста. Я начал с «Путешествия Младшего Костиса» и, развернув книгу, прочел на странице 169-й: «Человек зрит мыслию силы, действия, следствия и произведения: в сем заключается основание всех его понятий. Почему чистейший разум есть токмо чистейший образ созерцания». — «Помилуйте, — говорил я, — человек, конечно, зрит, то есть видит и понимает мыслию, но отчего же мыслию силы, действия, следствия и произведения? Как можно зреть следствием и произведением? И может ли в этом заключаться основание всех его по-

нятий? Чистейший разум *не потому и не токмо*, а всегда есть чистейший образ созерцания». Рубановский, подумав, отвечал мне: «Под словом сила надобно разуметь божественную силу, то есть самого бога, а как в божественной силе заключаются действия, следствия и произведения, то человек и может зреть их только посредством божественной силы. Неужели вам теперь непонятно, что в этом заключается основание всех человеческих понятий: и вот *почему* чистейший разум есть *токмо* чистейший образ созерцания». — «Позвольте, — сказал я торжествующему Рубановскому, — мне кажется, мы не так читаем эти строки; может быть, тому причиною неясная расстановка слов. Может быть, надобно читать: человек мыслию зрит силы, действия, следствия и произведения, — тогда это будет понятно». Рубановский был озадачен; немного подумав, однако, он сказал: «Но значение мною вам объясненного несравненно выше». Забавляясь внутренно ловушкой, в которую попал Рубановский, я продолжал читать на той же странице следующее: «Когда мысль наша в гармоническом

порядке представляет мысль Божию в Боге *силою*, а в природе *явлением* силы, тогда мы мыслим благо, истинно, изящно — поелику добро, истина и изящность, или красота, составляют чертеж, по которому вселенная создана». Предчувствуя, какое будет толкование этих слов, я спросил, однако: «Что такое значит: представлять мысль Божию в Боге *силою*? Мысль Божия есть в то же время и сила, это так, и что мысль Божия выражается в природе явлением — это понятно; но почему же, думая так, мы уже мыслим благо, истинно, изящно? Понимая и признавая одну истину, можно ошибиться во множестве других, можно мыслить *не* благо, *не* истинно и *не* изящно?» Старик Рубановский не задумался и торжественно и в то же время иронически отвечал мне: «А потому, милостивый государь, что, признав главное, то есть, что мысль Божия в Боге сила, а в природе явление силы, мы уже мыслим благо, истинно, изящно». Я продолжал читать: «В сем состоят преимущества духа над духом».

«Но в том положении, в каком мир некогда находится будет, большая часть людей со-

вратится:

*В мыслях заблуждениями,
В хотении страстями,
В действовании пороками.*

Заблуждения суть число, страсти — мера, пороки — вес» (стр. 185). — «Конечно, — продолжал говорить я, — вы, Василий Васильевич, первые строки растолкуете по-своему — что темно, то можно толковать как угодно; но говоря по совести, я считаю, что вы так же, как и я, не можете понимать, что это такое за преимущество «духа над духом». В каком смысле понимать тут слово дух? Значения его весьма различны. Значение запаха сюда не идет, значение сущности, содержания какого-нибудь предмета или эпохи — так же не идет. Смысл духа человеческого приложить сюда невозможно: остается принять иносказательное значение доброго или злого духа». Рубановский не нашелся, что отвечать. Я, разумеется, принял его молчание за уступку и, не дав ему опомниться, с большой уверенностью и жаром продолжал: «Неужели вы станете мне объяснять, что значат слова: за-

блуждения суть *число*, страсти — *мера*, пороки — *вес*? Здесь я просто не вижу смысла, можно, пожалуй, постараться придать хоть какой-нибудь наружный смысл; но и он будет несправедлив. Во-первых, заблуждения человеческие бесчисленны, и потому назвать их *числом*, то есть определенным количеством, невозможно. Точно так же страсти не могут назваться *мерой*; страсти — противоположность мере, они разрушают меру, они безмерны; пороки — *вес* ... Тут уж я и придумать не могу никакого смысла». — «Нет, сударь, — подхватил Рубановский, — пороки, точно, *вес*, тяжесть, которая давит, гнетет дух человеческий, не дает ему возноситься к богу, придавливая его к земле, к земным помыслам...» Тут Рубановский долго говорил и, конечно, говорил то, чего сам не понимал.

Не пускаясь в дальнейшие бесполезные возражения, я продолжал читать: «Молоток есть образ внешнего действия. Ум должен искать, воля желать, деяния стучать. Ибо когда ум, воля и действия составят единицу, то раздаятель премудрости дарует уму свет, воле и действиям — благословение». «Отвес

есть эмблема продолжения действий наших, которые тогда токмо останавливаются, когда придут в перпендикулярную линию с вечным порядком отца светов» (стр. 302). Здесь я дал себе волю и потешался над «*стукотнею* наших деяний, которые тогда токмо восстанавливаются, когда придут в перпендикулярную линию с вечным порядком отца светов». Рубановский молчал и только злобно улыбался. Оставив «Младшего Костиса», я перешел к «Сионскому вестнику». «Премудрость божия обрела единственный способ к разрешению трудности в поднятии падшего (вероятно, человека). Явилась существовавшая всегда умственно между сими двумя линиями ипотенуза, произвела свой квадрат и заключила в оном полное действие и правосудия и любви божеской». «Эти строки живо напоминают, — говорил я, — подобные выражения в «Младшем Костисе»; но мне кажется, что подражание превзошло оригинал в темноте, чтоб сказать поучтивее, а попросту — в бессмыслице». Хозяин мой, уже не отвечавший на мои предыдущие возражения и насмешки, а только злобно улыбающийся, здесь не вытерпел.

Он крепко обиделся не столько словом *бесмыслица*, как словом *подражание* «Младшему Костису». Вероятно, статья была написана самим Лабзиным. Можно себе представить, как горячо старый мартинист защищал ее, с каким усилием объяснял и как путался оттого в своих объяснениях. Мне нетрудно было ловить его во многих противоречиях.

Между тем человек уже два раза докладывал, что кушанье поставлено на стол. Надобно было прекратить наши споры, и я поспешил в коротких словах высказать мое мнение о книге «Приключения по смерти». «Эта книга, — сказал я, — есть самая нелепая и детская фантазия о самом великом и таинственном предмете, о жизни загробной. Придавать ей образы, взятые из нашей земной жизни, по-моему, не только дерзко, но и грешно. Это, по-моему, святотатство. Покуда дух человеческий заключен в теле, он не может представить себе будущей вечной жизни. Он может только ее предчувствовать. Это не православная книга, это католические мудрования с их чистилищами. Она может быть вредною, если читатели поверят ей и примут бред Юн-

га-Штиллинга за истину, за прозрение в таинство судеб божиих». Я говорил с убеждением и жаром. Рубановский не возражал, а опять слушал меня с улыбкою, выражающею и жалость и презрение. Он даже не дал мне кончить и сказал: «Пойдемте-ка лучше обедать». В самую эту минуту дверь отворилась, показался архангелогородский чепчик Анны Ивановны. «Идем, идем, сударыня», — сказал старик таким голосом, которым выражалось отчаяние о погибающем слепце. Мы отправились обедать. Как нарочно, в этот день обедал я один у Рубановских, и разговор у нас очень не клеился. Я начинал говорить о спектакле у Черевина и хвалить игру некоторых актеров, но хозяйка явно не хотела поддержать этого разговора. По ее взглядам и ужимкам я догадывался, что она нетерпеливо желает поговорить со мной глаз, на глаз. Сейчас после обеда Василий Васильевич ушел в свой кабинет, и мы остались одни с Анной Ивановной. «Ну, рассказывайте, — сказала она торопливо и нетерпеливо, — что там у вас происходило? Василий Васильевич очень недоволен и только из угождения Лабзину не ссорится с вами».

Я рассказал подробно все происходившее в доме Черевина. По выражению лица моей слушательницы можно было отгадать, что многое ей не нравилось, особенно мои похвалы воспитаннице Лабзиных, Катерине Петровне, и что, напротив, она была очень довольна, во-первых, тем, что я строго осуждал Лабзина за его деспотизм и бесчеловечную жестокость с Мартыновым, а во-вторых, тем, что «Гог и Магог», так она называла иногда Лабзина, не познакомил меня с своей женой и воспитанницей и не повторил приглашения приехать к нему. «Вам нечего и ездить к ним», — подхватила Анна Ивановна; но я поспешил ей сказать, что сегодня рано поутру уже был у Александра Федоровича, не застал его дома и оставил визитную карточку. «Ну и прекрасно, — проговорила моя хозяйка, — он визита не отдает, а вам в другой раз не для чего ехать». — «Если Александр Федорович не отдаст мне визита, — отвечал я, — то я и не поеду». Анна Ивановна запальчиво опровергала мои похвалы, впрочем весьма умеренные, Катерине Петровне, уверяла, что она показалась мне недурною, потому что была под-

белена, подрумянена и подрисована на театре. Напрасно я уверял ее, что зрители сидели так близко от сцены, что не было возможности подрисовываться, и что я видел Катерину Петровну после спектакля в гостиной: моих доказательств не хотели и слушать. Анна Ивановна всего более желала узнать, что делал Черевин? с кем из дам говорил? Я видел, к чему клонились эти вопросы, но не хотел отвечать на них. Наконец, моя хозяйка не вытерпела и прямо спросила: «Подходил ли к Катьке Черевин и говорил ли с ней?» Я отвечал, что не заметил. «Но заметили ли вы по крайней мере, — спросила Анна Ивановна еще с большею горячностью, — что жена Лабзина казачка? Что вы так смотрите на меня? Да, она из казачек!» — «И этого не заметили», — отвечал я. «Ну, так, верно, вы так были заняты красотой Катьки, что ничего не заметили», — сердито проговорила моя собеседница. Я, признаться, сначала немножко поддразнивал ее, но потом постарался успокоить, что было и нетрудно. Прощаясь, она вдруг спросила меня с особенным выражением: «Хотите ли вы на деле доказать мне свою

дружбу?» Я отвечал, что очень хочу. «Дайте же мне честное слово, что исполните мою просьбу!» Я немного смутился. Анне Ивановне могло прийти в голову такое желание, какого я не мог исполнить по моим убеждениям. Подумавши немного, я отвечал, что готов исполнить, если ее желание не будет противно моей совести, то есть моим понятиям и моим убеждениям. Анна Ивановна протянула мне руку и сказала: «Когда придет время, я потребую исполнения вашего обещания; противного же вашей совести тут ничего нет». И мы расстались друзьями.

Сбросив с плеч спор о мистических книгах, к которому я решительно приготавливался, как будто к ученому диспуту, я стал свободнее располагать своим временем, чаще бывал и дольше сидел у Балясникова, где каждый раз находил Алехина, а иногда встречал и других наших казанцев. Все мы были большие любители театра, и у нас сейчас начались чтения разных драматических пьес и даже разыгрыванье их, разумеется без костюмов и декораций. Таким образом, в числе других разыграли мы трагедию Княжнина: «Вадим Новгород-

ский». Она пользовалась большою славою не только потому, что была запрещена, но и потому, что заключала в себе, по общему мнению, много смелых, глубоких мыслей, резких истин и сильных стихов, — так думало тогда старшее поколение литераторов и любителей литературы. Надобно признаться, что и мы, молодые люди, были увлечены таким мнением, а в самом же деле вся эта трагедия — пустой набор громких фраз и натянутых чувств, часто не имеющих логического смысла.

Рана Балясникова находилась все в одном положении, нельзя было заметить, чтобы пуля спускалась книзу. Между тем деньги вышли; Алехин доложил о том Аракчееву, и вновь были выданы триста рублей. Балясников жил так привольно, как никогда не жил. Прежде, живя одним жалованьем, он должен был во многом себе отказывать; теперь же, напротив, у него была спокойная, прекрасно меблированная квартира, отличный стол, потому что хозяйка и слышать не хотела, чтобы он посылал за кушаньем в трактир; он мог обедать или с нею, или в своих комнатах, пригласив к себе даже несколь-

ко человек гостей; он ездил в театр, до которого был страстный охотник, уже не в партер, часа за два до представления, в давку и тесноту, а в кресло; покупал разные книги, в особенности относящиеся к военным наукам, имел общество любимых и любящих его товарищей, — казалось, чего бы ему недоставало?.. Ему не доставало дела, ночных переходов, бивачных огней, холода и голода, порохового дыма, свиста пуль и грома пушек; ему не доставало опасностей боевой жизни. Туда рвалась его душа. Не имея возможности убедить докторов вынуть пулю из его ноги и не имея терпенья дожидаться времени, когда она выйдет из костей, Балясников через два месяца воротился в армию. С тех пор я уже более не видал Балясникова. Он умер, как известно моим читателям, в двенадцатом году. Конечно, не все предсказания сбываются; но кого ни встречал я из знавших коротко Балясникова, и статские и военные, все единогласно говорили, что будь Балясников жив, он был бы фельдмаршалом. — В нескольких словах я доскажу его историю. Когда кончилась Шведская кампания, Балясников перешел из

гвардии в армию, командиром конно-артиллерийской роты. В два года с половиной он довел ее до такого совершенства, что многие военные люди, охотники и мастера своего дела, приезжали полюбоваться ею. Перед началом турецкой войны Балясникову дали другую артиллерийскую батарею и перевели его, по собственному его желанию, в действующую армию. Тяжело было ему расставаться с ротой, и еще тяжелее было расставаться с ним его подчиненным. Не говорю уже о товарищах его, которые все смотрели на Балясникова как на будущего, славного полководца и горячо его любили, — каждый рядовой артиллерист так был предан, так любил его, что прощанье ротного командира с ротою походило на расставанье самых близких и горячо любящих друг друга родных. Только что успел Балясников сдать роту, приехал какой-то генерал для произведения инспекторского осмотра, который и был назначен на другой же день; когда роту вывели на плац, Балясников приехал уже как посторонний зритель. Будучи приятельски знаком с новым командиром, он вместе с ним внимательно осмотрел

людей, лошадей, орудия и всю амуницию. Он сделал какое-то замечание старому фейерверкеру, который почти со слезами сказал ему: «Эх, ваше высокоблагородие! Покажите сами роту генералу. Прокомандуйте нами еще в последний раз!» Балясников с минуту подумал и отвечал: «Хорошо, старый товарищ». Он переговорил с новым командиром, который охотно на это согласился, и, когда приехал инспектирующий генерал, Балясников подъехал к нему вместе с новым командиром роты и сказал ему: «Генерал! Я командовал этой ротой два с половиною года и вчера только сдал ее другому командиру. Я прошу позволения у вашего превосходительства, с согласия нового начальника, командовать бывшею моею ротою на инспекторском смотре. Рота привыкла ко мне, и не только люди, лошади знают мой голос!» Генерал отвечал, что он согласен, если новый командир роты этим не оскорбляется. Новый командир подтвердил, что он желает этого, что не хочет пользоваться славою за чужие труды и что только при прежнем командире рота может быть показана во всем ее блеске. Генерал согласился, и Ба-

Баясников вылетел перед роту на своем бешеном коне, которого он сам выездил и на которого, кроме него, никто сесть не смел, скомандовал своим громозвучным голосом: «Смирно!» — и вся рота, люди и лошади вздрогнули и окаменели. Мне рассказывал достоверный самовидец, опытный артиллерист, что он всю свою жизнь не видывал, да и не увидит, того, что делали на этом смотре люди и лошади. В таком же духе, в самых похвальных выражениях, был отдан приказ инспектирующим генералом. Когда Баясников, кончив военное построение, подъехал к роте и сказал: «Спасибо, ребята! Утешили вы меня, прощайте...» — то в ответ ему раздался не крик: «Рады стараться», — а всхлипыванье и рыданье. Баясников сам не мог удержаться от слез и ускакал как сумасшедший. — Боже мой! Чего нельзя сделать с таким народом, который способен так любить и быть благодарным!

Баясников и в Турецкой армии заслужил себе такое же уважение в начальниках, дружбу в товарищах и любовь в подчиненных. Он отличался везде, где только был к тому слу-

чай. Война кончилась. Славный мир был торжеством воинского искусства князя Кутузова, будущего Смоленского. Известно, что наша Турецкая армия, под начальством Чичагова, встретила бегущего Наполеона с остатками его армии на берегах реки Березины. Балясников был убежден, что можно было не допустить переправы неприятеля, он приходил в отчаянье от распоряжений главнокомандующего, которые давали возможность спастись Наполеону. Когда же опасения его оправдались и Наполеон, переправясь через реку, ушел, Балясников, в исступлении от гнева, по колени в грязи и в воде, целый день и даже вечер громил из своих орудий остатки великой армии. Он простудился и через несколько дней умер от горячки. Так рановременно погиб этот замечательный человек, память которого живет во всех переживших его товарищах.

Анна Ивановна была права: Лабзин мне не отдал визита, и я более к нему не поехал. По моим соображениям и по некоторым словам Анны Ивановны я догадывался, что старик Рубановский так много наговорил обо мне Ла-

бзину дурного в смысле моей безнадежности для их братства, что великий брат и начальник охладел в своем желании сделать меня своим прозелитом. Тем не менее, однако, я получил от него приглашение, через Мартынова и Черевина, участвовать в спектакле, который они намеревались составить. Я, по моей смертной охоте играть на театре, согласился. Но как скоро узнала об этом Анна Ивановна, то поспешила напомнить мне мое обещание — исполнить ее просьбу: она просила меня отказаться от участия в спектакле у Лабзина. Меня очень удивило ее желание. Дав слово, я должен был его держать; да правду сказать, это и не было для меня большим жертвованием. Деспотизм всегда был для меня ненавистен, а попав в *притворные* актеры, я неминуемо был бы его свидетелем, если не над собой, то над другими. Отказ мой произвел, однакож, большой эффект, и Рубановский с Черевиным и Мартыновым изломали головы, отыскивая причину моего, как они называли, каприза. Они так и остались в неведении; но мое недоуменье, для чего Анна Ивановна потребовала от меня этой жертвы,

как она сама говорила, скоро разрешилось: в пиесе, которую хотели играть, Черевин занимал роль любовника Катерины Петровны; Анна Ивановна боялась, чтобы театральная любовь не превратилась в настоящую, и, предполагая, что мой отказ от главной роли помешает представлению пиесы, заставила меня отказаться. Но увы, так хитро придуманное ею средство не имело успеха — мою роль отдали другому, и пиеса была сыграна, но я уже не был приглашен в спектакль *притворных* актеров. Надобно сказать, что все подозрения и опасения Анны Ивановны были неосновательны: Черевин и не думал об Катерине Петровне, да, может быть, и Лабзин не думал женить его на своей воспитаннице. Впоследствии Черевин, поехав в Москву для свидания с родными, увидел там девушку, которая ему понравилась, и женился на ней.

Я продолжал постоянно посещать семейство Рубановских и каждое воскресенье обедал у них. Старик, потеряв надежду обратить меня на истинный путь, стал смотреть на меня снисходительнее, как на доброго молодого человека, сына старых друзей его, увлеченно-

го вихрем мирской суеты. Моя горячая любовь к литературе, к театру, к изящным искусствам, как выражались тогда, была в его глазах такую же мирскою суетою, как балы, щегольство, карты и даже разгульная жизнь. Во время случившейся со мной довольно сильной болезни Рубановский несколько времени навещал меня ежедневно и с этих пор как-то стал со мною гораздо ласковее. Если в разговорах, как-нибудь нечаянно, речь доходила до мартинистских книг или до масонских лож и я высказывал мое нерасположение к ним, старик Рубановский обыкновенно прекращал разговор такими словами: «Ну, да это не ваше дело, тут вы ничего не понимаете: это не при вас писано». Признаюсь, что это было мне всегда досадно слушать, и эта досада была причиною моего легкомысленного и дерзкого поступка, к чему в свойствах моего нрава не было никакого расположения. В Комиссии составления законов, где я служил переводчиком, был один чиновник, русский немец, по фамилии Вольф. Это был человек тихий и работающий, но постоянно задумчивый и больной. Директор Комиссии Розен-

камф ему покровительствовал, и он имел маленькую квартирку в доме Комиссии. Вдруг узнаем мы, что Вольфа нашли мертвым в его квартире. Такая страшная новость, разумеется, всех заняла и встревожила. Из записки, найденной на столе умершего Вольфа, было очевидно, что он помешался и уморил себя голодом. Он исполнил это довольно затейливо: он не ел несколько дней сряду и, чувствуя, что начинает слабеть, рассчитал и отпустил своего наемного слугу, сказал своим соседям, что на три дня уезжает, запер снаружи свою комнату и, точно, ушел перед вечером; но в ту же ночь воротился и заперся изнутри. Сторож, ничего этого не знавший, сказывал после, что на другой день мнимого отъезда Вольфа видел в окошко, как он беспрестанно ходил по своей комнате, около стен, и в каждом углу кланялся, как будто молился. Когда по прошествии нескольких дней хватились Вольфа и разломали дверь его квартиры, то нашли труп несчастного самоубийцы, лежащий посреди комнаты. Замечательно, что во всех четырех углах, на столах и стульях нашли по несколько нетронутых белых хлебов.

Очевидно, что жалкий страдалец подвергал себя ужасному испытанию голода и выдержал его. Он был безродный сирота; все его имущество, книги и бумаги были опечатаны, но говорили, что Розенкампф, прежде опечатанья, взял себе его письменные сочинения. В первое же воскресенье после этого печального происшествия, обедая у Рубановских, я рассказывал как ужасную новость все, что знал о смерти Вольфа. Мне в голову не приходило, чтоб он был мартинист или знаком с мартинистами; но старик Рубановский, выслушав мой рассказ, с горестным увлечением сказал: «Боже мой! Можно ли было этого ожидать! Иван Федорович Вольф был хотя лютеранин, но шел по истинному пути: он был человек добродетельный, кроткий и тихий; где мог он почерпнуть силы для совершения такого страшного, мученического подвига? Без сомнения, эти силы были дарованы ему свыше». Я с удивлением слушал дикие суждения моего хозяина. Старик с живостью обратился ко мне и убедительно стал меня просить, чтоб я достал у Розенкампфа посмертные сочинения Вольфа, говоря, что это дело очень

важное. Я отвечал, что это очень трудно сделать, что я не так близок к директору, чтоб мог заговорить с ним о таком щекотливом предмете и тем менее мог просить себе бумаг покойного Вольфа, взятых Розенкампом тайно и незаконным образом. Я прибавил, что даже сомневаюсь, правда ли это? Но старик Рубановский так убедительно стал просить меня, что я не мог отказаться и обещал употребить все старания достать бумаги. Правду сказать, я дал это обещание только для того, чтоб отвязаться от докучливых просьб Рубановского, в полной уверенности в невозможности их исполнить.

На другой день, однако, я спросил одного из наших чиновников, бывшего моим товарищем в Казанской гимназии, А. С. Скуридина, которого Розенкампф очень любил: «Правда ли, что у нашего директора есть какие-то сочинения умершего Вольфа?» Скуридин сначала запирался, говорил, что ничего не знает, а потом под великим секретом открылся мне, что это правда, что он видел эти бумаги, писанные по-русски и самым неразборчивым почерком, что сам Розенкампф ни прочесть,

ни понять их не может, что Скуридин кое-что переводил ему на немецкий язык, что это совершенная галиматья, но что Розенкампф очень дорожит бреднями сумасшедшего Вольфа и ни за что на свете никому не дает их. В следующее воскресенье я передал Рубановскому все, что знал о бумагах Вольфа, и всю безуспешность моих стараний, не называя, однако, по фамилии Скуридина. Против моего ожидания, мой рассказ не охолодил, а еще более воспламенил старого мартиниста. Он до того пристал ко мне, что не было другого средства отвязаться от него, как вновь обещать похлопотать о сочинениях Вольфа. Несколько воскресений сряду Рубановский, час от часу с большею неотвязчивостью, приставал ко мне с одними и теми же просьбами. Это ужасно надоело мне. Ломая голову, как бы мне отбиться от докук старика, я напал на мысль: сочинить какой-нибудь вздор, разумеется в темных, мистических выражениях, и выдать этот вздор за сочинение Вольфа. К этому присоединилось желание испытать, как Рубановский будет находить смысл и объяснять то, в чем нет никакого смысла. Мне захо-

телось самому вполне, так сказать наглядно, убедиться в совершенном произволе и ложности его толкований, к которым прибегал он во время наших споров, при нашем общем чтении мистических книг, — и я решился на поступок, совершенно мне не свойственный. Смутно понимая, что это все-таки поступок нехороший, я никому не открылся в своем намерении. Я написал девять отрывков. Все они состояли из пустого набора слов и великолепных фраз без всякого смысла; но в то же время я постарался придать написанному мною некоторую внешнюю связь и мистическое значение. Приемы же я заимствовал из сочинений Экартсгаузена, Штиллинга и самого Лабзина. Сначала я сказал Рубановскому, что есть надежда списать кое-что, и, наконец, принес так давно желанные им отрывки из мнимых сочинений Вольфа. Я приехал часа за два до обеда, мы заперлись с стариком в его кабинете, и я, не без внутреннего волнения и упреков совести, прочел ему листов шесть написанного мною вздора. Во время чтения я несколько раз останавливался, говоря: «Какая дичь, какая бессмыслица, какая га-

лиматья!» Но старик с сожалением улыбался, повторяя любимые свои выражения, что «это не при вас и не для вас писано». — Я попросил его растолковать мне — и он толковал целый час. Мне стало так совестно, что я едва не признался ему в обмане. Наконец, кончилась эта тяжелая для меня пытка: нас позвали обедать. Я предложил Рубановскому, чтоб он оставил мой список с мнимых бумаг Вольфа у себя, говоря, что он мне не нужен. Но старик на это не согласился и попросил только позволения снять собственноручно копию. За обедом хозяин был очень весел, а я, напротив, смущен, как будто сделал дурное дело. Анна Ивановна очень это заметила, и после обеда я выдержал строгий допрос: она хотела знать, что происходило в кабинете между мной и ее супругом. Я отвечал, что мы читали одно мистическое сочинение, которое Василий Васильевич старался мне растолковать, а я, к досаде моей, ничего не понял. Мне показалось, что хозяйка как-то недоверчиво и лукаво на меня посмотрела, и я подумал, что уж не знает ли она как-нибудь настоящей сущности дела, хотя муж ничего ей не хотел говорить и

мне запретил.

Через неделю Рубановский возвратил мне мою рукопись, которую я при первой возможности бросил в пылающий камин. Он сказал, что она была читана людьми, понимающими это дело, которые ее достойно оценили. Я покраснел до ушей: я хорошо знал, кто это — эти достойные люди; мне стало совестно дурчить целое общество, члены которого, при всем своем одностороннем ослеплении «ли увлечении, были люди умные, образованные и почтенные. Я не мог по-прежнему спокойно смотреть в глаза Черевину и Мартынову, которые в тот день обедали вместе со мною; мне казалось, что они все знают и что некоторые их слова были намеком на мой бессовестный поступок; я был так смущен, так странен, что они необходимо должны были спросить меня, что со мною сделалось, здоров ли я? А такие естественные вопросы казались мне неопровержимым доказательством, что старик Рубановский сказал, от кого получил список с мнимого сочинения Вольфа, и что они отгадали, кто настоящий сочинитель: одним словом, я был мученик, — я был достойно на-

казан за мою дерзость. В самом же деле все мои опасения и все мои подозрения были совершенно несправедливы: старик Рубановский хранил строжайшую тайну, и никто ни в чем не подозревал меня. Насилу дождался я времени, когда можно было, не нарушая принятого порядка, уйти от Рубановских. На улице я вздохнул свободнее, но долго не мог совершенно успокоиться. Я дал себе честное слово никогда ничего подобного не делать и, конечно, сдержал его.

В следующее воскресенье я по какой-то законной причине не поехал обедать к Рубановским. Я заехал к ним в субботу поутру, чтобы сказать заранее, что завтра не буду. Я знал, что старика нет дома и что он до самого обеда сидит в своей конторе. Мне хотелось удостовериться, не слыхала ли чего-нибудь Анна Ивановна? Не знает ли она, что происходило в тот вечер у Лабзина, когда читали мою несчастную пародию? Я и прежде с удивлением замечал, что Анна Ивановна знала все, что делалось в доме у Лабзина и у Червина. Какие она имела для этого средства, я не знаю, только и в этот раз она знала все,

кроме имен сочинителя и того человека, который доставил Василию Васильевичу это драгоценное сочинение. Анна Ивановна знала, что Василий Васильевич сам читал его вслух, в присутствии многих членов, и что все очень его хвалили и даже положено было напечатать его в «Сионском вестнике», если он опять будет позволен. Анна Ивановна знала даже и то, что между Лабзиным и Н. Н. Новосильцевым шла секретная переписка об этом журнале и что эту переписку читает государь. Довольный полученными мною сведениями, я поспешил уйти, куда не воротился Василий Васильевич. Мне надобно было еще несколько времени не встречаться с ним, чтобы взглянуть на него с меньшим смущением.

Пришло опять воскресенье. Я нашел у Рубановских Черевина и обоих Мартыновых. Мартынов военный, то есть Павел Петрович, никогда еще при мне не обедал у Рубановских, и я очень удивился и обрадовался ему, потому что в его присутствии легче было не допускать разговора до предметов отвлеченных. Все обстояло благополучно. Я убедился,

что никто не смотрел на меня особенным образом, что никто не думал о посмертном сочинении Вольфа и что никто не подозревал моего участия в этом деле. Я совершенно успокоился и был необыкновенно весел. Анна Ивановна заметила это и сказала мне, что она всегда бы желала видеть меня в таком расположении духа. Вовсе неожиданно для всех, по крайней мере так говорила «братья», приехал после обеда Лабзин. Он был так же умен, любезен и разговорчив, как и в первый раз, когда я познакомился с ним у Рубановских, но со мной он обошелся, как с человеком вовсе ему незнакомым. Все обратили на это внимание и с любопытством смотрели на меня. Вероятно, все думали, что такая перемена неприятно озадачит и смутит меня; но я внутренно так был ею доволен, что сделался еще веселее и болтливее. Когда гости разъехались, Анна Ивановна дала мне секретную аудиенцию и, глядя на меня с улыбкою, сказала: «Каков актер наш игумен? — так называла она иногда Лабзина. — Ухаживал, ухаживал за вами, да вдруг и перевернулся, как будто знать не знает вас, как будто никогда не

видывал! Ну, да и вы хороши! Умели скрыть свою досаду и даже виду не показали». Я постарался уверить Анну Ивановну, что я не досадовал, а радовался такой перемене. Анна Ивановна была очень довольна, что не допустила меня попасть в западню и сделаться лакеем Лабзина, какими, по ее мнению, были ее муж, Черевин, Мартынов и множество других. Я благодарил ее, оставляя в приятном заблуждении, что ей одной обязан своим спасением.

Успокоенный в моих опасениях, уверенный, что моя насмешка над мартинистами не может открыться, я решился доверить мою тайну одному из моих друзей, человеку уже пожилому и необыкновенно скромному. Тайна тяготила меня, и, по природной моей откровенности, мне необходимо было кому-нибудь ее доверить. И. И. Р-га называли могилою секретов, и ему-то я открылся во всем. Я думал, он посмеется; но, к удивлению моему, он пришел в ужас. «Не сказывал ли ты кому-нибудь об этом?» — спросил он меня. Я отвечал, что никому не сказывал. «Ну, так и не сказывай. Сохрани тебя бог, если ты пробол-

таешься! Я сам в молодости моей был масоном. Мартинисты — те же масоны. Если они узнают твой обман — ты пропал. Даже мы с тобой никогда уже говорить об этом не будем». Признаюсь, я был порядочно испуган и, точно, долго об этом никому не рассказывал, кроме задушевного друга моего, А. И. Казначеева; мы оба молчали до тех пор, пока время сделало открытие моей тайны уже безопасным.

Скоро я уехал в Оренбургскую губернию, и, воротясь через год, нашел почти всех уже в другом положении.

1858 год, Декабрь, Москва

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ СЕМЕНОВИЧЕ ШИШКОВЕ

*Сей старец дорог нам; он блещет средь
народа*

*Священной памятью двенадцатого го-
да.*

Пушкин[32]

Я хочу рассказать все, что помню об Александре Семеновиче Шишкове. Но я должен начать издалека.

В 1806 году я был своекоштным студентом Казанского университета. Мне только что исполнилось пятнадцать лет. Несмотря на такую раннюю молодость, у меня были самостоятельные и, надо признаться, довольно дикие убеждения; например: я не любил Карамзина и с дерзостью самонадеянного мальчика смеялся над слогом и содержанием его мелких прозаических сочинений! Это так неестественно, что и теперь осталось для меня загадкой. Я не мог понимать сознательно недо-

статков Карамзина, но, вероятно, я угадывал их по какому-то инстинкту и, разумеется, впадал в крайность. Понятия мои путались, и я, браня прозу Карамзина, был в восторге от его плохих стихов, от «Прощания Гектора с Андромахой» и от «Опытной Соломоновой мудрости». Я терпел жестокие гонения от товарищей, которые все были безусловными поклонниками и обожателями Карамзина. В одно прекрасное утро, перед началом лекции (то есть до восьми часов), входил я в спальные комнаты казенных студентов. Вдруг поднялся шум и крик: «Вот он, вот он!» — и толпа студентов окружила меня. Все в один голос осыпали меня насмешливыми поздравлениями, что «нашелся еще такой же урод, как я и профессор Городчанинов,[33] лишенный от природы вкуса и чувства к прекрасному, который ненавидит Карамзина и ругает эпоху, произведенную им в литературе; закоснелый славяноросс, старовер и гасильник, который осмелился напечатать свои старозаветные остроты и насмешки, и над кем же? Над Карамзиным, над этим гением, который пробудил к жизни нашу тяжелую, сонную словес-

ность!»... Народ был молодой, горячий, и почти каждый выше и старше меня: один обвинял, другой упрекал, третий возражал как будто на мои слова, прибавляя: «А, ты теперь думаешь, что уж твоя взяла!» или: «А, ты теперь, пожалуй, скажешь: вот вам доказательство!» — и проч. и проч. Изумленный и даже почти испуганный, я не говорил ни слова, и, несмотря на то, чуть-чуть не побили меня за дерзкие речи. Я не скоро мог добиться, в чем состояло дело. Наконец, загадка объяснилась: накануне вечером один из студентов получил книгу Александра Семеныча Шишкова:[34]

«Рассуждение о старом и новом слоге», которую читали вслух напролет всю ночь и только что кончили и которая привела молодежь в бешенство. Вспомнили сейчас обо мне, вообразили, как я этому обрадуюсь, как подниму нос — и весь гнев с Шишкова упал на меня. Среди крика и шума, по счастью, раздался звонок, и все поспешили на лекции, откуда я ушел домой обедать. После обеда я прошел прямо в аудиторию, а в шесть часов вечера, не заходя к студентам, что прежде

всегда делал, отправился домой. В продолжение суток буря утихла, и на другой день никто не нападал на меня серьезно. Я выпросил почитать книгу Шишкова у счастливого ее обладателя, а через месяц выписал ее из Москвы и также «Прибавление к Рассуждению о старом и новом слоге». Эти книги совершенно свели меня с ума. И всякому человеку, и не пятнадцатилетнему юноше, приятно увидеть подтверждение собственных мнений, которые до тех пор никем не уважались, над которыми смеялись все и которые часто поддерживал он сам уже из одного упрямства. Точно в таком положении находился я. Можно себе представить, как я обрадовался книге Шишкова, человека уже немолодого, достопочтенного адмирала, известного писателя по ученой морской части, сочинителя и переводчика «Детской библиотеки», которую я еще в ребячестве вытвердил наизусть! Разумеется, я признал его неопровержимым авторитетом, мудрейшим и ученейшим из людей! Я уверовал в каждое слово его книги, как в святыню!.. Русское мое направление и враждебность ко всему иностранному укрепились

сознательно, и темное чувство национальности выросло до исключительности. Я не смел обнаруживать их вполне, встречая во всех товарищах упорное противодействие, и должен был хранить мои убеждения в глубине души, отчего они, в тишине и покое, достигли огромных и неправильных размеров. Так шло все время до моего отъезда из Казани.

В 1807 году вышел я из университета, а в 1808-м уже служил переводчиком в «Комиссии составления законов».

Я оставил университет в таких годах, в которых надлежало бы поступить в него, следовательно вынес очень мало знаний. В этом виноват был я сам, а не младенчество университета, в котором многие, учась вместе со мной, получили прочное, даже ученое образование. Особенно процветала у нас чистая математика, которую увлекательно и блистательно преподавал адъюнкт Г. И. Карташевский и которую я ненавидел, несмотря на то, что жил у него и очень его любил. Математика была так сильна у нас, что когда по выходе Карташевского (это случилось уже без меня) приехал в Казань знаменитый тогда европей-

ский математик Бартельс и, пришед на первую лекцию, попросил кого-нибудь из студентов показать ему на доске степень их знания, то Александр Максимыч Княжевич разрешил ему из дифференциалов и конических сечений такую чертовщину, что Бартельс, как истинный ученый, пришел в восторг и, сказав, что для таких студентов надобно профессору готовиться к лекции, поклонился и ушел. Через несколько лет, встретясь как-то на дороге с Г. И. Карташевским, он остановил его, вышел из экипажа, заставил, разумеется, и Карташевского сделать то же и изъявил ему, как собрату по науке, свое глубокое уважение.

Не имея никакой протекции и даже почти никого знакомых в Петербурге, я попал в переводчики «Комиссии составления законов» единственно потому, что Г. И. Карташевский, еще прежде меня оставивший Казанский университет, служил помощником редактора в одном из отделений Комиссии, которые назывались *Редакторствами*. Карташевский пользовался там, как и везде, где он служил, полным уважением. Я жил в Петербурге уеди-

ненно, также мало встречая сочувствия к моим убеждениям и обнаруживая их еще менее. Я видался только с Шушериным; но в наших беседах преимущественно дело шло о театре и сценическом искусстве. Я служил уже около полугода. Главным действующим лицом «Комиссии составления законов» был неутомимый немец Розенкампф: он писал и день и ночь, то по-немецки, то по-французски; с последнего я переводил на русский. Не могу утвердительно сказать, был ли какой-нибудь толк в неусыпных трудах Розенкампфа, но я часто слышал, как подсмеивались над его немецкими теориями. В составе государственных учреждений «Комиссия составления законов» была совершенно забыта. Вдруг директором Комиссии был определен М. М. Сперанский, и ход дел оживился: директорскую канцелярию, названную по-новому: *Письмоводством*, значительно усилили; Вронченко назначили письмоводителем; взяли двух чиновников от Розенкампфа, меня и Бачманова, и причислили к письмоводству. Это передвижение было для меня счастливым событием: в письмоводстве встретился я

с Александром Ивановичем Казначеевым. Я живо помню этот первый день, когда он обратил на себя мое внимание. Как теперь гляжу на его молодую, стройную, худощавую фигуру и свежее лицо, наклоненное над бумагой; длинные волосы закрывали сбоку даже его большой нос, и красивые жемчужные строки выводила его рука. Я сидел возле него, занимаясь своим делом. Вдруг слышу тоненький голосок моего соседа, которым он очень резко бранил школу карамзинских последователей и критиковал переписываемую им бумагу Сперанского за иностранные слова и обороты... Меня так и обдало чем-то родным, так и повеяло духом Шишкова! Я сейчас встал, отшел в сторону старшего чиновника писмоводства, Н. С. Скуридина, бывшего некогда моим товарищем по Казанской гимназии, и спросил: «Кто этот молодой человек, который сидит подле меня?» Скуридин улыбнулся и отвечал: «Как кто? Племянник Александра Семеныча Шишкова, такой же отчаянный славянофил (тогда это слово было уже в употреблении) и чуть не молится своему дяде». Этого было довольно. Через несколько часов я за-

ключил с Казначеевым вечный союз братской дружбы, который мы оба свято храним и теперь. В тот же вечер Казначеев обо всем рассказал своему дяде Шишкову, и на другой день, в десять часов утра, положено было представить меня главе славянофилов.

Но что ж это такое было за славянофильство? Здесь кстати поговорить о нем и определить его значение. Надобно начать с того, что тогда, равно как и теперь, слово это не выражало дела. И тогдашнее и теперешнее так называемое славянофильство было и есть не что иное, как русское направление, откуда уже естественно вытекает любовь к славянам и участие к их несчастному положению. Впрочем, к Шишкову отчасти шло это имя, потому что он очень любил славянский, или церковный, язык и, сочувствуя немного западным славянам, много толковал и писал о славянских наречиях; но его последователи вовсе и об этом не думали. Русское направление заключалось тогда в восстании против введения нашими писателями иностранных, или, лучше французских слов и оборотов речи, против предпочтения всего чужого свое-

му, против подражания французским модам и обычаям и против всеобщего употребления в общественных разговорах французского языка. Этими, так сказать, литературными и внешними условиями ограничивалось все направление. Шишков и его последователи горячо восставали против нововведений тогдашнего времени, а все введенное прежде, от реформы Петра I до появления Карамзина, признавали русским и самих себя считали русскими людьми, нисколько не чувствуя и не понимая, что они сами были иностранцы, чужие народу, ничего не понимающие в его русской жизни. Даже не было мысли оглянуться на самих себя. Век Екатерины, перед которым они благоговели, считался у них не только русским, но даже русскою стариною. Они вопили против иностранного направления — и не подозревали, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски. Сам Шишков любил и уважал русский народ по-своему, как-то отвлеченно; в действительности же отказывал ему в просвещении и напечатал впоследствии, что мужику не нужно знать грамоте. Так бывают

иногда перепутаны человеческие понятия, что истина, лежащая в их основе, принимает ложное и ошибочное развитие. — Само собою разумеется, что никакое сомнение не входило в мою осьмнадцатилетнюю голову и что я был готов безусловно благоговеть перед Шишковым.

Напрасный будет труд, если я захочу дать понятие о том, что происходило в моей голове и моем сердце, когда я воротился домой, расставшись с моим внезапным другом Казначеевым. Какую ночь провел я в ожидании утра, в ожидании свидания, знакомства с Александром Семенычем Шишковым! Я представлял себе его каким-то высшим существом, к которому все приближаются с благоговением. Живя в Петербурге, я постоянно желал и надеялся со временем как-нибудь его увидеть, но возможность личного и близкого знакомства никогда не входила мне в голову. Не могу сказать, чтоб я от неожиданного осуществления того, о чем не смел мечтать, пришел в восхищение, в восторг, которому весьма легко предавался. Конечно, я чувствовал радость, но подавляемую изумлением и ка-

кою-то неопределенною боязнию. Тогда я не умел объяснить себе странного моего чувства; Но, может быть, это было безотчетное опасение найти в действительности не то, что создало и украсило мое горячее воображение и так искренно, давно полюбило молодое сердце. Я был чистый сангвиник: живой, вспыльчивый и в то же время застенчивый, или, вернее сказать, конфузливый до того, что мог совсем потеряться, мог лишиться на ту минуту употребления языка или заплакать. Хотя я конфузился преимущественно в женском обществе или незнакомом и многочисленном, но кабинет Шишкова представлялся мне страшнее всякой аристократической гостиной — и опасность сконфузиться, показаться дураком бросала меня в озноб и жар. Будучи всегда скромного о себе самом мнения, я добросовестно спрашивал себя: «Что же есть во мне замечательного, достойного обратить внимание такого человека, как Шишков? Не совестно ли заставить его перервать свои важные труды и заниматься мною? Что я стану отвечать, когда он спросит о моих литературных занятиях? Не отвечать

же ему, что в университете я издавал письменный литературный журнал вместе с Александром Панаевым? Что я написал стихи к «Зиме» и «Соловью» или перевел «Пигмалиона и Галатею»? Вот если б как-нибудь заставили меня читать, то, может быть, мое чтение понравилось бы Шишкову; в Казани все были в восхищении от моей декламации и игры на театре... Но как же это сделать?..» Подобные детские мысли осаждали всю ночь мою горячую голову. Я уснул уже к утру и целым получасом опоздал приехать к Казначееву.

В переулке с Литейной, называемом Форштатским, против лютеранской кирки, стоял небольшой каменный двухэтажный домик (вероятно, стоит и теперь), окон в восемь, какого-то зеленоватого цвета, весьма скромной наружности: это был собственный дом Александра Семеныча Шишкова. Мы въехали под него в ворота и поднялись во второй этаж, по темной, узкой и нечистой лестнице. Не спрашивая о хозяине, Казначеев ввел меня из прихожей в столовую и остановился у дверей кабинета, поглядел в замочную скважину и

сказал: «Дядя тут; не пишет, а что-то читает; верно, ждет нас». Он хотел отворить дверь, но я удержал его, чтобы перевести дух. Сердце билось у меня, как голубь в клетке, и дыхание стеснялось. Через минуту мы вошли. Кабинет был маленький, голубой, с двумя окошками в переулок; между ними помещался большой письменный стол, загроможденный книгами и бумагами; на окошках стояли банки с сухим киевским вареньем и конфетами, а на столе — большая стеклянная банка, почти наполненная доверху восковыми шарами и шариками.[35]

Вокруг на горках и на полу лежало много книг и тетрадей. Все было в пыли и *беспорядке*, как называют и теперь *порядок* в кабинете ученого, серьезно занятого делом человека.

Александр Семеныч был в шелковом полосатом шлафроке с поясом, с голой шеей и грудью; на ногах у него были кожаные истасканные ичиги (спальные сапоги); он имел средний рост, сухощавое сложение, волосы седые с желтиной, лицо у него было поразительно бледно; темнокарие небольшие глаза, очень

живые, пронизательные, воспламеняющиеся мгновенно, выглядывали из-под нависших бровей; общее выражение физиономии казалось сухо, холодно и серьезно, когда не было одушевлено улыбкой, — самой приятной и добродушной. Он не вдруг увидел нас, но увидев, положил книгу, встал и сказал мне: «Я рад, что вы встретились и подружились с Казначеевым. Вы оба русские люди, будете вместе служить и ходить ко мне, я стану толковать с вами и что-нибудь читать, и хорошее и худое; худого больше, но есть и хорошее. Вот я сейчас читал поэму «Петр Великий»; ее все журналы будут бранить, я наперед знаю; а в ней есть такие красоты, каких немного у Державина, да и у Ломоносова». Он сел на свое кресло перед столом, и мы сели без приглашения на ближайшие стулья. Он взял книгу и принялся читать с самого начала, с посвящения, в котором особенно нравились ему стихи:

*Из чащи лавровой, цветущей при
Полтаве,
Гордящейся Петром, восходит к
небесам*

*Бессмертный памятник его бес-
смертной славе.
Кто чтит достоинства, досто-
почтен и сам.*

Чтение его было тихо, однообразно, но естественно, произношение чисто и явственно, но в то же время с каким-то стариковским бормотаньем и процеживаньем слов сквозь зубы; он читал с большим одушевлением и небольшими жестами правой рукой. Сначала мне не понравилось чтение; но скоро я привык к его недостаткам или особенностям, и оно так увлекло меня внутренней силою и теплотою, что князь Шихматов показался мне великим поэтом, а Шишков таким чтецом, при котором мне не должно и читать. Читая, Шишков нередко останавливался и восклицал: «Какое великолепие! Какая красота! Какое знание языка славянского, то есть русского! Вот что значит, когда стихотворец начитался книг священного писания! А между тем при следующих стихах, — продолжал он: —

*Не сломят веки, ни стихии,
Ни ковы всех наземных бед, —*

сейчас остановятся и скажут: что это за *наземные беды*? Уж не *навозные ли*? Подумают, что это слово выдуманно Шихматовым; неправда, оно точно в этом смысле употреблено в священном писании. Ну что может быть лучше этих выражений:

*Не терпит сердце немоты;
Приди, витийство простоты,
И смелость мне вдохни, природа!*

Или, например:

*Как зимний дым белеют мраки,
И утро с розовым лицом,
Гоня зловидные призраки,
Блестая золотом, багрецом,
Дыша живительной прохладой,
Белит и горы и поля.
Сребром усыпана земля,
Всеместной полнится отрадой;
Настал приятный первый шум,
Преторглась цепь ночного плена,
И путник, преклонив колена,
Вперил к востоку взор и ум. —
Се солнце, искра славы бога,
Из бездн исходит, как жених
Младый от брачного чертога.*

Это все красоты первоклассные, или заимствованные из книг священного писания, или составленные по их духу. Да покажите мне, много ли таких красот найдется у наших знаменитых писателей. А вот попадется слово, которого значения не поймут, в стихе:

Богатств дражайшие дары —

и станут смеяться: *дражайший дар*, как уморительно смешно! а ничего смешного нет. *Дражайший* значит драгоценнейший, это превосходная степень, а потому стих:

Богатств дражайшие дары —

значит дары, которые драгоценнее богатств. Наперед знаю, что наши безграмотные журналисты подымут на смех следующие превосходные стихи, красоты выражения которых все почерпнуты из священного писания:

Течет исполнь красы и мира,

или:

Так зависть, поучась в крамоле,

или:

И к смерти прилагают смерть,

или:

От скал сложенные громады.

Пожалуй, иной литератор подумает, что *от* поставлено ошибкой вместо *из*. Или:

Трясется он от оснований

или:

Пасутся сочностью трав —

и неисчетное множество тому подобных превосходных выражений. И не мудрено: они не смыслят корня русского языка, то есть славянского. Далее:

*Утеха взору и гортани,
Висят червленые плоды.*

Как хороши эти два стиха! Это прелесть, а пожалуй, не поймут слово *червленный* и подумают, что это *червивые*. Шихматов говорит, что весенние ветерки:

*На воздух рассыпают сладость,
Окрав душистые шипки —*

и это превосходно, но большая часть чита-

телей не поймут слов: *окрав* и *шипки*, а между тем какое живописное изображение, что ветрки, пролетая по цветам, похищают, окрадывают их душистые, распускающиеся шипки, то есть цветочные распукольки, и таким образом наполняют сладостным благовонием воздух. Ну, послушайте, какое великолепное описание кораблестроения:

*Туда, по воле человека,
Корнисты севера сыны,
Надменны долгою века,
Стеклись с кремнистой вышины,
И там, искусством искривленны,
Да с бурями воют вновь...*

Последний стих так многозначителен, что я не знаю ему равного. Я также ничего не знаю лучше во всех мне известных литературных следующего описания спуска корабля:

*При звуках радостных, громовых,
На брань от пристани спеша,
Вступает в царство волн суровых;
Дуб — тело, ветер — его душа,
Хребет его — в утробе бездны,
Высоки щоглы — в небесах,*

*Летит на легких парусах,
Отвергнув весла бесполезны;
Как жилы напрягает снасть,
Вмещает силу с быстротою,
И горд своею красотю,
Над морем воспримлет власть.*

Тут есть такие три стиха (4, 5 и 6), которым должны позавидовать и древние и новые стихотворцы». [36]

Чтение в таком роде, замечания и рассуждения Шишкова продолжались часа два. Казначеев и я слушали и молчали, изъявляя только по временам наше полное согласие с мнениями и выводами хозяина, хотя некоторые похвалы и казались нам преувеличенными. Вдруг дверь в кабинет из столовой несколько отворилась, и резкий женский голос сказал: «Александр Семеныч! Тебе давно пора в Адмиралтейство! Тебя там сегодня ждут. Ты обещал быть в двенадцать часов, а теперь половина второго». — «Сейчас, сейчас! — отвечал он просительным тоном, — вот только прочту несколько куплетов». Тот же женский голос тоном неумолимой гувер-

нантки возразил: «Этому чтению и конца не будет. Федор! подавай одеваться Александру Семенычу...» И Федор вошел с платьем. Шишков дочитал только куплет, положил книгу и сказал: «Вы у нас обедаете. Я скоро ворочусь, мне хочется показать вам в этой поэме одно славное место и объяснить, откуда Шихматов заимствовал его красоты. Ступайте теперь к жене». Мы вышли. Я был озадачен. Хотя я увлекался чтением и горячими чувствами Шишкова, хотя многие стихи, на которых он останавливался, точно были хороши и я восхищался ими, но не все объяснения красот «Петра Великого» показались мне удовлетворительными; притом мне было как-то больно, что он не обратил собственно на меня ни малейшего внимания: я забыл, что накануне признавал себя совершенно его недостойным. Странно мне показалось и то, что Казначеев, говоривший о дяде заочно с благоговением, обращался с его личностью как-то слишком запросто; голос же жены Шишкова (как я догадался), в котором не было заметно никакого уважения, а, напротив, слышалась привычка повелевать, поселил во мне сильное

предубеждение против этой женщины, несмотря на то, что Казначеев уже успел сказать мне, что она добрейшее существо в мире. Под таким впечатлением вошел я в гостиную, где Дарья Алексевна (так звали жену Шишкова)[37] сидела за рабочим столиком у окошка; она приняла меня очень просто и ласково, хотя вообще обращение ее было сухо; попросила сесть возле себя и, не переставая усердно что-то шить, расспросила обо всем до меня и моего семейства касающемся, со всеми мельчайшими подробностями. Узнав, что со мною живет брат, двенадцатилетний мальчик, она настоятельно потребовала, чтоб я на другой же день привез его к ней, прибавя: «Из ваших слов я вижу, что вы хороший брат и неохотно оставляете его одного дома, а потому всегда привозите его к нам с собой; у нас воспитываются двое родных племянников Александра Семеныча, а потому вашему брату будет не скучно. Я сама занимаюсь воспитанием племянников и строго смотрю за их нравственностью. Я уверена, что ваш брат мальчик неиспорченный. Мы обедаем в половине четвертого. Милости прошу обедать хоть всякий

день или хоть вместе с Казначеевым, который с двумя своими родственниками[38] обещает у нас три раза в неделю. Сегодня же непременно прошу обедать с нами. Итак, прощайте покуда».

Мы вышли. Уже был третий час. Мы предполагали часу в первом уехать от Шишкова и отправиться в «Комиссию составления законов»; но теперь было уже поздно, и мы решились совсем не являться туда, а пошли гулять по Литейной, в ожидании времени обеда. Тут Казначеев многое объяснил мне и много рассказал такого, что мне нужно было знать предварительно. Между прочим, он поздравил меня с тем, что я понравился его дяде и тетке (впоследствии мы всегда их так звали). Я захохотал: «Да помилуй, — возразил я, — он не сказал со мною ни одного слова». Но Казначеев уверял, что это ничего не значит, что он хорошо знает своего дядю, что если б я ему не понравился, то он не продержал бы нас слишком два часа; что, говоря и читая, он все относился ко мне и смотрел на меня, и что он из выражения глаз его заметил, что я пришел ему по сердцу. «Что же касается до тетки, —

прибавил он, — то я не выдывал, чтобы она кому-нибудь была так с первого разу благосклонна, как к тебе». Хотя, по-моему, очевидность тому противоречила, но я не мог не поверить Казначееву, в искренности которого невозможно было сомневаться. Тут узнал я, что дядя его, этот разумный и многоученый муж, ревнитель целости языка и русской самобытности, твердый и смелый обличитель торжествующей новизны и почитатель благочестивой старины, этот открытый враг слепого подражания иностранному — был совершенное дитя в житейском быту; жил самым невзыскательным гостем в собственном доме, предоставляя все управлению жены и не обращая ни малейшего внимания на то, что вокруг него происходило; что он знал только ученый совет в Адмиралтействе да свой кабинет, в котором коптел над словарями разных славянских наречий, над старинными рукописями и церковными книгами, занимаясь корнесловием и сравнительным словопроизводством; что, не имея детей и взяв на воспитание двух родных племянников, отдал их в полное распоряжение Дарье Алексевне, кото-

рая, считая все убеждения супруга патриотическими бреднями, наняла к мальчишкам француза-гувернера[39] и поместила его возле самого кабинета своего мужа; что родные его жены (Хвостовы), часто у ней гостившие, сама Дарья Алексевна и племянники говорили при дяде всегда по-французски... Я разинул рот от удивления! Такое несходство слова с делом казалось мне непостижимо. Что должен был я подумать о Шишкове? В истинности его убеждений сомневаться было невозможно; итак, это жалкая слабость характера?.. но мне не хотелось допустить такой мысли — и крепко смутилась моя молодая голова! Признаюсь, смущало меня и то, что у православного Шишкова — жена лютеранка!.. В половине четвертого мы были в гостиной, где нашли тетку, двух ее племянниц, девиц Хвостовых, и двух молодых людей, приятелей Казначеева, Хвоцинского и Татарина, с которыми я уже познакомился поутру, потому что они жили на одной квартире с Казначеевым. Племянники Александра Семеныча, также гулявшие перед обедом с гувернером, воротились в одно время с нами; через

несколько минут приехал дядя. Не дожидаясь, пока он переоденется, хозяйка велела подавать кушанье и повела гостей за стол. Возле места, на котором обыкновенно садился Шишков, она пригласила сесть меня. Казначеев сел по другую его сторону. Дядя, переменяв только мундир на халат и сапоги на ичиги, шаркая ногами по полу, или как-то таская их по-стариковски, торопливо вышел из кабинета, сел между мною и Казначеевым и молча занялся сначала своей стынувшей тарелкой супа. Потом обратился ко мне и принялся рассказывать свой спор в Адмиралтейском совете за какого-то русского морского офицера, которому, совершенно несправедливо, предпочитали немца. Дядя, без всякой, впрочем, ласковости, говорил со мною так просто, так по-домашнему, как будто я век был его семьянином, и скоро мне самому показалось, что я давно и коротко знаком с хозяином и со всеми его интересами. Я заметил, что Дарья Алексевна улыбалась, смотря на нас, и говорила что-то с другими. В продолжение всего обеда, чрезвычайно умеренного, дядя ни с кем, кроме меня, не сказал ни одного

слова. Встав из-за стола, он сейчас увел нас с Казначеевым в кабинет и около часа читал поэму Шихматова и объяснял то место, которое хотел указать нам. Наконец, сказал: «Ну, бог с вами. Ступайте к молодежи». В гостиной тетка и другие встретили меня улыбками и поздравлениями, что я буду любимцем Александра Семеныча, чему, впрочем, никто не завидовал, ибо всем казались беседы с ним наедине и бесконечные толкования о славянских корнях смертельною скукою. Я, полагаясь более на слова других, чем на свое впечатление, радовался от всего сердца такому неожиданному и скорому обороту дела — но поспешил домой: в первый раз случилось, что брат должен был обедать один и даже не знал, где я. Воротясь, я нашел его в беспокойстве обо мне; он даже еще не обедал, а как я сам был голоден после диетного немецкого стола у Шишковых, то и пообедали мы очень плотно своими тремя сытными русскими блюдами. Я рассказал брату все малейшие подробности нового знакомства и назначил ехать послезавтра вместе с ним к Шишкову. Первое мое с ним свидание так врезалось в

моей памяти, что я мог рассказать его с изумительной (для меня самого) точностью: дальнейшие мои рассказы не могут быть так подробны.

Брата моего приняла тетка очень ласково и радушно; дядя, по своему обыкновению, не обратил на него ни малейшего внимания. С молодыми племянниками Шишкова, или, лучше сказать, со старшим, с Сашей (иначе называть его не позволяли), брат мой скоро подружился; меньшей же, Митя, был слишком молод, да и как-то странен. Саша, известный впоследствии в русской литературе под именем «Шишкова 2-го», был тогда блистательным и очаровательным мальчиком. Много возбуждал он великих надежд своим рановременным умом и яркими признаками литературного таланта. Тетка обожала его, как говорится, и, несмотря на свою практическую рассудительность, совершенно испортила своего любимца. Исключительно женское воспитание редко удается. Через несколько лет не могла она сладить с Сашей, и он поступил в военную службу, прямо в офицеры молодой гвардии и прямо в адъютанты, кажет-

ся, к генералу Каблукову. Саша немедленно сделался отчаянным повесой, был сослан на Кавказ, ушел из-под караула и, будучи арестантом, увез молодую девушку и женился на ней, жил в крайней бедности, погубил свой замечательный талант, работая для денег, и, наконец, погиб трагической, всем известною смертью.

Наши посещения дома Шишковых устроились правильным образом: три раза в неделю мы с братом у них обедали и проводили иногда вечера, вместе с Казначеевым и его мнимыми родственниками и нередко с семейством Хвостовых. По вечерам дядя уезжал в гости или в клуб, где он вел крупную игру. Он был отличный мастер играть во все коммерческие игры и особенно в *рокомболь* и всегда много выигрывал. Я после узнал, что он в молодости был сильный банковый игрок. Хотя я приезжал или приходил из «Комиссии составления законов» довольно поздно, иногда перед самым обедом, но всегда проходил прямо в кабинет дяди и вместе уже с ним садился за стол, постоянно подле него. После обеда почти всегда он приглашал меня

в кабинет, иногда без Казначеева, и толковал со мною о любимых своих предметах: о тождестве языка русского и славянского, о красотах священного писания, о русских народных песнях, о порче языка по милости карамзинской школы и проч. и проч. Я постепенно перешел из безмолвного слушателя в собеседника. Иногда я возражал Александру Семеновичу, и он, оспоривая меня, признавал нередко, хотя одностороннюю, правду и значительность возражения; в таком случае он обыкновенно отмечал в тетради: «Такое-то возражение нужно хорошенько объяснить и опровергнуть». Все наши разговоры вошли в состав «Разговоров о словесности» между двумя лицами: Аз и Буки, напечатанных года через два. Я не мог не смеяться, читая их, потому что нередко узнавал себя под буквою Аз, и весьма часто с невыгодной стороны.

Между тем время шло. Я привязался всею душою к Шишкову и хотя никогда не слышал от него ласкового слова, но видел из выражения его глаз, слышал по голосу, как он был доволен, когда я входил к нему в кабинет. Нечего и говорить, что с первой минуты

нашего знакомства я стал искать благосклонности старика с таким жаром и напряженным вниманием, с каким не искал во всю мою жизнь ни в одной женщине. Это делалось бессознательно с моей стороны, но все окружающие замечали мои поступки и нередко смеялись мне в глаза; сама тетка говорила, что я влюблен в ее мужа и волочусь за ним изо всех сил. Я конфузился, но продолжал держать себя по-прежнему. — Сначала нередко случалось, что отворишь дверь в кабинет Шишкова, и он, если занят серьезно, то кивнет головою и скажет: «А, здравствуй», но не отодвинет книги или тетради и не прибавит: «Ну, садись, потолкуем». (Я забыл сказать, что через неделю после первого свидания, или, лучше сказать, при первом употреблении второго лица, дядя начал говорить мне: *ты*.) В настоящее же время тетрадь или книга уже постоянно отодвигались при моем появлении, так что я сам, зная, чем хозяин занят, не входил иногда к нему в кабинет или, поздоровавшись, сейчас уходил под каким-нибудь предлогом.

Наконец, вышло из-под спуда мое уменье

читать или декламировать. Казначеев с родственниками, Хвоцинским и Татариновым, которые так и остались навсегда его родней, наговорили о моем чтении тетке и Хвостовым, и меня стали просить *прочитать что-нибудь*. Я стал читать: чтение всем понравилось, и тетка один раз за обедом вдруг обратилась к мужу и сказала: «А ты, Александр Семеныч, и не знаешь, что Сергей Тимофеич большой мастер читать?» Шишков, конечно, не знал, то есть слышал, да забыл, как меня зовут, и я заметил, что он старался вспомнить: кто это такой Сергей Тимофеич? Я поспешил вывести его из недоумения и сказал, что очень желаю прочесть ему что-нибудь, и, обратясь к Дарье Алексееве, прибавил, что Александр Семеныч сам превосходно читает и что я боюсь его суда. Дядя промолчал, но после обеда, не уходя из гостиной, он сказал: «Ну, прочти же что-нибудь». Я сейчас сбегал в его кабинет, принес Ломоносова и прочел «Размышление о божием величии». Дядя был так доволен, что заставил меня прочесть другую пьесу, потом третью, четвертую и, наконец, приметя или подумав, что для других это

скучно, увел меня в кабинет, где я читал ему на просторе из Державина, Капниста и даже из князя Шихматова по крайней мере часа полтора. Я должен признаться, что чтение из Шихматова было с моей стороны волокитство! Дядя, очевидно, был очень доволен чтением, иначе он не заставил бы меня читать так долго; но не похвалил ни одним словом и потом уже никогда не поминал об этом, чем я немало огорчился. Но зато чтение в гостиной продолжалось с возрастающим успехом. Кроме всегдашнего мужского общества, слушательницами были: Катерина Алексевна Хвостова, родная сестра хозяйки (женщина замечательная по уму и прекрасным качествам), две ее незамужние дочери, девица Турсукова, сочинительница Анна Петровна Бунина и другие. Я перешел к чтению драматических пьес; между прочим, я прочел Озерова: «Эдипа», «Фингала» и, наконец, чью-то комедию. Чтение последней родило мысль, что как бы хорошо устроить домашний спектакль. Надобно сказать, что тетку все считали очень скупой; в самом же деле она была только расчетлива, да и поступать иначе не могла, ибо

доходы Шишкова, довольно ограниченные, состояли в одном жалованье. Мысль о театре понравилась Дарье Алексевне по многим отношениям, но расходы ужаснули, и сначала эта мысль была совершенно отвергнута ею, как невозможная в исполнении. Конечно, я более всех желал, чтобы у Шишковых устроились благородные спектакли. Самолюбие мое было очень уже обольщено и даже избаловано еще в Казани, где на университетском театре, посещаемом лучшею публикой, я играл очень много, всегда с блистательным успехом. Гром рукоплесканий сладок, и дым похвал упоителен: я отведал этой сладости и дыма — и чад не выходил из моей головы. Кроме причин, мною высказанных, у меня была своя, особенная, секретная причина: я с приезда моего в Петербург, всякий свободный вечер проводил у Шушерина, с которым мы постоянно занимались сценическим искусством, то есть читали, разыгрывали пьесы и рассуждали об их исполнении. Мои понятия расширились, уяснились; я узнал много нового, сделал, как умел, под руководством Шушерина, много перемен в своей игре на театре —

и мне очень хотелось посмотреть самому на себя, сравнить свою настоящую игру с прежнею. Впрочем, надо сказать правду, что и кроме удовлетворения собственного самолюбия я имел настоящее призвание и любовь к театру. Это доказывалось тем, что я с равным жаром занимался успехом тех пьес, в которых сам не играл. Решительный отказ тетки был для меня очень тяжел. Но скоро новый опыт моего дарования, при чтении какой-то слезной драмы Коцебу, вновь увлек наше общество, и все решились вновь атаковать Дарью Алексевну. Для вернейшего успеха пригласили на чтение Петра Андреевича Кикина,[40] которого хозяева очень любили и уважали: он остался весьма доволен и принял живое участие в нашем предприятии. Напали на самую слабую сторону тетки: представили, как полезна будет игра на сцене для образования наружности ее племянников, то есть старшего, обожаемого Саши, который прекрасно читал и грезил день и ночь желанием играть на театре. Без сомнения, он был сильнейшим нашим орудием. Главное затруднение — расходы устранялись отчасти тем, что мы вызва-

лись сами написать занавес и декорации, наклеить их на рамы и, без всякого машиниста, с одним простым плотником, взялись устроить сцену, к чему Хвоцинский, необыкновенный мастер на все ремесла и даже женские рукоделья, оказался вполне способным. Наконец, обольстили тетку: она согласилась и уже горячо взялась за дело. Для начала выбрали две детские пьески из театра для детей М. Невзорова; одна называлась «Старорусин», или «Семейство Старорусиных»: не ручаюсь за точность названия, но я сам играл отца семейства, отставного служаку, господина Старорусина, которого слова были отражением русского направления Александра Семеныча Шишкова. Как называлась другая пьеска — решительно не помню. Племянники Шишкова и мой брат играли женские лица. Положено было сделать сюрприз дяде нашим спектаклем; ему сказали, что в зале надобно произвести переделки, затворили ее и заперли двери; обед перенесли в маленькую столовую, что и прежде случалось, когда не было никого посторонних. Впрочем, для дяди не нужны были такие предосторожности: раз

как-то нечаянно он заглянул в залу прямо из лакейской, увидел нас без фраков, в фартуках, запачканных красками — и даже не спросил, что это значит. Денег у тетки на устройство театра взяли только сто рублей ассигнациями, приложили столько же своих и обманули ее, ставя в расход все цены вдвое меньше. Короткие знакомые Шишкова, как то: Бакунины, Мордвиновы, Кутузовы, Турсуковы и другие, скоро узнали секрет; но дядя не знал ничего. Костюмы собрали кое-как без всяких расходов. Я помню, что играл Старорусина, отставленного с екатерининским мундиром, в военном сюртуке Кикина, бывшего тогда флигель-адъютантом, и что я в первый раз и без всякой надобности явился на сцене в шпорах. Как бы то ни было, решительный вечер наступил (кажется, в чьи-то именины); приглашенные гости, все коротко знакомые хозяевам, съехались. Отперли, растворили двери в освещенную залу, и Шишков, ничего не подозревая, думая, что все идут смотреть обыкновенные детские танцы, вел под руку жену Кутузова. Дядя не вдруг увидел занавес: он был не верхогляд и всегда смотрел себе под

ноги, потому что был ими слаб; но зала, тесно заставленная стульями, его поразила. «Что это? — сказал он, остановясь и оглядываясь, — скажите, пожалуйста, театр! ведь я ничего не знал!» Общий веселый смех и рукоплескания раздались между гостями... Я не помнил себя от радости и дрожал, как в лихорадке, смотря на публику в отверстие, прорезанное на занавесе. Спектакль прошел благополучно, осыпаясь рукоплесканиями зрителей и зрительниц, разумеется, из одного желания сделать удовольствие хозяевам. Надо признаться в непростительной и нелепой дерзости, на которую подбили меня советы других и на которую решился я чуть ли не с согласия Дарьи Алексевны: играя свою роль, я подражал несколько выговору, походке и вообще манерам Александра Семеныча — одним словом, я передразнивал его. Это было замечено многими гостями и заставило их смеяться; но, разумеется, дядя ничего не заметил. Тетка сказала, однако, после спектакля в услышание всем: «Сергей Тимофеич так любит моего мужа, что даже походил на него в роли Старорусина». Без всякого самолюбия я

скажу, что моя игра на театре слишком резко отличалась от игры других. Несмотря на молодость, я уже был опытный актер: я с пятнадцати лет постоянно изучал и разыгрывал разные роли если не на сцене, не перед зрителями, то у себя в комнате, перед самим собою; в настоящее же время в этом страстно любимом занятии руководствовал мною, как я уже сказал, знаменитый тогда актер Яков Емельяныч Шушерин. Я имел решительный сценический талант и теперь даже думаю, что театр был моим настоящим призванием. Старик-посетители, почетные гости Шишковых, заметили меня, и Н. С. Мордвинов (будущий граф), М. И. Кутузов (будущий светлейший князь Смоленский), М. М. Бакунин, а более всех жена Кутузова, знаменитая своей особенной славой, женщина чрезвычайно умная, образованная и страстная любительница театра (известный друг актрисы Жорж), приветствовали меня уже не казенными похвалами, которыми обыкновенно осыпают с ног до головы всех без исключения благородных артистов. Кутузова изъявила мне искреннее сожаление, что я дворянин, что такой талант,

уже много обработанный, не получит дальнейшего развития на сцене публичной, — и самолюбие мое было утешено. Дядя был совершенно доволен; Дарья Алексевна уверяла меня, что никогда не видала его таким светлым и веселым. Но никому из нас отдельно он не сказал благодарного или ласкового слова; бормотал только про себя: «Хорошо, очень хорошо, как будто целый век были актерами». На другой же день родилась у него мысль составить еще спектакль и устроить в нем сюрприз для всех, особенно для его друга Н. С. Мордвинова; сюрприз состоял в том, чтобы разыграть на итальянском языке две сцены из трагедии Метастазия (кажется, из «Александра Македонского»), состоящие из двух лиц: Александра Македонского и пастуха. Жена Мордвинова была англичанка,[41] воспитанная в Италии, и не знала по-русски; сам Мордвинов и все его семейство долго жили в Италии и говорили по-итальянски, как на своем языке. Племянник Александра Семёныча, Саша Шишков, говорил на этом языке также очень хорошо; ему назначили играть главную роль «пастуха», а брат мой, не знав-

ший по-итальянски, должен был играть «Александра»; его роль умещалась на четырех страничках. Дядя написал ее своей рукой, в двух экземплярах, французскими и русскими буквами, с означением всех тончайших словоударений; он сам учил моего брата произношению с удивительным терпением и, говорят, довел его выговор, во всех певучих интонациях языка, до изумительного совершенства. Секрет был сохранен строжайшим образом; репетиции делались в кабинете у дяди, и никто из знакомых не знал о приготавливаемом сюрпризе. Чтоб не затрудняться постановкой новой пьесы, положили повторить «Старорусина». Должно сказать, что дяде было очень приятно слышать свои мысли с театральных подмостков даже в своей небольшой зале, и мы с его племянником, Казначеевым, заметя это, приготовили сюрприз ему самому: мы вставили в роль Старорусина много славянофильских задушевных мыслей и убеждений Шишкова, выбрав их из его печатных и рукописных сочинений и даже из разговоров. Через две недели дядя поехал сам приглашать гостей и пригласил столько, что половина их

должна была поместиться в другой боковой комнате, из которой сцены не было видно. Тетка сердилась, ибо, кроме тесноты, надобно было приготовить ужин не только вдвое больше, но и вчетверо дороже, потому что в числе гостей находились люди уже не коротко знакомые. Дядя, впрочем, дал на ужин какие-то особенные свои деньги. Наконец, спектакль был сыгран. Первая пьеса шла «Старорусин»... Увы, дядя не заметил вставок! Только говорил, что «Аксаков играет несравненно лучше прежнего». Итак, наш сюрприз не удался; но зато сюрприз Мордвиновым удался вполне: и Николай Семеныч, и его жена, и дочери были поражены звуками итальянского языка. Несколько мгновений не могли опомниться от изумления, а потом плакали от удовольствия, как дети. Никогда я не забуду этой минуты, когда, по окончании сцен из Метастазия, Мордвинов подошел к Шишкову. Прекрасное лицо этого чудного старика сияло радостью, а глаза блистали благодарностью за нежное внимание к его семейству. Молча, но красноречиво обнял он своего, на море и на суше испытанного, друга. Если б не было

между гостями лишних бревен, как говорится, то есть лишних людей, то, без сомнения, общее удовольствие было бы гораздо теплее, живее и выразилось бы с большей искренностью.

Никого так не любил и не уважал Шишков, как Николая Семеныча Мордвинова. Его справедливые и очень смело высказываемые мнения, подаваемые им иногда в Государственном совете против единогласных решений всех членов, — в богатом переплете с золотым обрезом, с собственноручною надписью Шишкова: «Золотые голоса Мордвинова», — постоянно лежали на письменном столе у дяди в кабинете. Оба были моряки, и тесная дружба соединяла их издавна. Всем известно, что Николай Семеныч Мордвинов был замечательным и достойным уважения сановником. Некоторые из сослуживцев его не любили и даже распускали на его счет разные нелепые клеветы; но в обществе, где он был необыкновенно любезен, его любили и глубоко уважали все. Его старческая красота и благодушная ласковость в обращении имели в себе что-то обязательное. У каждого, с

кем говорил Мордвинов, выразалось на лице удовольствии. При всяком случае, особенно после спектаклей, он говорил мне несколько любезных слов, и они долго и приятно отзывались у меня в сердце. Он имел привилегию целовать в губы знакомых дам и девиц, и я помню, что они весьма дорожили его поцелуями.

Этот спектакль оставил надолго приятное воспоминание в небольшом круге добрых знакомых и друзей хозяина; недоброжелатели Шишкова, разумеется, смеялись над всем. Вообще Александр Семеныч и его добрая, достопочтенная, но не аристократичная супруга служили предметом насмешек для всех зубоскалов, которые потешали публику нелепыми о них рассказами. Исключительный образ мыслей Шишкова, его резкие и грубые выходы против настоящей жизни общества, а главное против французского направления — очень не нравились большинству высшей публики, и всякий, кто осмеивал этого старовера и славянофила, имел верный успех в модном свете. Впрочем, надо признаться, что Шишков был находка, клад для насмешни-

ков: его крайняя рассеянность, невероятная забывчивость и неузнавание людей самых коротких, несмотря на хорошее зрение, его постоянное устремление мысли на любимые свои предметы служили неиссякаемым источником для разных анекдотов, истинных и выдуманных. Рассказывали, будто он на серьезный вопрос одного государственного сановника отвечал текстом из священного писания и цитатами из какой-то старинной рукописи, которая тогда исключительно его занимала; будто он не узнавал своей жены и говорил с нею иногда, как с посторонней женщиной, а чужих жен принимал за свою Дарью Алексевну. Я не считаю, впрочем, этого невозможным, потому что сам был свидетелем вот какого случая.

Наступил день, или, лучше сказать, ночь, назначенная для сожжения великолепного фейерверка, какого давно не видали в Петербурге, а многие говорили, что никогда такого и не бывало. Его устроили на судах, расположенных на якорях вдоль по Неве, против Зимнего дворца. Шишков имел небольшую, человек на двадцать галерею, или балкон, в

Адмиралтействе, откуда почти так же хорошо было смотреть, как из дворца. Хотя тетка посердилась, что дядя не умел себе вытребовать лучшего помещения, но делать было нечего; она взяла свои меры и пригласила гостей столько, сколько могло поместиться. Племянник Саша с большим нетерпением ожидал этого праздника и написал даже стихи: «Ожидание фейерверка». Всех стихов не помню, но помню, что ловкий мальчик умел приноровиться ко вкусу дяди. Вот уцелевшие у меня в памяти первые четыре стиха:

*Настал, настал желанный день!
Спешу скорее ночи тень,
Чтоб огненные чудеса
Мои узрели очеса.*

Стихи очень понравились старику. Племянник не скрывал от нас, что написал такие вирши только для того, чтоб угодить дяде. Подраставший Саша начинал понимать Александра Семеныча и, когда хотел, умел подделываться к нему. Вся наша компания, которую бог знает почему Кикин называл Цизальпинской республикой, то есть я с братом и Казначеев с мнимыми родственниками, обе-

дали в день фейерверка у Шишковых; вечером, вместе с ними, отправились в Адмиралтейство и заняли благополучно свою галерею. Но увы! все предосторожности тетки не послужили ни к чему: званые гости съехались, но вслед за ними стали являться незваные; Шишков не умел отказывать, и скоро стало так тесно, что мы едва лепились на лестнице, нарочно приделанной с наружной стороны здания. Фейерверк уже начался, как приехала одна дама, очень уважаемая Шишковыми, заранее ими приглашенная, но опоздавшая. Пробриться сквозь толпу, стоявшую даже около лестницы, а потом взойти на лестницу — не было никакой возможности. Узнав об этом, Шишков сошел вниз, чтоб провести гостью; кое-как он сошел с лестницы, но не только провести даму — он сам уже не мог воротиться назад. Шишков успокоился невозможностью и пустился в разговоры с своей гостьей... о чем бы вы думали? о том, что весьма смешно толкаться и лезть в тесноту, чтоб посмотреть на огненные потехи, и что нелепо подражать французским модам и одеваться легко, когда на дворе стужа (а дама бы-

ла очень легко одета). Собеседница бесилась, посылала мысленно к черту старого дурака славянофила (как она после сама рассказывала), но должна была из учтивости слушать его неуместные рассуждения; наконец, терпение ее лопнуло, и она уехала домой. Шишков, оставшись один, попытался взойти на галерею, но на второй ступеньке стоял широкоплечий полковник Карбонье, который на все просьбы и убеждения старика посторониться не обращал никакого внимания, как будто ничего не слышал, хотя очень хорошо слышал и знал Шишкова. Наконец, мы услышали его голос и все четверо, пустив в авангард десятивершкового Хвощинского, бросились на выручку дяди, успели пробиться и взвели его на лестницу. Он не видал половины фейерверка; но всего забавнее было то, что он не узнал нас и нам же рассказывал на другой день, что «спасибо каким-то добрым людям, которые протащили его наверх» и что «без них он бы иззяб и ничего бы не видал». Эти добрые люди были Казначеев и я.

Дядя вообще был не ласков в обращении, и я не слыхивал, чтоб он сказал кому-нибудь из

домашних любезное, приветливое слово; но с попугаем своим, из породы какаду, с своим Попинькой, он был так нежен, так детски болтлив, называл его такими ласкательными именами, дразнил, целовал, играл с ним, что окружающие иногда не могли удержаться от смеха, особенно потому, что Шишков с попугаем и Шишков во всякое другое время — были совершенно непохожи один на другого. Случалось, что, уезжая куда-нибудь по самому нужнейшему делу и проходя мимо клетки попугая, которая стояла в маленькой столовой, он останавливался, начинал его ласкать и говорить с ним; забывал самому нужнейшее дело и пропускал назначенное для него время, а потому в экстренных случаях тетка провожала его от кабинета до выхода из передней. Впрочем, Шишков был всегда страстный охотник кормить птиц, и, где бы он ни жил, стаи голубей всегда собирались к его окнам. Всякое утро он кормил их сам, для чего по зимам у него была сделана форточка в нижнем стекле. Эта забава не покидала его и в чужих краях. В 1813 и 1814 годах, таскаясь по Германии вслед за главной квартирой государя и

очень часто боясь попасться в руки французам, Шишков нередко живал, иногда очень подолгу, в немецких городках. С первого дня он начинал прикармливать голубей и приманивал их со всего города к окнам своей квартиры. Впоследствии, даже слепой, он выставлял корм в назначенное время ощупью на дощечку, прикрепленную к форточке, и наслаждался шумом от крыльев налетающих со всех сторон голубей и стуком их носов, клюющих хлебные зерна. Я сам бывал свидетелем этого поистине умирительного зрелища.

Здесь кстати рассказать забавный анекдот и пример рассеянности Александра Семеныча, который случился, впрочем, несколько позднее. Я пришел один раз обедать к Шишковым, когда уже все сидели за столом. Мне сказали, что дядя обедает в гостях и что он одевается. Я сел за стол, и через несколько минут Александр Семеныч вышел из кабинета во всем параде, то есть в мундире и в ленте; увидев меня, он сказал: «Кабы знал, что ты придешь, — отказался бы сегодня обедать у Бакуниных».[42]

Я просиял от радости, а тетка поучительно и строго возразила: «Все пустое, Сергей Тимофеич обедает у нас три раза в неделю, а тебя насилу дозвались Бакунины; я думаю, ты уже с год у них не обедал, сегодня же старший сын у них именинник...» и дядя смиренно побрел в переднюю. Минут через двадцать, только что мы хотели встать из-за стола, как вдруг является дядя. Все удивились. «Что с тобой?» — спросила тетка. «Вообразите, — отвечал Александр Семеныч, — приезжаю, а они уже почти отобедали и назвали таких гостей, с которыми я даже не кланяюсь: господ N. N. и N. N. Дайте мне чего-нибудь поесть». Он сейчас очень проворно переделся и сел за стол. Тетка с дамами, племянниками и молодыми людьми встали, а мы с Казначеевым остались: есть дяде решительно было нечего. Между тем тетка сейчас воротилась из гостиной и, сказав мимоходом своему супругу: «Это какой-нибудь вздор; никогда у Бакуниных не бывают N. N. и N. N; и могут ли Бакунины позвать вместе с тобой людей, которые тебя терпеть не могут», — отправилась в переднюю и начала свои розыски. По следствию оказа-

лось, что дядя, садясь в карету, вместо Бакуниных приказал ехать к Воронцовым, у которых он никогда не бывал. Ничего не замечая, он вошел в переднюю, где официант доложил ему, что господа почти откушали и скоро встанут из-за стола. Шишков удивился и, проворчав: «Да как же это, звали меня, да не подождали», спросил: «Кто здесь?» Официант назвал ему N. N. и N. N. Дядя еще больше удивился и уехал домой. Тетка раскричалась, хотела было опять одеть своего супруга и отправить к Бакуниным; но дядя на этот раз уперся и, встав из-за стола, разумеется, совершенно голодный, сказал, «что он уже пообедал» — и пригласил нас с Казначеевым в кабинет, обещая прочесть что-то новое. Тетка еще больше расшумелась... тут досталось и славянским наречиям, которыми всегда набита голова Александра Семеныча, и нам с Казначеевым, которые из угождения толкуют с ним об этих пустяках, для чтения которых он не хочет ехать к Бакуниным, где, наверное, не обедают и ждут дорогого гостя. В заключение она прибавила, что теперь бог знает что подумают все их друзья и враги, узнав об этом самом

неприличном посещении. «Да как в голову пришли тебе Воронцовы?» — «Да черт знает как: я об них и не думал», — отвечал дядя и увел нас в кабинет, где и прочел нам мысли о русском правописании, против которых мы отчасти возражали. Все это напечатано в 1811 году в числе «Разговоров о словесности». Тетка принуждена была написать к Бакуниным, что по таким-то причинам муж ее к ним сегодня не будет. В самом деле, посещение Шишкова, как нарочно сделанное не вовремя и некстати, произвело много недоумений и толков, потому что он приезжал к своему первому ожесточенному противнику, известному по своей особенной дружбе с французским посланником, а посланник недавно жаловался государю на печатные враждебные и оскорбительные выходки Шишкова против французов. Итак, посещение Александра Семеныча получило особое значение. Воронцов, подумав, что Шишков приезжал для каких-нибудь объяснений, счел за долг на другой день отдать ему визит: свидание было презабавное. Скоро дело объяснилось и, украшенное добрыми людьми, долго занимало и

потешало городскую публику.

Не знаю за что, но император Павел I любил Шишкова; он сделал его генерал-адъютантом, что весьма не шло к его фигуре и над чем все тогда смеялись, особенно потому, что Шишков во всю свою жизнь не ездил верхом и боялся даже лошадей; при первом случае, когда Шишкову как дежурному генерал-адъютанту пришлось сопровождать государя верхом, он объявил, что не умеет и боится сесть на лошадь. Это не помешало, однако, императору Павлу I подарить Шишкову триста душ в Тверской губернии. Александр Семеныч, владея ими уже более десяти лет, не брал с них ни копейки оброка. Многие из крестьян жили в Петербурге на заработках; они знали, что барин получал жалованье небольшое и жил слишком небогато. Разумеется, возвращаясь на побывку в деревню, они рассказывали про барина в своих семействах. Год случился неурожайный, и в Петербурге сделалась во всем большая дороговизна. В один день, поутру, докладывают Александру Семенычу, что к нему пришли его крестьяне и желают с ним переговорить. Он не хотел от-

рывать от своего дела и велел им идти к барыне; но крестьяне непременно хотели видеть его самого, и он нашелся принужденным выйти в переднюю. Это были выборные от всего села; поклонясь в ноги, несмотря на запрещение барина, один из них сказал, что «на мирской сходке положили и приказали им ехать к барину в Питер и сказать: что не берешь-де ты с нас, вот уже десять лет, никакого оброку и живешь одним царским жалованьем, что теперь в Питере дороговизна и жить тебе с семейством трудно; а потому не угодно ли тебе положить на нас за прежние льготные годы хоть по тысяче рублей, а впредь будем мы платить оброк, какой ты сам положишь; что мы, по твоей милости, слава богу, живем не бедно, и от оброка не разоримся». Услыхав такие речи, дядя пришел в неописанное восхищение, или, лучше сказать, умиление, не столько от честного, добросовестного поступка своих крестьян, как от того, что речи их, которые он немедленно записал, были очень похожи на язык старинных грамот. Дядя сейчас послал за Казначеевым и за мною. Нас не застали дома, и мы

явились к нему уже после обеда. Старик еще не простыл и с несвойственным ему даже наружным жаром и волнением рассказал нам все происшествие и прочел записанные речи. «Вы, пожалуй, подумаете, что я пораскрасил их слова, — прибавил он, — ну так слушайте сами». Крестьян позвали, и дядя заставил их рассказать вновь все, сказанное ему поутру. Крестьяне повиновались, и речи их (они говорили оба) оказались очень сходными с теми словами, которые записал Шишков. Он спросил их кой о чем, подтвердил, чтоб их хорошенько угощали, и обещал на другой день написать письмо и отпустить домой. Он показывал своих крестьян Мордвинову и Кикину и заставлял повторять те же речи; но мне и Казначееву это не нравилось, и мы уговорили дядю никому более своих крестьян не показывать и отпустить поскорее домой. На третий день Шишков написал письмо, которого я не читал, но содержание которого состояло в том, что помещик благодарил весь мир за усердие, объявил, что надобности в деньгах, по милости царской, не имеет, и обещал, что когда ему понадобятся деньги, то ни у кого,

кроме своих крестьян, денег не попросит. Выборных и дядя и тетка угощали по горло, чем-то подарили, облобызали и отпустили. Мы с Казначеевым были в восторге, но многие, в том числе и Дарья Алексевна, даже Мордвинов, находили такое бессребренничество излишним и неуместным. «Почему бы не положить, — говорили они, — легкий оброк, ничего не значащий для крестьян, когда сам помещик нередко нуждается в деньгах и часто не имеет свободного рубля, чтоб помочь бедному человеку? Да и за что же все другие крестьяне или работают на господина, или дают ему оброк, или платят двойные подушные, как казенные крестьяне, а эти ничего не делают? Это несправедливо, это должно производить ропот между соседними крестьянами» и проч. и проч. Без сомнения, все это правда; но я полюбил Шишкова еще больше.[43]

Все, что я говорил и буду говорить о Шишкове, обнимает пространство времени с конца 1808 до половины 1811 года; все происходило точно тогда, но я не ручаюсь за хронологическую верность и последовательность рас-

сказываемого мною. Мне потому именно вздумалось теперь оговориться, что я никак не могу отыскать настоящего времени, когда приезжала крестьянская депутация, сейчас описанная мною.

Шишков обыкновенно вставал поутру часов в семь зимою и в шесть — летом. Он прямо из спальни отправлялся в кабинет и не выходил из него (кроме двух присутственных дней в Адмиралтейском совете) до половины четвертого, если обедал дома, и до четырех часов, если обедал в гостях. После обеда немного дремал, сидя в креслах в своем кабинете, и потом что-нибудь читал до отъезда в клуб или в гости. Работая постоянно часов по восьми в сутки, он исписал громадные кипы бумаги. Я помню, что и та книга, в которую он вписывал слова малоизвестные и вышедшие из употребления, попадавшие ему в книгах священного писания, вообще в книгах духовного содержания, в летописях и рукописях, — что эта, так сказать, записная книга была ужасающей величины и толщины. Без преувеличенья можно сказать, что исписанных им книг и бумаг, находившихся в его кабинете-

те, нельзя было увезти на одном возу; но, кажется, многие его ученые труды после его кончины, а может быть, еще и при жизни, которая долго тлелась в его уже недвижимом теле, погибли без следа. Толстая книга и две тетради, писанные рукою Шишкова, через месяц после его смерти были случайно куплены сыном моим на Апраксинском рынке, где продают книги и рукописи на рогожках: это был «Корнеслов» и «Сравнительный словарь» славянских наречий. Продавец знал, что продает, и сам сказал моему сыну, что рукописи принадлежат Александру Семенычу Шишкову, писаны им самим и что он купил в его доме все книги и бумаги, оставшиеся после покойного. Я не знаю, соблюдалась ли правильная система в работах Шишкова, и не умею определить, до какой степени были важны его труды; но что он трудился много, добросовестно и благонамеренно — в этом не может быть никакого сомнения. Важность его ученых заслуг по морской части признавалась тогда всеми, и я слышал, что недоброжелатели Шишкова отдавали ему в этом случае полную справедливость. Кроме ученых занятий

и русской литературы, Александр Семеныч любил итальянских поэтов. Он перевел «Тассовы ночи» и назвал их «Бдениями». Перевод тяжел, но не лишен чувства и силы. Александр Семеныч сам превосходно читал его, одушевленно и драматично, и не раз приводил меня в изумление. Я, будучи страстным охотником читать, то есть выражать внешним образом чувства другого, перечувствованные собственной душою, и находивший в этом неизъяснимое наслаждение, — я сам много трудился над «Бдениями Тасса». Я знал эту тяжелую прозу почти наизусть, и хотя все хвалили меня, но мне казалось, что дядя лучше, проще, вернее моего выражает тоскливый бред полупомешанного поэта. Я помню также небольшую книжку мелких стихотворений и переводов в стихах Александра Семеныча, которую знали только самые короткие и домашние люди. Там находилась даже не совсем приличная и грубая эпиграмма на французов. Легкостью и остроумием грех было поклепать дядю; это было не его дело. Я помню одно сатирическое послание к Александру Семенычу Хвостову, где в каждом куп-

лете осмеивался кто-нибудь из знакомых людей противного образа мыслей и жизни. Вот один уцелевший как-то в моей памяти куплет:

*Реши, Хвостов, задачу:
Я шел гулять на дачу,
Туда же и Глупон;
Весь в блесках, в злате он,
С лорнетом при зенице,
С массой д'Еркюль в деснице... *
Жеманится, кривится,
Зовет меня с собой.
Не лучше ль воротиться
Отселе мне домой?[44]*

Между тем на следующую зиму состоялись у нас еще два спектакля. Были сыграны пьесы: комедия «Береговое право» Коцебу и «Театральное предприятие», комедия в стихах Ефимьева; названий других двух небольших пьес не помню. Комедия Ефимьева состояла из двух лиц: одного, пожилого господина, затевающего устроить театр, и другого, молодого человека, который, чтоб отвратить первого — своего хорошего приятеля — от этого предприятия, является, для определения в ак-

теры, в разных видах и костюмах: дразнит и дурачит бедного антрепренера и, наконец, поселяет в нем отвращение к театру. Я играл любителя театра, а роль переодевающегося семь раз приятеля играл П. Н. Семенов, бывший тогда подпрапорщиком в Измайловском полку, которого я нарочно для этого спектакля познакомил с домом Шишковых. Он был большой мастер передразнивать всякие карикатурные личности, и вся наша публика много смеялась от его игры. Моя роль была самая бесцветная, однообразная, нужная только для того, чтоб мог выказываться талант моего товарища; но нашлись ценители, которые говорили, что я в этой роли показал больше искусства, чем в прежних ролях. В одной сцене, где Семенов представлял толстяка, желавшего определиться в актеры, нижние пуговицы камзола у него расстегнулись, и угол подушки, из которой состояло брюхо, высунулся. Семенов смутился, но я взял его за руку, повернул к зрителям боком, закрыл собою, импровизировал какой-то вздор стихами, застегнул камзол Семенову, даже сказал ему следующую, забытую им реплику, потому что имел

привычку знать наизусть пиесу, в которой играю, — и пиеса сошла благополучно. Зрители наградили меня за присутствие духа громким и продолжительным рукоплесканием. Дядя очень смеялся и после спектакля сказал мне: «Ну, брат, ты точно родился на сцене: это твой дом».

Кажется, в этот же вечер случилось происшествие, за которое долго бранили дядю; да и нам с Казначеевым досталось от тетки, ибо мы были признаны соучастниками и пособниками Александра Семеныча. Происшествие состояло вот в чем: я уже упоминал о девице Марье Ардальоновне Турсуковой, которая с прекрасной наружностью соединяла светскую любезность, в хорошем значении этого слова, и образованность. Старик Шишков очень ее любил, но в настоящее время он был несколько сердит на нее за то, что она отказала Петру Андреичу Кикину, за которого, впрочем, чрез несколько лет вышла замуж. У Турсуковой был великолепный рисовальный альбом, в котором находилось множество рисунков, замечательных по собственному достоинству и по именам европейских и петер-

бургских знаменитостей и дилетантов живописи. Не знаю, попадался ли прежде на глаза дяде этот альбом, только я и Казначеев, рассматривая его в первый раз на столе в гостиной, увидели, что под всеми рисунками, рисованными русскими художниками и любителями, имена подписаны по-французски, равно как имя и фамилия самой Турсуковой. Нам показалось досадно, и мы навели дядю на то, чтоб он стал рассматривать альбом; а чтоб он не проглядел подписей, я указал ему имя известного русского живописца, подписанное по-французски, и сказал Казначееву вполголоса, но так, чтоб дядя слышал: «Какой позор! русский художник рисует для русской девушки и не смеет или стыдится подписать свою фамилию русскими буквами, да и как исковеркал бедное свое имя!» Казначеев отвечал мне в том же тоне, и дядя воспламенился гневом: начал бранить Турсукову, рисовальщиков, общество и пробормотал: «Жаль, что нет чернильницы и пера; я переправил бы их имена по-русски». В одну минуту я принес чернильницу с пером, и дядя широкою, густою чертою вымарал французскую подпись

и крупными русскими буквами, полууставом, подписал под ней имя и фамилию рисовавшего живописца: кажется, первый попался Кипренский. Дело было начато. Дядя расхотелся и, сказав: «Да их надо все переправить», взял альбом и унес к себе в кабинет. Гости, из мужчин постарше, все уже разъехались, остальные были заняты между собой, никто не обращал на нас внимания и никто не заметил наших проделок. Через полчаса дядя кончил свою работу и отделал альбом на славу: все имена и фамилии русских были зачеркнуты старательно, широко, крепко, неопратно — и написаны по-русски, а сверх того на первой белой странице явились следующие стихи:

М. А. ТУРСУКОВОЙ

*Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала,
Ты честь-хвала отцу, матери,
Сухота сердцу молодецкому.*

Александр Шишков.

Внизу поставил год и число. Альбом вложили в футляр, завернули и положили на стол, на прежнее место; никто ничего не за-

метил, и Турсукова увезла альбом домой. Подвиг дяди открылся не вдруг. Мы все трое, разумеется, молчали; но через несколько дней, пришедши, по обыкновению, к Шишковым обедать, мы нашли тетку в страшном гневе. Она получила поутру отчаянную записку от Турсуковой. Дяди не было дома, и Дарья Алексевна, очень любившая Турсукову (а она умела любить горячо, несмотря на наружную холодность), сейчас к ней поехала, и что же она там нашла? — Великолепнейший альбом, объехавший всю Европу и лично собравший на свои страницы искусные черты и славные имена артистов с их почерками, чтимый и хранимый благоговеино, которым гордилась владельница, как будто заслугой, — испачкан, измаран, исписан варварскими и неуклюжими буквами, потому что почерк дяди был вовсе не каллиграфический! Турсукову она нашла в слезах, почти больною; отца, нежно любившего единственную дочь, — огорченным и расстроенным. Можно себе представить, как встретила Дарья Алексевна своего супруга, когда он воротился из Адмиралтейства! Но что с ним станешь делать? На

все упреки и обвинения он спокойно и даже с улыбкою отвечал, что «ему так следовало поступить, что стыдно русской барышне подписывать свое имя по-французски и тем заставлять других подписывать так же, что это срам и позор, что он очень рад, если Марья Ардальоновна плачет: пускай чувствует наказание за вину, пускай исправится...» и проч., а затем ушел в кабинет, занялся славянским корнесловием и скоро забыл Турсукову, альбом и раздраженную свою супругу. В самый разгар грозы попался я с Казначеевым: гнев тетки, отскочив от невозмутимого спокойствия дяди, как мячик от стены, разразился на нас. Тетка еще до нашего прихода выпросила искусно все у старика и поняла, что это наше дело. Она так отделала нас с Казначеевым, что мы ушли от обеда и не приходили ровно десять дней. Первые дни Шишкову как будто не доставало нас; каждый раз за обедом он спрашивал: «Да где же Аксаков с Казначеевым?» Может быть, ему отвечали что-нибудь, а может быть, и ничего не отвечали — это было все равно; через неделю он привык к нашему отсутствию и даже перестал об нас

спрашивать. Но тетка в глубине души была предобрая женщина. Она любила нас обоих, как родных: ей грустно было не видеться с нами и, может быть, даже совестно, что она слишком нас оскорбила. Она написала записку к Казначееву, звала его и меня и прибавила, что все прошедшее забыто. Мы пришли, и Дарья Алексевна искренно, со слезами, помирилась с нами и даже обняла нас обоих; тут я только увидел, что она и меня очень любит. Обращаюсь к альбому: в Петербурге не нашлось тогда искусника, который взялся бы вывести все черты, полосы и пятна, сделанные Шишковым, но нашелся француз, который взялся поправить дело в Париже. Альбом отправили туда к какому-то химику, и чрез несколько месяцев измаранные листы воротились чистыми и подписи были восстановлены по возможности в прежнем виде. Лист со стихами, написанными Шишковым, остался неприкосновенным, и его в Париж не посылали.

Спектаклей у Шишковых более при мне не было. Раз в неделю, не помню именно в какой день, собирались у Александра Семеныча то-

гдашние литераторы и кое-что читали. Сначала эти собрания были малочисленны. Постоянными посетителями были: Гаврила Романыч Державин, Иван Иванович Дмитриев (тогдашний министр юстиции), князь С. Шихматов, граф Дмитрий Иванович Хвостов, Александр Семеныч Хвостов и князь Александр Александрович Шаховской. Приезжали иногда, как простые посетители и дилетанты, Николай Семеныч Мордвинов, Михаил Михайлыч Бакунин, граф Строганов и А. Н. Оленин. Видел я также раза два сидевшего в уголку с подобострастием семеновского полковника А. А. Писарева. Впоследствии стали ездить П. А. Кикин, князь Платон Шихматов, Николай Иванович Гнедич, сенатор Захаров, Висковатов, Стурдза, князь Горчаков, Станевич, П. Ю. Львов (сочинитель Храма славы русских героев) и Гераков. В первую половину зимы 1811 года родилась и образовалась мысль составить «Беседу русского слова», которая и была приведена в исполнение. Я, так же как и Писарев, смиренно сживал иногда в углу большой гостиной безмолвным слушателем того, что читалось и говорилось в этих собраниях.

По совести должен я сказать, что ничего замечательного не происходило и даже тогдашним моим понятиям не удовлетворяло. Что бы кто ни прочел — все остальные говорили одни пошлые комплименты; критические замечания были еще пошлее. Только иногда горячился и бормотал князь Шаховской да отпускал злые эпиграммы в виде похвал Алекс. Сем. Хвостов на своего однофамильца графа Хвостова, который принимал их за наличную монету. Помню я одну его наивную выходку, которая заставила всех долго смеяться. Читал какую-то свою пиесу в прозе Станевич; по окончании чтения Шишков и кто-то другой стали его хвалить; вдруг граф Хвостов встал с кресел, подошел к Державину, потрепал его по плечу и сказал: «Нет, Гаврила Романыч, он не наш брат, а их брат» — и указал на Александра Семеныча Шишкова и П. Ю. Львова. Все захохотали, хотя не вдруг поняли. Граф Хвостов хотел сказать, что Станевич не лирик, а прозаик и критик.

Шишков не был увлечен и обольщен блистательным успехом трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Он превозносил преуве-

личными похвалами «Эдипа в Афинах» и даже «Фингала», но ожесточенно нападал на «Дмитрия Донского». Шишков принимал за личную обиду искажение характера славного героя Куликовской битвы, искажение старинных нравов, русской истории и высокого слога. Всего более сердили его слова Донского, которыми он описывает, как увидел в первый раз Ксению в церкви:

*Исчезли в мыслях храм, останки
те нетленны,
Пред коими и дочь и мать пре-
клоненны,
Молили пременить на милость
гнев небес.*

«Хорош великий князь Московский! — говорил Шишков. — Увидав красивую девицу в Успенском соборе, невзвидел святых мощей и забыл о них. Можно ли написать такую дичь о русском великом князе, жившем за четыреста лет до нас?» Не менее сердили его слова Дмитрия, который в оправдание своей любви говорит Брянскому:

*Не осуждай ее: она счастливый
дар;*

*Она произвела сей доблественный
жар,
С которым я стремлюсь отече-
ство избавить,
Свободу возвратить и мой народ
прославить.*

Александр Семеныч выходил из себя от гнева и говорил: «Спасибо хоть Брянскому, который возражает Дмитрию: ах, какой же ты подлец!» Шишков очень глумился над словами Ксении, которая говорит Тверскому:

*Обещана тебе еще в такие годы,
Как выходила я едва из рук приро-
ды, —*

и требовал от сочинителя, чтоб он назначил то время, когда человек выходит из рук природы. Справедливость, однако, требует сказать, что некоторые стихи Шишков называл достойными Корнеля и Расина, например:

*Мой долг: в день мира суд и муже-
ство в день брани,*

или:

В сраженье смерть найду, но

*смерть завидну, славу
И предпочтительну той жизни,
костей стыд
Побега вашего по гроб обременит.*

Само собою разумеется, что Шишков не мог примириться с влюбленностью Димитрия и с приездом Ксении в воинский стан, как будто для бракосочетания с Тверским, а в самом деле для того, чтобы сказать ему, в присутствии всех русских князей, что она за него идти не хочет, но идет в монастырь. Шишков не удовольствовался словесною критикою: он велел переплесть трагедию с белыми листами и все исписал их собственною рукою, самым мелким почерком, каким только мог писать. Он читал один раз при мне свои замечания Мордвинову, А. С. Хвостову, Кикину и другим. Все слушатели очень смеялись. В самом деле, многие полемические выходки дяди, даже не совсем приличные, были очень забавны. Разумеется, Шишков заходил слишком далеко и утверждал, что, кроме некоторых блестящих стихов, язык у Озерова хуже, чем у Сумарокова, и в доказательство приводил, разумеется, весьма плохие стихи из «Ди-

митрия Донского», как, например, следующие:

*Пускай все воинство и вся Россия
пусть
Познают, коль хотят, любовь
мою и грусть!
Лишь Ксения признать любви сей
не хотела,
Всей горести моей она не пожале-
ла,*

или когда Ксения говорит:

*Когда Димитрия сие мне сердце
страстно
Не престаёт являть повсюду и
всечасно.*

Или:

*Ах, нет: до днесь еще толь мрач-
ные печали, и проч.*

Для большего эффекта, после таких стихов, Александр Семеныч щеголял стихами Сумарокова из трагедии «Семира».

*Иду отечества к преславной обо-
роне:
Ты будешь зреть меня иль мерт-*

ва, иль в короне.

Относительно языка у Шишкова много было натяжек и пустых придировок к мелочам. Я этому не удивлялся, потому что Александр Семеныч бывал пристрастен как в похвалах, так и в порицаниях; но вот что всегда меня удивляло: разобрав весьма справедливо, и даже иногда очень тонко, неправильность, неприличность выражения, несогласие его с духом языка, он вдруг приводил в пример стихи из Сумарокова, которые были гораздо хуже тех, на которые он нападал. Что же касается до исторической драмы, до характеров действующих лиц, то все его замечания были совершенно справедливы. Я сделал себе точно такую же книжку с белыми листами и, с позволения Александра Семеныча, списал все его заметки. К сожалению, уезжая из Петербурга, я оставил эту книжку у Шушерина, который желал списать ее для себя, а Шушерин, во время переезда из Петербурга в Москву, как-то потерял ее. К этому должно прибавить, что в конце 1815 года или в начале 1816-го я слышал в Москве, как профессор Мерзляков разбирал «Димитрия Донского» с кафедры на

публичной лекции — и был поражен изумлением: Мерзляков почти во всех своих критических замечаниях совершенно сходил с Шишковым. Я немедленно сказал об этом знаменитому тогда критику и даже сообщил ему некоторые полемические заметки Шишкова, тогда еще хранившиеся в моей памяти. Мерзляков очень забавлялся и заинтересовался ими и убедительно просил меня как-нибудь отыскать этот любопытный разбор; но я вскоре уехал на десять лет в деревню, и книжка была забыта.

Летом 1811 года я уехал из Петербурга в Оренбургскую губернию, и с этого времени прекратились мои частые и близкие сношения с домом Шишковых. Я приезжал в Петербург уже, так сказать, на побывку. Наступила вечно памятная эпоха 1812 года, и с удивлением узнал я, что Александр Семеныч был сделан государственным секретарем на место Михаила Михайловича Сперанского. Нисколько не позволяя себе судить, на своем ли он был месте, я скажу только, что в Москве и в других внутренних губерниях России, в ко-

торых мне случилось в то время быть, все были обрадованы назначением Шишкова и что писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей.

В 1814 году я приехал в Петербург. Александр Семеныч только что воротился из чужих краев. Он жил уже не в прежнем своем скромном домике на Форштатской улице, а в великолепной казенной квартире против дворца. Образ жизни его изменился; ученые филологические труды прекратились; другие люди стали посещать его; другие мысли и заботы наполняли его ум и душу, и живое воспоминание только что разыгранной исполинской драмы, в которой сам он был важным действующим лицом и двигателем народного духа святой Руси, — подавило его прежние интересы; но он встретил меня и брата с прежним радушием и с видимым удовольствием; Дарья Алексевна — также. Перемена в общественном положении не произвела в

них никакой перемены. Много наслушался я рассказов любопытных и поучительных, но рассказам этим здесь не место. Впрочем, некоторая часть слышанного мною напечатана в собственных записках Шишкова. Мы бывали у Шишковых не так часто, как прежде, но непременно всякую неделю.

В это время ходила по Петербургу пародия известного стихотворения Жуковского «Певец в стане русских воинов», написанная на Шишкова и на всю вообще «Беседу русского слова». Один раз племянник Александра Семеныча, Саша Шишков, быв со мной в кабинете у дяди, сказал мне на ухо: «Если б дядя знал, что у меня в кармане!» — «Что же у тебя такое?» — спросил я. — «Пародия на дядю, и на всю Беседу, написанная Батюшковым».[45]

Старик Шишков был занят чем-то другим. Я пробежал пародию и положил в карман, сказав Саше, что я прочту ее дяде, который выслушает ее с удовольствием. Саша умолял меня не делать этого, но я не послушал и, обратившись к Александру Семенычу, сказал: «Знаете ли вы, что по Петербургу ходит пародия».

дия «Певца в стане русских воинов» на вас и на всех членов Беседы?» — «Нет, не знаю. Да хороша ли?» — «Все хвалят, — сказал я, — хотите, я вам прочту?» — «Прочти, пожалуйста». И я при всех, кто были в кабинете, торжественно прочел пародию. Александр Семенович был очень доволен, улыбался и, когда я кончил, сказал: «Это забавно. Дайте мне, пожалуйста, список». Саша очень струсил, что я отдам тот, по которому читал, написанный его рукою, но я вывел его из затруднения, отдав ему список и сказав: «Саша вам спишет». Из этой баллады уцелели в моей памяти следующие стихи:

*Да здравствует Беседы царь!
Цвети твоя держава!
Бумажный трон твой — наш алтарь,
Пред ним обет наш — слава!
Не изменим, мы от отцов
Прияли глупость с кровью.
Сумбур! Здесь сонм твоих сынов,
К тебе горим любовью.
Наш каждый писарь — славянин,
Галиматьею дышит;
Бежит предатель их дружин*

И галлицизмы пишет.

Вот конец куплета, непосредственно относившегося к Александру Семенычу, а начала не помню:

*Ошую пусть сидит с тобой
Осьмое чудо света,
Твой сын, наперсник и клевет
Шихматов безглагольный. *
Как ты, славян краса и цвет,
Как ты, собой довольный.[46]*

В начале 1815 года семейные обстоятельства внезапно вызвали меня из Петербурга. Оставя брата жить у полковника Мартынова и поручив его вниманию и участию Шишковых, я поскакал сломя голову в Вятскую, а потом в Оренбургскую губернию. С 1807 года я не расставался с братом, и это была первая разлука.

В 1816 году я приезжал из Москвы, где тогда жило все наше семейство, на три месяца в Петербург собственно затем, чтоб взглянуть на брата: я нашел его любимцем обоих Шишковых. Эти три месяца я был совершенно по-

глощен неожиданным знакомством с Державиным, знакомством, в несколько дней сделавшимся близким и душевным, навсегда сохранившим для меня великое значение. С Александром Семенычем я видался редко, за что он мне даже пенял.

Здесь следует огромный промежуток времени: я женился и уехал на десять лет в Оренбургскую деревню. Я переехал на житье в Москву в 1826 году, во время коронации, и нашел в Москве Шишкова уже министром народного просвещения. Много совершилось перемен в это десятилетие! Доброй, истинно доброй и достойной уважения Дарьи Алексевны Шишковой — уже не было на свете. Бог послал ей страдальческую кончину. Александр Семеныч, имея нужду в няньке, как сам говорил мне, женился, несмотря на свои преклонные лета и хворость, на полячке и католичке, Ю. О. Лобаршевской, к общему удивлению и огорчению всех близких к нему людей. В Москве, так же как и прежде, Шишков встретил меня с неизменным радушием и ласкою. Не выдавши меня десять лет, он

очень мне обрадовался, расспрашивал меня обо всех подробностях деревенской жизни, обо всем, что я делал; удивлялся, как я мог прожить в такой глуши десять лет, и, выслушав внимательно мои причины, мою цель, простодушно мне сказал: «Ну, брат, я тебя еще больше уважаю и скажу тебе правду, что ты в деревне не одичал и не поглупел». Рассказывая откровенно Шишкову мои обстоятельства, я говорил ему, что мне нужно место в Москве с порядочным жалованьем. Я говорил в то же время о новом особом цензурном комитете в Москве, о хорошем цензорском жалованье и спрашивал, кого он имеет в виду для занятия этих мест? Недогадливость Шишкова осталась прежняя. Он отвечал мне, что охотников и просьб об них много, но сам он еще не выбрал никого; так мы и расстались. Делать было нечего. Дня через два я опять приехал к нему и спросил его прямо: «Не могу ли я занять место цензора?» Шишков был очень рад и отвечал мне: «Почему же нет? Лучшего цензора я желать не могу. В твоих правилах я уверен, как в моих собственных...» и очень удивлялся, как это ему самому

не пришло в голову. Он немедленно назначил меня цензором и уехал в Петербург.

Что касается до управления Министерством народного просвещения, то я не беру на себя судить об этом. Шишков, может быть, слишком односторонне смотрел на предметы и везде проводил свои убеждения, благие и честные в основании, но уже устаревшие, или, лучше сказать, потерявшие свою важность. Время шло быстро. Шишков не всегда это замечал и, живя в прошедшем, иногда не видел потребностей настоящего. Шишков боролся упорно, но, наконец, убедившись, что он как министр не может быть полезен, вышел в отставку.

В 1829 году я приезжал в Петербург на короткое время и виделся с Шишковым несколько раз. Здоровье его начинало слабеть. Он жаловался мне на свои глаза, говоря, что уже не может так много читать и писать, как прежде. Он оставался членом Государственного совета, президентом Российской академии и получал все прежние свои окла-

ды, следовательно мог жить в довольстве. Общество его совершенно переменялось. Шишков, заклятый враг католиков и поляков — был окружен ими. Новая супруга наводнила его дом людьми совсем другого рода, чем прежде, и я не мог равнодушно видеть почтенного Шишкова посреди разных усачей, самонадеянных и заносчивых, болтавших всякий вздор и обрацавшихся с ним слишком запросто. Хотя Шишков, по-видимому, спокойно примирился с новым своим положением, но смотреть на него было мне слишком тяжело. Я приезжал к нему всего раза три, да и все прежние знакомые стали редко к нему ездить.

В 1832 или 1833 году приезжал Александр Семеныч со своей молодой супругой в Москву, чтоб лечиться искусственными минеральными водами, которых в Петербурге еще не было. Он жил у старинных своих друзей, Бакуниных. Я нередко приходил к нему; он всегда был мне очень рад и охотно говорил о русской словесности. Я представил тогда ему моего старшего сына, который был воспитан в

чувствах уважения к Шишкову. Александр Семеныч очень его полюбил и даже обласкал, вопреки своей обыкновенной неласковости. Воды не помогли больному, уже дряхлому старику: напротив, были вредны, и он скоро уехал в Петербург. Памятником этого последнего пребывания Шишкова в Москве остался у меня одиннадцатый том Русской истории Карамзина, изданный после его смерти Д. Н. Блудовым. Шишков брал его у меня, чтоб прочесть, и сделал на полях много заметок. В это же время представил я Александру Семенычу, как президенту Русской академии, Ю. И. Венелина, книгу которого «Древние и нынешние болгаре» он знал и очень уважал. Следствием этого знакомства было путешествие Венелина в Болгарию. По предложению Шишкова Российская академия назначила Венелину три тысячи рублей ассигнациями на путевые издержки.

В 1836 году я опять ездил в Петербург. Здоровье Александра Семеныча Шишкова и особенно зрение очень ослабели, но я нашел его бодрым духовно и даже иногда веселым. Он

почти ощупью отыскивал в шкафе нужную ему книгу, доставал ее и заставлял меня кое-что прочесть вслух. В одной рукописной его книге (не помню, как она называлась) читал я, признаюсь, с предубеждением и недоверчивостью, предсказание Шишкова о будущей судьбе Европы, о всех ее революциях и безвыходных неурействах. Увы! все исполнилось и исполняется с поразительной верностью. Шишков говорил мне, что он одиннадцать лет тому назад письменно предсказал за год одно важное событие, но что тогда только смеялись над ним; да и после, когда предсказание исполнилось, никто не обратил на это внимания. Один раз вдруг вошла к нам в кабинет молодая дама или девушка, которая была необыкновенно хороша собою; Шишков был так любезен и весел с нею, что я во всю мою жизнь никогда его таким не видывал. Когда красавица ушла, Александр Семеныч со вздохом сказал мне: «Скверное, брат, положение, не могу различить прекрасной женщины от урода». Подивился я таким словам, каких никогда прежде от него не слыхивал. Не знаю почему, только вторая супруга не пока-

зывалась в кабинете Александра Семеныча: за ним ходили внимательно и нежно его родные племянницы.

В 1839 году, в ноябре, я приезжал в Петербург вместе с Гоголем. Шишков был уже совершенно слеп. Я навещал довольно часто Александра Семеныча: он был еще на ногах, но становился час от часу слабее, и жизнь, видимо, угасала в нем. Я никогда не говорил с Шишковым о Гоголе: я был совершенно убежден, что он не мог, не должен был понимать Гоголя. В это-то время бывал я свидетелем, как Александр Семеныч кормил целую стаю голубей, ощупью отворяя форточку и выставляя корм на тарелке.

Наконец, в исходе 1840 года одно печальное происшествие неожиданно вызвало меня в Петербург, и я видел в последний раз Александра Семеныча Шишкова. Это был уже труп человеческий, недвижимый и безгласный. Только близко наклонясь к нему, можно было заметить, что слабое дыхание еще не прекратилось. Мне рассказывали, что он и прежде бывал иногда в таком положении по нескольку недель, что его жизнь поддерживали, вли-

вая ему в рот раза четыре в день по несколько ложек бульона, что иногда вдруг это состояние проходило, он как будто просыпался, начинал сидеть на постели, вставать и ходить по комнате с помощью других и выезжал прокатываться. Академические заседания собирались у него в комнате. Рассказывали мне также, что один раз, во время подобного летаргического сна, когда уже никто не церемонился около него, говорили громко, шумели и ходили, как около покойника, к которому все равнодушны, вдруг вбежал камердинер и сказал довольно тихо, что государь остановился у ворот и прислал спросить о здоровье Александра Семеныча. К общему изумлению, почти испугу, в ту же минуту Шишков открыл глаза и довольно твердым голосом сказал: «Благодарю государя! Скажи ему, что мне лучше», — и впал в прежнее бесчувствие, продолжавшееся еще две недели. Вскоре по возвращении в Москву получил я известие, что отлетело последнее дыхание жизни, так долго боровшееся со смертью, что Александр Семеныч скончался.

Много несправедливого, неверного, смеш-

ного и нелепого говорило об этом человеке злоречие человеческое. Но, откинув в сторону все тонкие рассуждения о недостатках и слабостях почившего брата, нельзя не сознаться, что, проходя обширное, многозначительное поприще службы в самых трудных обстоятельствах государства, начав с Морского кадетского корпуса, где Шишков был при Екатерине учителем, дойдя до высокого места государственного секретаря, с которого он двигал духом России писанными им манифестами в 1812 году, — Шишков имел одну цель: общую пользу; но и для достижения этой святой цели никаких уступок он не делал. Никогда Шишков для себя ничего не искал, ни одному царю лично не льстил; он искренно верил, что цари от бога, и был предан всею душою царскому сану, благоговел пред ним. Шишков без всякого унижения мог поклониться в ноги своему природному царю; но стоя на коленях, он говорил: «Не делай этого, государь, это не хорошо». Убеждения Шишкова были часто ошибочны, но всегда честны. Он не выходил из круга умственных понятий своего времени, круга нередко тесного и огра-

ниченного, но не изменял своим правилам никогда. Эту твердость называли упрямством, изуверством; но боже мой, как бы я желал многим добрым людям настоящего времени поболее этого упрямства, этой горячей ревности! На литературном поприще, которое предшествовало государственному, Шишков действовал точно так же. Он восстал против победоносного могущества новизны и таланта, всех пленившего, всех увлекшего за собою, восстал, потому что считал это увлечение вредным, восстал один против несметного полчища поклонников торжествующей новизны, сильных и раздражительных; он был осмеян, унижен, ненавидим, гоним общественным мнением большинства... но он сделал свое дело. Старовер, гасильник, славянофил Шишков — открыл глаза Карамзину на вредные последствия его нововведений в русское слово. Сам благородный и добрый Карамзин говорил мне (в 1816 году), что у Александра Семеныча много гнева, много желчи, много личной к нему враждебности, а потому много и несправедливого, но есть много и правды. В деле суда и осуждения обществен-

ной нравственности, связанном неразрывно у Шишкова с делом литературы, он был еще справедливее и заслуживает еще более уважения, хотя мало имел влияния и оказал, может быть, менее пользы. Собственно же за русское направление, за славянофильство, как бы Шишков ни понимал его криво, которое он исповедовал и проповедовал с юных лет до гробовой доски, которого был мучеником, — он имеет полное право на безусловную, сердечную нашу благодарность. История будет беспристрастнее, справедливее нас. Имя Шишкова как литератора, как общественного и нравственного писателя, как государственного человека, как двигателя своей эпохи — займет почетное место на ее страницах, и потомство с большим сочувствием, чем мы, станет повторять стихи Пушкина:

*Сей старец дорог нам: он блещет
среди народа
Священной памятью двенадцатого года.*

ЗНАКОМСТВО С ДЕРЖАВИНЫМ

В половине декабря 1815 года приехал я в Петербург на короткое время, чтобы взглянуть на брата, которого я в 1814 году определил подпрапорщиком в Измайловский полк. Брат жил у полковника Павла Петровича Мартынова, моего земляка и короткого приятеля, который, как и все офицеры, квартировал в известном Гарновском доме; я помещился также у Мартынова. Гарновский дом, огромное здание без всякой архитектуры, как и все почти дома в Петербурге, — казармы Измайловского и Лейб-егерского полков, одолжен своей известностью стихам Державина ко «Второму соседу». История богача Гарновского, построившего свой огромный дом рядом с домом Державина выше законной меры и затемнившего свет своему соседу, — в свое время была известна всем. Державин жаловался полиции и написал стихи. Вот некоторые пророческие строфы из этого стихотворения:

Почто же, мой второй сосед,
Столь зданьем пышным, столь
отличным
Мне солнца застеняя свет,
Двором междуешь безграничным
Ты дома моего забор?
Ужель полей, прудов и речек,
Тьмы скупленных тобой местечек
Твой не насытят взор?

Кто весть, что Рок готовит
нам?
Быть гложет, что сии чертоги,
Назначенны тобой царям,
Жестоки времена и строги
Во стойлы конски обратят.
За счастье поруки нету,
И чтоб твой Феб светил век свету,
Не бейся об заклад.

Так, так! Но примечай, как день,
Увы! Ночь темна затмевает;
Луну скрывает облак тень;
Она растет иль убывает:
С сумой не ссорься и тюрьмой, и
проч.

Пышное здание обратилось в казармы, а богач-строитель, как говорят, умер в тюрьме.

Я приехал в Петербург вечером. Хозяина моего, Мартынова, не было дома, брата также; брат был у товарищей своих, измайловских же подпрапорщиков Капнистов, родных племянников Державина, живших в доме у дяди и коротко познакомивших моего брата с гостеприимным хозяином. За братом послали. Между тем, узнав о моем приезде, пришли ко мне измайловские офицеры: Кавелин, Годаин, Лопухин и Квашнин-Самарин. Я был особенно дружен с Кавелиным, который в последнее время сделался очень коротким знакомым в доме Державина и бывал у него очень часто. После первых дружеских приветствий Кавелин спросил меня: знаю ли я, что Державин нетерпеливо меня ожидает? Что уже с неделю, как он всякий день спрашивает, не приехал ли я? — Такие слова сильно меня озадачили. Я был самым горячим, самым страстным поклонником Державина и знал наизусть все его лучшие стихи; я много раз видал его в публике, особенно до 1812 года, у

А. С. Шишкова, но никогда не был ему представлен, не был с ним знаком. На двадцать четвертом году жизни, при моей пылкой природе, слова: «Державин тебя нетерпеливо ожидает» — имели для меня такое волшебное значение, которое в теперешнее положительное время едва ли будет многими понято. Не успел я очнуться от изумления и радости, как прибежал мой брат, и первые слова его были: «Гаврила Романыч просит тебя прийти к нему сейчас...» Я совершенно обезумел. Наконец, опомнившись, спрашиваю: «Что же все это значит?» — и узнаю, что брат мой, бывший тогда восемнадцатилетним юношей, Кавелин и другие до того нахвалили Державину мое чтение, называемое тогда *декламацией*, что он, по своему горячему нраву, нетерпеливо желал меня послушать, или, как он сам впоследствии выражался, «послушать себя». Я не мог идти сейчас: я был красен с дороги, как вареный рак, и голос у меня *сел*, то есть не был чист, а я, разумеется, хотел показаться Державину *во всем блеске*. Кстати сказать здесь несколько слов о чтении, об искусстве читать, ибо умение и дарование чтения могут

быть возведены на степень искусства. Чтение было моей страстью с самых детских лет; оно доставило мне много сердечных наслаждений в семье, в кругу друзей, в уединении, много доставило лестных самолюбию успехов в обществе и на сцене так называемых благородных театров. Не один раз давал я себе и другим обещание написать нечто вроде рассуждения об уменье читать, рассуждения, которое могло бы служить не руководством, а некоторым объяснением этого дела для людей, имеющих охоту к чтению и талант, потому что без природного дарования нечего за это дело и браться. Не один раз принимался я за исполнение моего обещания, но всегда был совершенно недоволен написанным: так все казалось неудовлетворительно, непонятно, не выражало мысли, что я никогда не имел терпенья кончить и уничтожал черновые листы, а мне помнится, в них находилось кое-что удачно схваченное и хорошо выраженное. Чтение в обширном, высоком его значении — не только основание сценического искусства, но почти то же, что игра на театре. Надобно вполне почувствовать, вполне усво-

ить себе то, что читаешь; вполне овладеть своими средствами, как то: чистотою произношения, управлением выработанного предварительно голоса и, что всего важнее, управлением собственными чувствами, мерою теплоты и одушевления... но я не хочу вдаваться в рассуждение об искусстве читать. Я хотел только определить его сущность и значение, что считаю нужным для моего рассказа о первом свидании и знакомстве с Державиным.

На другой день, в десять часов утра, явился за мной посланный от Гаврилы Романыча, и в одиннадцать часов я пошел к нему вместе с братом, несмотря на то, что еще не прошли на моем лице следы безобразия от русской зимней дороги. Сердце билось у меня сильно, и врожденная мне необыкновенная застенчивость, от которой я тогда еще не совсем освободился, вдруг овладела мною в высшей степени. Если б дорога не состояла только из нескольких десятков шагов, вероятно я воротился бы назад; но вошед в дом Державина и вступив в залу, я переродился. Робость моя улетела мгновенно, когда глазам моим представилась картина Тончи, изображающая

Державина посреди снегов, сидящего у водопада в медвежьей шубе и бобровой шапке...
[47]

Гений поэзии Державина овладел всеми способностями моей души, и в эту минуту уже ничто не могло привести меня в замешательство. — Со мною случилось точно то, что всегда случалось пред выходом на сцену в какой-нибудь хотя несколько значительной роли. Бывало, лишь только раздастся музыка увертюры, я начинаю дрожать, как в лихорадке, от внутреннего волнения; часто я приводил в страх моих товарищей-актеров, не знавших еще за мной этих проделок; но с первым шагом на сцену я был уже другой человек, помнил только представляемое мною лицо, и многочисленная публика для меня не существовала: я играл точно так, как репетировал роль накануне, запершись в своей комнате... Виноват, я увлекся в сторону и опять занялся исключительно собой; даю слово, что больше этого не будет. — Из залы налево была дверь в кабинет Державина; я благоговейно, но смело вошел в это святилище русской поэзии.

Гаврила Романыч сидел на огромном диване, в котором находилось множество ящичков; перед ним на столе лежали бумаги, в руках у него была аспидная доска и грифель, привязанный ниткой к рамке доски; он быстро отбросил ее на диван, встал с живостью, протянул мне руку и сказал: «Добро пожаловать, я давно вас жду. — Я читал ваши прекрасные стихи[48]

(Державин был плохой судья и чужих и своих стихов), наслышался, что вы мастерски декламируете, и нетерпеливо хотел с вами познакомиться». Державин был довольно высокого роста, довольно широкого, но сухощавого сложения; на нем был колпак, остатки седых волос небрежно из-под него висели; он был без галстука, в шелковом зеленом шлафроке, подпоясан такого же цвета шнурком с большими кистями, на ногах у него были туфли; портрет Тончи походил на оригинал, как две капли воды. Я отвечал Державину искренно, что «считаю настоящую минуту счастливейшею минутою моей жизни, и если чтение мое ему понравится...» Он перервал

меня, сказавши: «О, я уверен, что понравится; садитесь вот здесь, поближе ко мне», — и он посадил меня на кресло возле самого дивана. «Вы чем-то занимались, не помешал ли я вам?» — «О, нет, я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уже ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лице перещегоолял всех писателей. Но позвольте: ведь мы с вами с одной стороны? Вы оренбурец и казанец, и я тоже; вы учились в казанской гимназии сначала и потом перешли в университет, и я тоже учился в казанской гимназии, а об университете тогда никто и не помышлял. Да мы с вами и соседи по оренбургским деревням; я обо всем расспросил братца вашего. Мое село, Державино, ведь не с большим сто верст от имени вашего батюшки (сто верст считалось тогда соседством в Оренбургской губернии)...» Гаврила Романыч подозвал к себе моего брата, приласкал его, потрепав по плечу, и сказал,

что он прекрасный молодой человек, что очень рад его дружбе с своими Капнистами, и прибавил: «Да тебе не пора ли на учење? приятели твои, я видел, ушли». — «Пора, Гаврила Романыч, — отвечал мой брат, — и я сейчас пойду». — «Ступай с богом, а с братцем твоим мы уже познакомимся». И мы остались одни. Державин был так деликатен, что не заставил меня сейчас читать, хотя ему очень этого хотелось, как он впоследствии, смеясь, мне признавался. Он завел со мной довольно длинный разговор об Оренбургском крае, о тамошней природе, о Казани, о гимназии, университете и на этот раз заставлял уже больше говорить меня, а сам внимательно слушал. Я говорил без запинки, с одушевлением, и несколько раз наводил разговор на стихи, и, наконец, как-то кстати, прочел несколько его стихов из стихотворения «Арфа», где он обращается к Казани:

*О колыбель моих первоначальных
дней,
Невинности моей и юности оби-
тель!
Когда я освещусь опять твоей за-*

рей
И твой по-прежнему всегдашний
буду житель?
Когда наследственны стада я бу-
ду зреть,
Вас, дубы камские, от времени по-
чтенны,
По Волге между сел на парусах ле-
теть
И гробы обнимать родителей свя-
щенны?

Лицо Державина оживилось, глаза вспыхнули. «Вы хотите мне что-нибудь прочесть», — воскликнул он, и в глазах его засветился тот святой огонь, который внушил ему многие бессмертные строфы. «Всею душой хочу, — отвечал я, — только боюсь, чтобы счастье читать Державину его стихи не захватило у меня дыханья». Державин взглянул на меня и, видя, что это не комплимент, а чистая правда, схватил меня за руку и ласково промолвил: «Так успокойтесь». Наступило молчание. Державин встал и начал выдвигать ящики, которых находилось множество по бокам его большого дивана и как-то над спинкой дивана. На ящиках бронзовыми буквами были

написаны названия месяцев, а на некоторых — года. Гаврила Романыч долго чего-то искал в них и, наконец, вытащил две огромные тетради, или книги, переплетенные в зеленый сафьянный корешок. «В одной книге мои мелочи, — сказал он, — а об другой поговорим после. Вы что хотите мне читать? верно, оды: Бога, Фелицу или Видение Мурзы?» — «Нет, — отвечал я, — их читали вам многие, особенно актер Яковлев. Я желаю прочесть вам оду на смерть князя Мещерского и Водопад». — «А я хотел вам предложить прочесть мою трагедию». — «Сердечно рад, но позвольте мне начать этими двумя стихотворениями». — «Извольте». — «Я знаю наизусть почти все ваши стихи; но на всякий случай я желал бы иметь в руках ваши сочинения; верно, они есть у вас». — «Как не быть, — улыбнувшись, сказал Державин, — как сапожнику не иметь шильев» (сравнение довольно странное), — и он достал, также из ящичка, свои стихотворения, богато переплетенные в красный сафьян с золотом. Я знал, что читать, сидя очень близко от человека, которому читаешь, неудобно и невыгодно, и потому пересел на

кресло, стоявшее довольно далеко от Державина; он хотел удержать меня, говоря, что не так будет слышно, но я уверил его, что он услышит все. Наружное мое волнение затихло и сосредоточилось в душе. Я прочел оду к Перфильеву на смерть князя Мещерского. С первыми стихами:

*Глагол времен, металла звон,
Твой страшный глас меня смущает,
Зовет меня, зовет твой стон,
Зовет — и к гробу приближает, —*

Державин превратился в слух, лицо его сделалось лучезарным, руки пришли в движение. Когда я прочел:

*Глядит на всех — и на царей,
Кому в державу тесны миры;
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и серебре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны —
И точит лезвие косы, —*

Державин содрогнулся. Едва я произнес последние стихи:

*Жизнь есть небес мгновенный
дар,
Устрой ее себе к покою,
И с чистою твоей душою
Благословляй судеб удар, —*

Державин уже обнимал меня со слезами на глазах. Он не вдруг стал меня хвалить. Он молча сел опять на свое место, посадил и меня на прежнее кресло и, держа за руку, сказал тихим, растроганным голосом: «Я услышал себя в первый раз...» — и вдруг прибавил громко, с каким-то пошлым выражением (что меня очень неприятно поразило): «Мастер, первый мастер! Куда Яковлеву! вы его, батюшка, за пояс заткнете», и в то же время я заметил, что Державин вдруг сделался чем-то озабочен, что у него было что-то другое на уме. Он опять встал, вынул другую рукописную книгу; несколько раз брал в руки то ту, то другую и, наконец, одну спрятал, а другую оставил на столе. Я видел ясно, что сильное впечатление, произведенное чтением оды к Перфильеву, у Державина быстро прошло и что ему ужасно хочется, чтоб я читал трагедию. Скрепя сердце я пожертвовал на этот раз

«Водопадом» и хорошо сделал: Державин стал бы слушать меня рассеянно. Впоследствии я нашел минуту, когда он свободно мог устремить все свое внимание на это чудное стихотворение, дико составленное, но богатое первоклассными красотами: выражение этих красот было им тогда почувствовано вполне. — Итак, я обратился к Державину, державшему в руках большой том в зеленом корешке и рассеянно смотревшему в сторону: «Позвольте мне теперь прочесть вам трагедию». — «Знаете ли, о чем я думаю? — с живостью сказал он. — Вам трудно будет читать в первый раз рукописное сочинение». Я отвечал, что это правда, что даже печатную драматическую пиесу нельзя в первый раз прочесть хорошо, что надобно предварительно понять, вникнуть в характеры лиц, изучить ход сильных сцен; что я не читаю никогда никакой большой пиесы другим, не прочитав ее вслух предварительно самому себе. — С живостью и удовольствием подал Державин мне обеими руками зеленый том и сказал: «Так возьмите, прочтите, изучите, и когда будете готовы, тогда прочтите мне. Но вот что: вы,

верно, читали или слышали на театре «Ирода и Мариамну»; прочтите мне из нее некоторые сцены», — и, не дождавшись ответа, он позволил и приказал вошедшему человеку собрать экземпляр этой трагедии из печатных листов, лежавших большим тюком в нижнем ящике того же дивана. Разумеется, я сказал, что пьесу знаю и прочту с большим удовольствием, и это была правда. Я был в таком лирическом настроении, что рад был читать Державину что угодно, хоть по-арабски. В какие бы то ни было звуки хотела вылиться вскипевшая душа! В такие минуты всякие стихи, всякие слова, пожалуй неизвестного языка, — будут полны чувства и произведут сочувствие. Этим, по-моему, объясняется удивительный и нередкий факт, что на сцене истинные артисты приводили в восхищение слушателей, не знающих языка представляемой пьесы. — Между тем Гаврила Романыч послал за своей женой, племянницей (П. Н. Львовой) и племянником, служившим в статской службе, Капнистом. Пришли первая и последний; племянница была еще не готова и явилась к концу чтения. Нетерпение Державина было

очевидно: он едва познакомил меня с своей женой, а с Капнистом даже и не познакомил. Я начал читать и без всяких выпусков прочел трагедию до конца, отдыхая не более двух-трех минут между действиями. Меня уговаривали отдыхать побольше, но я не соглашался: трагедия была небольшая, и притом я чувствовал, что моя восторженность может охладеть, а тогда все бы погибло. Это чтение было единственным явлением в продолжение тридцатипятилетнего моего поприща в качестве чтеца, — явлением психологическим и весьма замечательным. Чтобы понять вполне мои слова, надобно взять «Ирода и Мариамну» и попробовать прочесть ее вслух. Я сам впоследствии, достигнув несравненно большего искусства в чтении, не один раз пробовал исполнить этот подвиг — и не находил возможности не только чем-нибудь воспламениться, но даже сносно прочесть и еще менее заставить других прослушать с участием хоть две страницы... а тогда я читал около полутора часа, и каждое слово было полно какого-то огня, какого-то чувства! Чтение было в то же время — мало сказать не верно, не сооб-

разно с характерами и словами действующих лиц, но даже нелепо и бессмысленно. Я чувствовал это хотя не ясно, в самое то время, как читал. С полным сознанием и искренностью повторяю теперь, что чтение происходило на неизвестном мне языке; но тем не менее и на других и на меня произвело оно магическое действие. Можно себе представить, что было с Державиным! Он решительно был похож на человека, одержимого корчами. Все мои сердечные ноты, каждый переход из тона в тон, каждый одушевленный звук перечувствовала его восприимчивая, страстная душа! Он не мог сидеть, часто вскакивал, руки его делали беспрестанные жесты, голова, все тело было в движении. Восхищениям, восторженным похвалам, объятьям — не было конца, а моему счастью — не было меры. Державин через несколько минут схватился за аспидную доску и стал писать грифелем. Все присутствовавшие, кроме меня, вышли. Разумеется, я догадался, что Державин пишет стихи на мое чтение, и не ошибся. Торопливо писала его дрожащая рука и беспрестанно стирала написанное. Мне показалось, что писа-

ние продолжалось с полчаса. Наконец, Гаврила Романыч взял читанную мною трагедию и на первом мягком листе, вверху названия трагедии, написал четыре стиха. Мне самому труднее, чем всякому другому, поверить, что я не помню этих стихов. Я тогда имел такую память, что с одного раза мог запомнить несколько куплетов, если только стихи мне нравились. Что книжка, подаренная Державиным, с его стихами, собственноручно написанными, у меня пропала — это не диковинка; я растерял в жизнь мою немалое число книг с надписями их авторов, иногда глубоко мною уважаемых, но не запомнить четырех стихов Державина, мне написанных, при моем благоговении к Державину, при моей памяти — это просто невероятно! Впрочем, дело объясняется несколько тем, что книга пропала у меня в первые два-три дня. Только и помню, что стихи, весьма не гладкие, оканчивались словами: «Себя услышал в первый раз», словами, вырвавшимися у него после чтения оды на смерть Мещерского. Несказанно счастливый мыслию, что я мог привести в восхищение величайшего из поэтов (так я думал

тогда), опьянелый от восторга и удовлетворенного самолюбия, я поспешил уйти от Державина, чтоб поделиться моими чувствами с моими друзьями.

Само собою разумеется, что я сделался частым и любимым гостем «Певца Фелицы», как выражались тогда литераторы и дилетанты русской словесности. Хозяин готов был слушать с утра до вечера, а гость — читать и день и ночь. Чего не перечитал я Державину! И переведенную им «Федру» Расина и собственные его трагедии: «Св. Евпраксию», «Аталибу, или Покорение Перу», «Сумбеку (кажется, так), или Покорение Казани» и проч. и сверх того два огромные тома в лист разных мелких его сочинений в стихах и прозе, состоявшие из басен, картин, нравственных изречений, всякого рода надписей, эпитафий, эпиграмм и мадригалов: все это перечитал я по несколько раз. Я не говорю здесь о собственных записках Державина, имеющих большой интерес; я их видел, перелистывал, но не читал. При наших же стихотворных чтениях нередко с грустью думал я: умрет Державин, этот великий лирический талант,

и все читаемое теперь мною, иногда при нескольких слушателях, восхищающихся из уважения к прежним произведениям писателя или из чувств родственных и дружеских, — все будет напечатано для удовлетворения праздного любопытства публики, между тем как не следует печатать ни одной строчки. Но благодарение разумной разборчивости его наследников: из рукописных сочинений, о которых я говорю, — именно не было напечатано ни одной строчки, сколько мне известно.[49]

Между тем, надобно сказать правду, кроме выгод чисто материальных, можно было соблазниться исполнением желания горячих поклонников Державина: ибо в этой громаде стихов, лишенных иногда всякого достоинства, изредка встречались стихи очень сильные и блестящие лиризмом, впрочем по большей части не свойственные лицу, их произносившему. В мелких стихотворениях также изредка мелькал, может быть, не строго верный, но оригинальный взгляд и если не цельный, то односторонне-живой и поэтический

образ. Волкан потухал; но между грудями камней, угля и пепла мелькали иногда светлые искры прежнего огня. — Дарования драматического Державин решительно не имел; у него не было разговора — все была песнь, но, увы, он думал, что его имеет; часто он говорил мне с неуважением о своих одах и жалел, что в самом начале литературного своего поприща не посвятил себя исключительно трагедии и вообще драме. «Аталиба», трагедия в пяти действиях, с хорами и великолепным, не исполнимым на сцене, спектаклем, была любимым его произведением. В ней главный эффект основывался на солнечном затмении: Пизарро, захваченный в плен мексиканцами со всей свитой и в оковах ожидающий казни, предсказывает потемнение солнца как знамение гнева небесного; солнце в предписанную минуту помрачается (все это происходит на сцене), и победители упадают к ногам побежденных, освобождают их и признают своими повелителями. Помню я из этой трагедии один стих, который ценился Державиным выше всего. Аталиба, упрекая Пизарро в жадности к золоту, говорит длин-

ный монолог, который оканчивается так:

*Вы преплыли моря, расторгнув
крови связь,
Чтоб из-под наших ног увезть
блестящу грязь.*

Может быть, я что-нибудь и перепутал в первом стихе, но второй верен буквально. Из мелких своих сочинений Державин особенно любил одно осьмистишие, которым, по его мнению, вполне обрисовывались трое знаменитых наших баснописцев: Хемницер, Дмитриев и Крылов, из которых первого он предпочитал остальным за простоту и естественность рассказа. Стихов не помню, но содержание их состоит в том, что три поэта являются к Аполлону, который говорит Дмитриеву: ты ловок, образован и ввел басню в гостиную; Крылову — ты колок, народен и умен; а Хемницеру Аполлон протягивает руку, жмет ее, «и ни слова». Этими словами заключается стихотворение.

Почти всякий раз, как я бывал у Державина, я упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитро-

стям: предлагал какое-нибудь сомнение, при-
творялся не понимающим некоторых наме-
ков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми луч-
шими, или, напротив, самыми слабыми, ино-
гда читал его стихи наизусть в подтвержде-
ние собственных мыслей, нравственных
убеждений или сочувствия к красотам приро-
ды. Гаврила Романыч легко поддавался тако-
му невинному обману и вступал иногда в го-
рячий спор, но редко удавалось мне возбу-
дить в нем такое сильное чувство чтением
прежних его стихов, какое обнаружил он в
первое наше свидание, слушая оду к Перфи-
льеву. По большей части по окончании чте-
ния он с улыбкой говаривал: «Ну да, это
недурно, есть огонь, да ведь все пустяки; все
это так, около себя, и важного значения для
потомства не имеет; все это скоро забудут; но
мои трагедии, но мои антологические пиесы
будут оценены и будут жить». Безгранично
предаваясь пылу молодого восторга при чте-
нии его прежних пустяков, я уже не мог вос-
пламеняться до самозабвения, читая его но-
вейшие сочинения, как это случилось со

мною при чтении «Ирода и Мариамны». Державин это чувствовал, хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации; он досадовал и огорчался. «У вас все оды в голове, — говорил он, — вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете». Иногда, впрочем, он бывал доволен мною. — Державин любил также так называемую тогда «эротическую поэзию» и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою *p*. Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишенные прежнего огня, замененного иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пьесу «Аристиппова баня», которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» — «Ничего, —

возразил, смеясь, Гаврила Романыч, — у девушек уши золотом завешаны».

Так продолжалась моя жизнь около месяца; все время, свободное от необходимых дел и свиданий в Петербурге, проводил я в доме Державина, который в последние дни казался не так здоровым. Наконец, один раз пришел я к нему обедать, что бывало довольно часто. Швейцар встретил меня с обыкновенной ласковой улыбкой, но сказал мне, чтоб я вызвал камердинера Гаврилы Романыча, который имеет до меня какую-то надобность. Я несколько удивился и, взошед наверх, встретил этого самого камердинера; он сказал мне, что Дарья Алексевна (жена Державина) просит меня, не входя в кабинет к Гавриле Романычу, повидаться с ней и для того зайти наперед в гостиную; я удивился еще более и поспешил к разгадке. Дарья Алексевна,[50] несколько встревоженная, весьма учтиво и ласково сказала мне, что муж ее нездоров, что он провел дурно ночь, что у него сильное раздражение нерв и что доктор приписывает это тому волнению, с которым Гаврила Романыч слушает мое чтение, что она просит, умоляет ме-

ня несколько времени не ходить к больному или ходить, но не читать под каким-нибудь предлогом; «а всего лучше скажитесь больным, — прибавила она, — если он вас увидит, то начнет так приставать, что трудно будет отказать ему». Я сейчас почувствовал, что все это совершенно справедливо. Я уже говорил, как Державин слушал мое чтение в первое наше свидание; точно то же продолжалось до сих пор, если не всегда при слушании прежних од, то всегда при слушании трагедий. Я вспомнил, какое изнеможение выражалось на лице Державина после наших, иногда долгих, дообеденных или вечерних чтений. Мне стало совестно, и я покраснел до ушей. Я сказал Дарье Алексевне, что мне больно, и грустно, и досадно на себя, для чего я сам давно этого не заметил. Она призналась мне, что уже с неделю всякий день собирается поговорить со мной об этом, что она боялась оскорбить меня и что боже сохрани, если узнает об этом Гаврила Романыч. Я поспешил ее успокоить и прибавил, что я сам болен, что доктор давно требует, чтоб я сидел дома, и что я выезжал единственно для Гаврилы Романыча.

Все это была совершенная правда, только я был болен не от чтения, а от петербургского климата, от которого уже поотвык. Хозяйка благодарила меня искренно и упрашивала, чтоб я в доказательство, что не сержусь на нее, остался у них обедать. «Гаврила Романыч не выходит из кабинета и не узнает, что вы были здесь», — прибавила она очень приветливо. Я не остался под предлогом, что должен держать строгую диету; мне показалось как-то странно оставаться в доме контрабандой от хозяина. Я приехал, однако, вечером к Державину, сказал ему, что я давно нездоров, что должен лечиться и, может быть, недели две не выйду из комнаты. Гаврила Романыч чуть не заплакал и так огорчился, что я испугался вредных последствий. Он сам был, очевидно, нездоров. Глаза у него были мутные и пульс бился, как в лихорадочном жару, но сам он и слышать не хотел, что он болен, и жаловался мне, что с некоторого времени хотят уверить его, что он хворает, а он, напротив, давно не чувствовал себя так бодрым и крепким. Наконец, он отпустил меня в лазарет (как он выразился) и обнял на прощанье несколько раз,

прибавив, что кстати исполнит просьбу жены и, хотя без надобности, сам полечится в это время.

Много было шуток и смеха в Гарновском доме, где я был хорошо знаком почти со всеми офицерами, а также и в близком, родственном кругу Державина. Говорили, что я *зачитал* старика и сам *зачитался* и что мы оба принуждены были не шутя лечиться. Молва подхватила это простое событие и распустила по городу — с обычными украшениями. Я сам после слышал, как рассказывал один господин, что «какой-то приезжий, сумасшедший декламатор и сочинитель, едва не уморил старика Державина чтением своих сочинений и что, наконец, принуждены были чрез полицию вывести этого чтеца-сочинителя из дома Державина и отдать на излечение частному лекарю».

Ровно через две недели явился я к Державину, хотя дни за два до срока Дарья Алексевна уже присылала звать меня. Гаврила Романых очень мне обрадовался, но не так, как я ожидал. Может быть, ему успели внушить, что в обществе смеются над ним, будто бы с

утра до вечера заставляющим читать себе свои сочинения; может быть, сказали, что мне это в тягость, что я скучаю и жалуясь на такое принуждение, а может быть, что всего вероятнее, успели его убедить, что такое неравнодушное слушание точно ему вредно. Как бы то ни было, только Державин был со мною как-то принужденен и не сказал ни слова о своих стихах. На другой день то же, и я уже подумал, что мои отношения к Гавриле Романычу должны измениться, как вдруг последовало неожиданное возвращение к прежнему порядку вещей. Один из его племянников, А. Н. Львов, спросил меня при своем дяде: «Каково идет «Мизантроп»?» Эти слова обратили на себя внимание Державина, и я должен был рассказать ему, в чем состояло дело; оно состояло в следующем: Ф. Ф. Кокошкин перевел Мольерова «Мизантропа»; перевод его пользовался тогда большою славою; петербургская актриса, М. И. Валберхова, выпросила у Кокошкина эту пиесу, еще не игранную на петербургской сцене, себе в бенефис. Я отправлялся в самое то время из Москвы в Петербург; Кокошкин прислал со мною г-же

Валберховой «Мизантропа» и взял с меня обещание, что я прочту сам его перевод всем актерам на «считке»[51] и даже посмотрю за репетициями, на что дал мне письменное полномочие. Я принялся было за это дело с обычной мне горячностью, но скоро увидел, что играю тут смешную роль: никто из актеров не хотел меня слушать и не обращал внимания на мои права, потому что заведовавший тогда репертуарною частью кн. А. А. Шаховской, с которым я был впоследствии очень дружен, не благоволил к Кокошкину и оскорбился, что такой молодой человек, как я, имел право ставить на петербургскую сцену такую знаменитую пьесу, как «Мизантроп» Мольера. Считку, разумеется, произвели без меня, и только по необходимости, очень сухо приглашен я был на репетиции. Я, увидя явное от всех нерасположение, отстранился и был только из приличия раза два на репетициях. Родные Державина знали эту забавную историю, и Львов (с которым мы были потом друзьями) сделал этот вопрос с намерением надо мной посмеяться. Я рассказал откровенно все. Державин по добродушию принял жи-

вейшее участие в моем неприятном положении; он знал только отрывки из перевода Кокошкина, когда-то прочтенные мастерски (по общему мнению) самим Кокошкиным в «Беседе русского слова». Гавриле Романычу очень захотелось послушать, как я читаю комедию, и он стал меня убедительно просить, чтобы я прочел ему всего «Мизантропа». У меня был особый экземпляр, окончательно исправленный переводчиком, и на другой день вечером, при довольно многочисленной публике, я прочел «Мизантропа», Гаврила Романыч был совершенно доволен. Опять расшевелилось горячее сердце Державина, и с следующего дня начались опять наши чтения по-прежнему, хотя не так уже часто.[52]

Кроме собственных сочинений, Державин охотно слушал чтение и других стихотворцев: И. И. Дмитриева, Батюшкова, Гнедича и проч. Крылова я не читал никогда, потому что Гаврила Романыч был недоволен мною при чтении собственных его басен, и это было совершенно справедливо. Басни навсегда остались для меня камнем преткновения; я

много напряженно работал над чтением их, но никогда не был доволен собою, потому что слышал, как читает, или, лучше, рассказывает басни свои Крылов: это неподражаемая простота и естественность. Помню также, что я два раза читал при многих слушателях какое-то большое дидактическое стихотворение А. П. Буниной, которое принималось всеми с большим одобрением; но, кажется, кроме гладких, для того времени, стихов и цветистости языка, не имело оно других достоинств.

Благородный и прямой характер Державина был так открыт, так определен, так известен, что в нем никто не ошибался; все, кто писали о нем, — писали очень верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость вовлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесятитрехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много на-

делала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение — он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колени синтаксис, словоударение и самое словоупотребление. Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовляемых им для будущего издания. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись еще большими неправильностями. Я приписываю такую неудачу в поправках единственно нетерпеливому нраву Державина. Я осмелился слегка сказать ему мое мнение, и он весьма благодушно согласился. Впрочем, такое сознание ни к чему не вело, и я вскоре увидел довольно красноречивый опыт нетерпения, вспыльчивости и неумения владеть собою престарелого поэта. Однажды Карамзин уведомил его запиской, что в такой-то день, в семь часов вечера, придет и прочтет отрывок из «Истории Российского государ-

Державин пригласил многих знакомых, большею частью людей почтенных уже по одним своим летам; не знаю почему, меня прислал он звать не более как за полчаса до условленного начала чтения. Я был дома и поспешил явиться: интерес мой особенно возбуждался тем, что дни за три Н. М. Карамзин сказал мне, [54] что обещал Державину прочесть что-нибудь из «Истории» и прочтет такое место, которым он сам доволен, но сомневается, чтоб оно понравилось другим. Я нашел у Державина: А. С. Шишкова, известного стихотворца гр. Д. И. Хвостова, также А. С. Хвостова, известного едкостью критических замечаний и в общественных беседах и в рукописных стихах, Ф. П. Львова, П. А. Кикина, Н. И. Гнедича и многих других. Бьет семь часов — Карамзина нет; в Державине сейчас обнаружилось нетерпенье, которое возрастало кресчендо с каждой минутой. Проходит полчаса, и нетерпенье его перешло в беспокойство и волнение: он не мог сидеть на одном месте и беспрестанно ходил взад и вперед по

своему длинному кабинету между сидящими по обеим сторонам гостями. Несколько раз хотел он послать к Карамзину и спросить: будет он или нет; но Дарья Алексевна его удерживала. Наконец, бьет восемь часов, и Державин в досаде садится писать записку; я стоял недалеко от него и видел, как он перемарывал слова, вычеркивал целые строки, рвал бумагу и начинал писать снова. К счастью, в самое это время принесли письмо от Карамзина. Он извинялся, что его задержали, писал, что он все надеялся как-нибудь приехать, и потому промешкал, и что просит Гаврилу Романыча назначить день и час для чтения, когда ему угодно, хоть послезавтра. Очень жалею, что я не списал этой записки или не оставил ее у себя. Державин, показав ее многим из гостей, отдал потом мне; я прочел, положил в карман и забыл; я возвратил ее через несколько дней. В семи или восьми строчках этой записки Карамзина дышала такая простота, такое кроткое спокойствие, такое искреннее сожаление, что он не мог исполнить своего обещания! Кажется, не было возможности, прочтя эти строки, сохранить какое-нибудь неудоволь-

ствие в сердце; но не то было с Державиным: он никак не мог так скоро совладеть с своей досадой, ни с кем не говорил, беспрестанно ходил, и все гости в несколько минут нашлись принужденными разъехаться. Тут Дарья Алексевна уже сама пожелала и попросила меня, чтоб я прочел что-нибудь. Надобно сказать, что в последнее время она постоянно показывала мне какую-то холодность, и я не вдруг согласился исполнить ее желание и предложить чтение. Гаврила Романыч также не вдруг принял мое предложение, наконец сказал: «Пожалуй, прочтите что-нибудь», и я начал читать. Державин долго слушал без участия, то есть без всяких движений в руках и лице; но мало-помалу пришел в свое обыкновенное положение и даже развеселился. В этот раз я просидел у него целым часом доле положенного срока, уже не читал, а слушал его рассказы о прошедшем, невозвратно прошедшем.

Между тем приближалось время одного из заседаний, или собраний, «Беседы русского слова», которая состояла из нескольких отделений, кажется из четырех, и каждое имело

своего председателя. В одном отделении был председателем Ал. Сем. Хвостов, и я слышал от многих членов ропот против такого незаслуженного председательства; особенно обижался граф Хвостов, который не имел отделения, на что, как старейший и многоплоднейший писатель, имел он, по его убеждению, неотъемлемое право. Вообще находили странным, что А. С. Хвостов, человек почти ничего не напечатавший, известный только остроумно-шутливыми посланиями и эпиграммами, председательствует между заслуженными литераторами. Шишков, уважавший и любивший А. С. Хвостова, был причиною назначения его в председатели еще при первоначальном основании «Беседы». Особенно было забавно неудовольствие членов Хвостовского отделения (как его называли), над которым другие подтрунивали и в числе которых быть никому не хотелось. Крылов и Гнедич, для успокоения оскорбленных авторских самолюбий, добровольно вызвались быть членами отделения под председательством А. С. Хвостова; их примеру последовали другие, и спокойствие водворилось в великом

семействе жрецов Аполлона. Это обстоятельство случилось, впрочем, уже давно, и я рассказываю слышанное мною. Предстоящее собрание долженствовало происходить под председательством самого Державина, и он последнее время был сильно тем озабочен. Ему хотелось, чтобы я прочел что-нибудь в «Беседе». Чтение пьес посторонними лицами допускалось иногда в виде исключений: так, например, Кокошкин читал свой перевод. Для Державина, разумеется, все согласились, чтобы я прочел его пьесу. Он назначил мне рассказ в несколько страниц из «Аталибы» и стихотворение «Развалины Греции» Аркадия Родзянки, молодого человека, дальнего родственника Державина, служившего тогда подпрапорщиком в Лейб-егерском полку. Стихи Родзянки признавались написанными превосходно, сильными, гладкими, звучными. Я очень радовался, что по крайней мере в них могу показать свое уменье читать. Стихи же Державина приводили меня в ужас. Я выучил наизусть обе пьесы и приготовился к чтению... Но судьба устроила иначе: в день предварительного, или приготовительного, собра-

ния «Беседы» и за три дня до настоящего собрания — я скакал уже с Кавелиным в Москву. Гаврила Романыч весьма огорчился, узнав о моем внезапном намерении уехать; сначала не верил, а потом досадовал, что я не хочу остаться трех дней, чтобы продекламировать его пиесу, успех которой он основывал отчасти на моем чтении. Мне самому это было очень больно; но особенные обстоятельства не позволили мне остаться, тем более, что зимний путь разрушался (тогда о шоссе еще не было и помину). Мы с Кавелиным уехали из Петербурга 18-го марта, накануне славного дня взятия Парижа. После пример-парада множество офицеров шумно проводили нас, напутствуя добрыми желаниями и хором: «Веди меня, о провиденье!». [55]

В начале июля Державина уже не было на свете.

Сколько простосердечия, теплоты, живости и благодушия сохранялось еще в этом семидесятитрехлетнем старце, в этом гениальном таланте! Вечер накануне моего отъезда, как нарочно, мы провели вдвоем. Много доб-

рых желаний и советов сказал он мне на прощанье, искренно благодарил за удовольствие, доставленное моим чтением; много предсказывал мне в будущем и даже благословил меня на литературные стихотворные труды. Он ошибался во мне, и потому предсказания не исполнились и благословение не пошло впрок. Самый последний совет состоял в следующем: «Не переводите, а пишите свое, что в голову войдет; в молодости переводить вредно: сейчас заразишься подражательностью; в старости переводите, сколько угодно».

С глубоко растроганным сердцем вышел я из кабинета Державина, благодаря богу, что он послал мне такое неожиданное счастье — приблизиться к великому поэту, узнать его так коротко и получить право любить его, как знакомого человека! Каким-то волшебным сном казалось мне все это быстро промелькнувшее время! Державин знает, любит меня; он восхищался моим чтением, он так много говорил со мной, так много занимался мною; он считает, что я имею дарование, он говорил это всем, он сохранит воспоминание обо мне... Радостно билось мое сердце, и само-

любие плавало в упоении невыразимого восторга.

В исходе июля, собираясь уехать на десять лет из Москвы в Оренбургскую губернию, я узнал о смерти Державина. Еще живее почувствовал я цену моего с ним очень кратковременного, но полного, искреннего, свободного, кабинетного знакомства. Итак, скромный путь моей жизни озарился последними лучами заходящего светила, последними днями великого поэта! Тридцать пять лет[56] прошло с тех пор, но воспоминанье об этих светлых минутах моей молодости постоянно, даже и теперь, разливает какое-то отрадное, успокоительное, необъяснимое словами чувство на все духовное существо мое. И чему я обязан за все это? — единственно моему чтению. Да будет же благословенно искусство, которое звуками даже чужих слов, проникнутых собственным чувством человека, может так могуче переливать их в сердце другого!

Вскоре прочел я в «Благонамеренном» большое стихотворение того самого господина Родзянки, которого пиесу назначено мне было читать в «Беседе»; оно называлось: «Дер-

жавин». Это были пламенные, замечательные стихи особенно потому, что в составе их слышались иногда смелые, размахистые приемы, а в выражениях недостатки и даже красоты большею частью внешние, поистине державинские. Вот одна строфа этого стихотворения:

*Прочь ход плачевный похорон,
В прах смерти мрачны одеянья,
Плач, слезы — слейтесь в восклицанья,
В глас трубный — погребальный
звон!
Рассыпья лавром ельник скорбный,
Встань жертвенником мрамор
гробный!*

ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ШУШЕРИН И СОВРЕМЕННЫЕ ЕМУ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

В начале 1807 года оставил я Казанский университет и получил аттестат с прописанием таких наук, какие я знал только понаслышке и каких в университете еще не преподавали. Этого мало: в аттестате было сказано, что в некоторых «оказал я значительные успехи», а некоторыми «занимался с похвальным прилежанием». Вместе с моим семейством отправился я по последнему зимнему пути в Оренбургскую губернию, в мое любимое Аксаково, которое тогда не называлось еще селом Знаменским. В первый раз встретил я весну в деревне уже не мальчиком, в первый раз предался вполне моей страсти к ружью, которым до тех пор я занимался урывками во время летних вакаций. Весна, лето и осень пролетели, как приятный сон, и с наступлением зимы отправились мы в Москву с

тем, чтоб весною ехать в Петербург, где хотели определить меня в службу. В Москве прожили мы около семи месяцев. Я любил театр не менее ружья и сделался его постоянным посетителем. Вдруг дошла до меня весть, что бывшая казанская актриса Феклуша,[57] от которой я был всегда в восхищении (вместе со всей казанской публикой), бежала от своего господина, вышла за знакомого мне, очень хорошего молодого человека, г-на Пети, служившего в казанском почтамте, и едет в Москву, чтоб дебютировать на московском театре. Мне сказали, что известный и уважаемый тогда актер Плавильщиков, за несколько лет приезжавший в Казань, много раз игравший с Феклушей и всегда замечавший ее талант, сам пригласил ее на московскую сцену. Я часто видался в Москве с бывшим товарищем моим по гимназии, но гораздо старшим меня годами П. М. Алехиным, служившим в артиллерии и стоявшим с своей батареей в Москве. Я поспешил сообщить ему неожиданную и радостную новость; он был таким же горячим поклонником таланта Феклуши, как и я, и мы оба были твердо уверены, что появ-

ление ее на московской сцене произведет общий восторг. Постоянно справляясь у Плавильщикова, не приехала ли наша гениальная дебютантка, мы, наконец, узнали, что она в Москве, и достали ее адрес. В тот же день я и Алехин отыскали Феклушу. В Старой Конюшенной, в приходе Иоанна Предтечи, в полуразвалившемся домишке дьякона нанимала две комнатки г-жа Пети со своим мужем и новорожденной дочерью: присутствие бедности было видно во всем. С юношеским жаром высказали мы все, что было у нас на душе: и наши казанские восторги и наши московские надежды. С живым удовольствием вспоминаю теперь, какое благотворное впечатление произвели мы на бедного Пети и жену его, которые были очень смущены холодным приемом начальства московской театральной конторы и некоторых актеров. Плавильщиков усердно хлопотал, чтобы г-же Пети позволили дебютировать и чтобы скорее назначили ей время дебютов; он ручался за ее успехи, не примечая того, что это ручательство никому не нравилось. Отказать Плавильщикову и дебютантке не было возможности; но в на-

значении дебюта нашлось множество препятствий. Пети хотела начать трагедией: предлагала более десяти пьес, которые все игрались на московском театре, и все эти пьесы, по каким-то особенным причинам, не могли быть скоро даны; наконец, Плавильщиков вытащил из старого репертуара давно забытую трагедию Княжнина «Софонисбу», и начальство согласилось. В этой трагедии так мало было интереса и для тогдашней публики, что дебютантке надобно было иметь не только большой трагический талант, но и громкую известность, чтоб явиться с успехом в роли несчастной Софонисбы. Надобно к этому прибавить, что тогдашней любимицею Москвы была актриса Воробьева, в самом деле имевшая много неподдельного чувства.[58]

Ее многочисленные почитатели, а может быть и она сама, подумали, что Плавильщиков, находившийся не в ладах с Воробьевой, хочет ее скабалировать, как тогда выражались, и выписал для этого какую-то провинциальную актрису. Они поспешили распусть невыводные слухи о новой дебютантке

и приготовили ей холодный прием. Я был зрителем этого несчастного спектакля. Казалось, все было соединено, чтоб произвести на публику неприятное впечатление. Трагедия состояла из трех главных действующих лиц: Сифакса, царя Нумидского, супруги его Софонисбы и Массиниссы, князя Нумидского, разумеется с неизбежными наперсниками. Сифакса играл нестерпимейший актер г. Прусаков, а Массиниссу — Плавильщиков. Я пришел в ужас, когда появилась на сцену Софонисба: маленького роста, черненькая, худенькая, одетая в нелепый костюм, очень плохо прилаженный к ее росту... Смех встретил несчастную дебютантку; от природы слабый ее голос почти прерывался и едва был слышан от сильного смущения. Плавильщиков, заметя, что дело идет плохо, вздумал поддержать пьесу и ободрить дебютантку усилением собственной игры: он поднял на целую октаву свой и без того громкий голос и недостаток внутреннего огня вознаграждал беспощадными криками и жестами; в порыве усердия он задел пальцем за свой парик, который взвился очень высоко вверх, был подхвачен им на

лету и проворно надет на голову. Несмотря на уважение к Плавильщикову, зрители расхохотались. Мы с Алехиным, особенно я, находились в страдательном положении. Невзирая на всю эту ужасную обстановку, было несколько выражений, сказанных Феклушею с таким чувством, что они произвели впечатление на публику, а слова Софонисбы: «Прости в последний раз!», говоря которые, она бросилась в объятия Массиниссы, второго своего супруга, — были проникнуты такою силою внутреннего чувства, такою выразительностью одушевленной мимики, что зрители увлеклись; взрыв громкого рукоплескания потряс театр, и многие закричали «браво»; но это не поправило дела: трагедия надоела до смерти зрителям, и когда, по окончании пьесы, мы с Алехиным и несколькими приятелями Плавильщикова вздумали вызывать дебютантку, — общее шиканье и смех заглушили наши вызовы. Жалко было смотреть нам на бедную г-жу Пети, которая, под именем Феклуши, привыкла в Казани десять лет сряду приводить зрителей в восторг своей игрой и которую рукоплескания постоянно

встречали на сцене и провожали со сцены. Не менее был жалок и смущен муж ее, страстно любивший свою жену и считавший ее гениальным талантом. Но дебютантка не совсем потеряла присутствие духа и надеялась на свой второй дебют, который был назначен через неделю, в комедии «Ошибки, или Утро вечера мудренее». Пети должна была играть Софью, дочь Старомыслова. Я видел не один раз в Казани Феклушу в этой роли и хотя восхищался ею тогда, но теперь начинал смутно понимать, что второй дебют будет неудачнее первого и что та половина роли, в которой Софья является светской петербургской девушкой, будет сыграна дебютанткой дурно. Предчувствия мои оправдались, хотя я и не был зрителем второго дебюта, потому что через три дня отправился вместе с своим семейством в Петербург, где и получил скоро от Алехина горестное описание второго дебюта г-жи Пети.[59]

В продолжение моего трехмесячного личного знакомства с этими двумя, поистине жалкими, существами я бывал у них почти

ежедневно. Я назвал их жалкими не потому, что они были несчастны: они, пожалуй, даже были счастливы в настоящем, потому что искренно, горячо любили друг друга; но их будущность казалась мне и Алехину, несмотря на нашу молодость, весьма неблагоприятною и даже зловещею. Впрочем, кажется, Алехин, который был старше и разумнее меня, внушил мне такие мысли. Вот краткая история обоих Пети: Феклуша, крепостная актриса г-на Есипова, была нехороша собою, но со сцены казалась красавицей; она имела черные, выразительные глаза, а вечернее освещение, белилы и румяны доканчивали остальное. В ее игре, которая не успела сформироваться по образцам петербургских артистов, хотя помещик два года водил в театр и учил своих главных актеров и актрис, было много естественности и неподдельного внутреннего чувства. Живя в Петербурге, г-н Есипов возил иногда Феклушу и другого актера, Федора, даже к Дмитревскому, который *прошел* с ними несколько ролей. Феклуша сказывала мне, что Иван Афанасьич очень ее хвалил, очень ласкал и называл «mon petit demon».[60] Все это потом под-

твердил мне сам Дмитриевский. Феклуша на сцене восхищала всех без исключения, а многих молодых людей сводила с ума. Надобно заметить, что она была скромная девушка. В числе ее обожателей был юноша очень приятной наружности, тихий и застенчивый, m-g Petit, француз по фамилии, не умевший и говорить по-французски. Как он попал в Казань и почему служил при почтамте — не знаю. Я, бывая иногда с Г. И. Карташевским у Г. К. Воскресенского (сын которого был моим товарищем в гимназии), также почтамтского чиновника, видел у него несколько раз г-на Пети. Этот тихий юноша влюбился в Феклушу, будучи еще семнадцати лет. Долго любил он безмолвно, не замечаемый предметом своей любви; но постоянство восторжествовало. Через несколько лет Пети возмужал, Феклуша его заметила и полюбила; эта, уже взаимная, любовь тянулась еще два года. Наконец, целый город принял в ней участие и хлопотал о соединении влюбленных; но г. Есипов ни за что на это не соглашался. Причина была очевидна. Он предчувствовал, что театр лишится Феклуши. Общество рассердилось, и несколь-

ко известных молодых людей помогли Пети увезть Феклушу и обвенчаться с нею. Делать было нечего: г. Есипов принужденным нашелся простить свою беглянку, потому что за нее вступилась аристократия Казани и сам губернатор. Феклуша точно недолго осталась при казанском театре. У m-r Petit не было никакого состояния, кроме маленького жалования, которого он лишился, оставя службу при почтамте; но у Феклуши было накоплено около двух тысяч рублей ассигнациями; эта сумма составила из подарков казанской публики. Там существовало обыкновение, чему я сам бывал свидетелем не один раз, — бросать деньги актеру или актрисе прямо на сцену во время самого представления, для изъявления своего удовольствия. Иногда делали складчину заранее, иногда импровизировали ее тут же, в креслах: чей-нибудь кошелек наполнялся серебром и золотом или ассигнации завертывались в бумагу, и подарок бросался к ногам действующего лица, иногда в самой патетической сцене. Я видел, как сумасшедшая Нина (в известной опере «Нина, или Сумасшедшая от любви») приходила в себя, подни-

мала кошелек, клала его в карман, раскланивалась с зрителями и — делалась опять сумасшедшею Ниною. Такие знаки одобрения состояли не менее как из ста рублей, а в экстренных случаях доходили и до двухсот рублей, разумеется, ассигнациями. Чаще всех получала их Феклуша, и она говорила мне, что если бы умела беречь деньги, то могла бы скопить и пять тысяч рублей. Весьма было притительно бедной Феклуше поверить общим восторженным похвалам казанских театралов и вообразить, что стоит ей только показаться на московской сцене, чтобы заслужить благосклонность публики, получить хорошее жалованье и со временем — громкую славу. Нечего говорить, что влюбленному мужу своему она казалась чудом совершенства... И вот они отправились в Москву. Дорога и несколько месяцев, проведенных в ожидании дебютов, истощили их маленький капитал, и я нашел их уже в крайности, но полных надежд на счастливое будущее. Я старался ободрять их и должен сказать, что мое теплое участие было принимаемо ими с горячей благодарностью. Один раз встретил я у них страстного

любителя театра, московского купца Какуева, имя которого я забыл; он был уже старик, очень приветливый и почтенной наружности; он был большой приятель с Плавильщиковым и через него познакомился с Пети. Разумеется, меня также с ним познакомили; нахвалили ему мое чтение и мои сценические способности.[61]

Старик очень меня полюбил, обласкал, слушал мое чтение и даже целую сцену из «Ненависти к людям и раскаяния», которую мы с Феклушей ему продекламировали; я играл Мейнау, а г-жа Пети — Эйлалию. Какуев сказал мне, что он вполне ценит мое дарованье, но в то же время видит, что я стою на ложной дороге. Зная, что через несколько дней я должен отправиться в Петербург, Какуев предложил мне познакомить меня с его другом в Петербурге, с одним из умнейших актеров, Яковом Емельяновичем Шушериным. Я принял с восхищением и благодарностью такое предложение. За день до моего отъезда оба Пети и я провели вечер у почтенного любителя театра Какуева, и он написал

и отдал мне обещанное письмо к Шушерину.

Как настоящие низовые дворяне, зажившиеся в деревне, которым не столько по скудости, сколько по непривычке кажутся дикими всякие расходы, мы и в Петербург отправились на своих лошадях. Там ожидала нас уже нанятая недорогая квартира в Коломне, приготовленная Григорьем Иванычем Карташевским. Кроме него, у нас было в Петербурге только два дома знакомых: Д. Б. Мертваго и В. В. Романовский, да двое молодых людей Мартыновых. Давши один день отдохнуть лошадям, запрягли четверку в дорожную карету, одели меня в студентский мундир, вооружили шпагою, треугольной шляпой и послали с визитами в оба вышеупомянутые дома. Я отправился и не забыл положить в карман письмо Какуева к Шушерину. Мертваго, мой крестный отец, служил тогда генерал-провиантмейстером. Это был один из самых честнейших и любезнейших людей. Романовский тоже был честнейший человек, но сурово строгий и неблагосклонный старик; он был другом и помощником известного А. Ф. Лабзина, главы тогдашних мартинистов. Вся бра-

тия даже считала Романовского фанатиком. Посидев не подолгу в обоих этих домах, я поспешил отыскать квартиру Шушерина, который жил на Сенной площади. Сидя в карете, я сочинил великолепные фразы, которые собирался продекламировать, отдавая письмо, — что и исполнил. Впоследствии Шушерин много смеялся, вспоминая эту *рацею* (как он называл). Шушерину было тогда шестьдесят лет, но его физические и умственные силы находились в полной крепости мужества, и он сам говаривал мне, что не намерен прожить менее ста лет. Черты лица Шушерина были не хороши: нос небольшой, несколько вздернутый кверху, широкие скулы и маленькие серые глаза, но зато выразительные, умные, даже хитрые. Все лицо для сцены было невыгодно, потому что не имело резких черт, лишено было подвижности физиономии. Много слышал я жалоб Шушерина на эти недостатки, которые мешали его сценическим успехам и которые надобно было преодолеть, переливая все внутреннее чувство в выражение глаз и одушевленный голос. — Шушерин, одетый как больной, в туфлях, халате и колпаке, при-

нял меня в гостиной; выслушал, не улыбнувшись, мою торжественную речь, сказал несколько самых вежливых слов, усадил на креслах возле себя и попросил позволения прочесть письмо Какуева. Прочитав его, он посмотрел на меня проницательными глазами и сказал: «Послушайте, молодой человек, будемте говорить попросту. Если все то, что пишет мне об вас старинный мой приятель Какуев, совершенно справедливо, то мы придем друг другу по сердцу. В настоящее время ваш приезд в Петербург случился для меня очень кстати. Я стар и болен (я посмотрел на него вопросительно); службы моей при театре продолжать не могу. Я лечусь (и он указал мне на столик, уставленный склянками с лекарствами) и не выхожу из комнаты. Ваше общество будет для меня очень приятно. Вы человек образованный, учились в университете, занимаетесь литературой, страстно любите, как мне пишут, театр и желаете иметь доброго руководителя в игре на сцене; я учился, правда, на медные деньги, но бог не обидел меня дарованием. Я много видел и слышал на своем веку, много вытерпел, до всего

дошел сам и горжусь тем. Я всегда любил знакомство с умными, просвещенными людьми, и оно лучше книг заменило мне недостаток воспитания. Я всегда буду вам рад, особенно по вечерам. Вечер мой начинается в шесть часов и оканчивается в десять. Мы будем читать и разговаривать. Мне приятно будет вспомнить историю моего актерского образования, а вам будет интересно и небесполезно ее выслушать...» Эти слова привели меня в восхищение. Мне представилась такая приятная будущность, такое неожиданное исполнение моих мечтательных желаний и несбыточных надежд, что я мгновенно соскочил с декламаторских ходуль, бросился на шею к Шушерину и дал полную свободу моей живой и горячей природе. Перестав корчить степенного молодого человека и даже педанта, — явился я восемнадцатилетним, откровенным, простым юношей, который в один час выболтал все, что шевелилось у него на сердце и роилось в молодой голове. Впоследствии Шушерин часто с удовольствием вспоминал об этой быстрой перемене и признавался, что именно за эту перемену полюбил меня. На-

пившись кофею у Шушерина и даже позавтракав, я воротился домой, где несколько удивились моему долгому отсутствию. Я нашел у нас Григорья Иваныча Карташевского. Я обрадовался ему вдвойне, как истинному другу нашего семейства и как моему бескорыстному воспитателю. Карташевский хорошо знал мою безумную страсть к театру и поспешил сообщить мне, что в этот вечер знаменитая m-lle George в первый раз дебютирует на петербургской сцене. Дебютантка являлась в самой блистательной своей роли — в Расиновой Федре. Разумеется, у меня загорелось сильное желание ее видеть. Карташевский меня уверил, что кресел достать теперь уже нельзя, но что можно найти место в партере, если отправиться туда часа в четыре. Меня не утрашала скука дожидаться более двух часов начала представления; но я боялся, что мы сядем поздно обедать, а без обеда матушка ни за что меня не отпустит, ибо у нас обедали двое Мартыновых: первый из них, П. П., служил тогда штабс-капитаном в Измайловском полку, а другой, А. П., служил в банке и был ревностным поклонником Лабзина. Досадуя

на такое препятствие, я хлопотал из всех сил, чтобы дали поскорее обедать, и как мы не имели еще привычки обедать слишком поздно, то в половине четвертого сели за стол. Но, увы, обед тянулся нестерпимо долго. Наш деревенский повар и наши деревенские лакеи заставляли нас дожидаться каждого блюда добрых четверть часа, а блюд было много. Мое волнение и нетерпение становились заметными для всех. Карташевский вздумал меня успокоить и обратился ко мне с улыбкой, которая сейчас меня рассердила. «Послушайте, — сказал он, — если вы не попадете сегодня в театр, не увидите первого дебюта m-lle George, то я доставлю вам такое утешение, какого вы не ожидаете». — «Покорно вас благодарю, — отвечал я громко, — на этот раз я желал бы только одного, чтобы мне позволили встать из-за стола и отправиться в театр». — «Но вы не знаете, — продолжал он, — что утешение, которое я вам хочу предложить, также касается до театра». — «Это как-то странно, — сказал я голосом, в котором слышно было сильное огорчение и раздражение, — но если так, то говорите: теперь уже

пятый час, и я теряю надежду увидеть первый дебют m-lle George. Я довольно огорчен, утешайте». — «Я познакомлю вас с замечательным талантом и очень умным человеком, с Шушериным». — «Еще раз покорно благодарю, — возразил я, — но вы опоздали; сегодня я два часа сидел у него, и мы с ним друзья». В коротких словах рассказал я Карташевскому, как это случилось. Между тем нетерпение мое возросло до крайней степени. Я не мог владеть собою, и в то же время мне было так совестно посторонних людей, которые смотрели на меня с удивлением, что я готов был заплакать. Мать моя сжалилась надо мною и, чтобы избавить меня от каких-нибудь глупостей, решила отпустить в театр. «Встань, — сказала она, — я попрошу извинения у наших любезных гостей за твою неучтивость». Не нужно было повторять этого позволения. Большой каменный театр находился очень близко, и через десять минут я стоял уже в партере, который был так полон, что только двое зрителей решились втиснуться после меня. В середине партера кому-то сделалось дурно; я воспользовался дви-

жением толпы и, когда выводили больного, подвинулся значительно вперед. Наконец началась «Федра», которую никто не слушал до появления дебютантки. Хотя я ничего подобного m-lle George не видывал, но внутреннее чувство сказало мне истину, и я не разделял общего восторга зрителей, которые так хлопали и кричали, что, казалось, дрожали стены театра. Я осмелился сказать своим соседям, что дебютантка слишком поет стихи и что игра ее холодна. Дорого стоила мне моя откровенность: около меня стояли и сидели по большей части французы, и я был осмеян и обруган без пощады. Впоследствии я прислушался к пению m-lle George и оно меня уже не поражало, но первое впечатление мое насчет холодности ее игры утвердилось еще более, и, несмотря на европейскую знаменитость этого таланта, я осмелюсь сказать и теперь, что истинного чувства, сердечного огня у ней не было: была блестящая наружность, искусная, великолепная, но совершенно неестественная декламация — и только.

Семейство мое пробыло в Петербурге полтора месяца. Меня определили переводчиком

в Комиссию составления законов, где Карташевский уже служил помощником редактора или начальника отделения. Я остался в Петербурге с меньшим братом, которому было тогда двенадцать лет. Мы наняли довольно хорошую квартиру в Троицком переулке, недалеко от Аничковского моста, и вот началась моя тихая, однообразная жизнь. До обеда я работал в Комиссии, а брат учился. Мы обедали обыкновенно дома (покуда не познакомились с Шишковыми), кроме воскресенья, которое проводили у Романовских. После же обеда, сначала через день, а потом ежедневно, кроме вечеров, проводимых в театре, в шесть часов я всегда, вместе с братом, уже звонил у дверей Шушерина. Несколько первых вечеров посвящены были единственно разговорам. Я рассказал все, что касалось до меня и до моего воспитания. Шушерин сообщил мне свое настоящее положение при театре сперва с некоторой осторожностью, а потом довольно откровенно. Впоследствии, полюбив меня и получив полную доверенность к моей скромности, он рассказал мне подробно свое прошедшее, не всегда безукоризнен-

ное, свое настоящее и свои надежды на будущее. О прошедшем я поговорю после; настоящее же его положение состояло в следующем. Уже одиннадцать лет, как он перешел из Москвы на петербургский театр, перешел с тою целью и надеждой, что прежняя его театральная служба, при частном театре у Медокса в Москве, будет зачтена впоследствии за службу при императорском театре, в чем он уже успел, с помощью каких-то покровителей, которых приобретать он был большой мастер. Теперь представление к пенсии было разрешено; следовало ему прослужить при петербургском театре только два года так называемой *благодарности*. Пенсия состояла тогда из двух тысяч рублей ассигнациями для артистов, занимающих первое *emploi*; но Шущерину не хотелось оставаться долее на петербургской сцене, потому что репертуар изменился и ему приходилось играть невыгодные для себя роли; для *любовников* он уже устарел, а в *героях* его совершенно затмил актер Алексей Семеныч Яковлев; к тому же он не любил Петербурга и только о том и думал, как бы ему перебраться в Москву. Чтобы до-

стигнуть и того и другого, то есть пенсии и Москвы, он, предварительно условившись с одним из своих милостивцев (Си.....м), притворился больным, охал и стонал при тех посетителях, к которым не имел доверенности, соблюдал при них строгую диету и даже принимал лекарства, которые щедро прописывал ему благосклонный театральный доктор. Зато наедине, и даже при мне, при С.....ве или при Д. И. Языкове, он сбрасывал скучную маску, был жив, весел, бодр, как молодой человек, и ел необыкновенно аппетитно и жирно. В продолжение первых двух недель устроились правильно наши вечера, и вот началась для меня настоящая театральная школа.

На одной квартире с Шушериным, в особых комнатах, жила Надежда Федоровна, вдова его приятеля, замечательного московского актера И. И. Калиграфа. Она была красавицей смолоду и в свое время также известною актрисою на роли злодеек. В одно время с Шушериным она перешла на петербургскую сцену и также по болезни выходила на пенсию, на шестьсот рублей ассигнациями в год; которую и получила прежде Шушерина, что было

устроено им самим, с намерением облегчить получение своей пенсии, гораздо значительнейшей, ибо давать их актерам с московского театра Медокса, считая частную службу за казенную, — было тогда делом новым и могло встретить затруднения. Надежда Федоровна была постоянной нашей собеседницей, присутствовала и при чтениях; но когда Яков Емельянович рассказывал про свою забубенную молодость или ставил меня на какие-нибудь роли, она уходила в свою комнату, уводила с собой моего брата, разговаривала с ним или заставляла читать вслух.

Не могу вспомнить без восхищения об этом блаженном времени! С каким нетерпением бывало ждал я половины шестого, чтоб идти на Сенную площадь! Как весело и гостеприимно светился огонек в окошках Шущерина! Я примечал его издалека и ускорял нетерпеливые шаги! Поспешно отворялась дверь при первом звоне колокольчика, и ласково приветствовал нас Степан,[62] говоря: «Пожалуйте, Яков Емельянович и Надежда Федоровна вас дожидаются чай кушать». В самом деле, нас встречали с таким радушием, с

таким искренним удовольствием, что и теперь приятно об этом вспомнить. Редко мешали нам посторонние посетители.[63]

Шушерин начал с того, что выслушал все сколько-нибудь значительные роли, которые я игрывал, но предварительно я прочитывал вслух всю пьесу: тогда он определял характер лица, которое мне следовало сыграть, со всеми его подробностями; определялись даже отношения его к другим действующим лицам и ко времени, когда происходило действие. Я выучивал роли наизусть с величайшею точностью, гораздо тверже, чем знал тогда, когда играл их на театре в Казани. Потом Шушерин читал за те действующие лица, с которыми у меня шла сцена, а я играл свою роль, в полном смысле этого слова. Нередко случалось, что я повторял по несколько раз одну и ту же сцену. Таким образом, в продолжение двух с половиною лет прошел он со мною более двадцати значительных ролей,[64] кроме мелких, и я теперь не могу надивиться его терпению и любви к искусству. С самого моего детства я никогда не играл молодых людей, лю-

бовников, как говорится на театральном языке. Судя по большому запасу огня, которым я был наделен от природы, по моему росту и наружности, Шушерин думал, что я должен непременно играть любовников и что я случайно попал на роли благородных отцов и стариков, и несколько раз пробовал меня, заставляя играть Сеида в «Магомете» и Цедерштрема в «Бедности и благородстве души», но успеха не было: любовный огонь у меня не выражался. Убедившись в этом, Шушерин хотел, чтобы я играл молодых людей не влюбленных, и особенно налегал на роль Полиника в «Эдипе в Афинах»; все напрасно... чувства выражались у меня как-то не молодо и не бешено. Напротив, в роли Эдипа он был мною очень доволен. Впрочем, мы занимались не одними театральными пьесами. Я читал вслух все замечательное, что только появлялось в литературе; разумеется, были прочтены все любимые мои стихотворцы. Вообще у Шушерина было много эстетического чувства.

Года через полтора, когда дело о пенсии сделалось несомненным и два года благодар-

ности истекли, Шушерин стал понемногу снимать с себя маску мнимой болезни; стал иногда прогуливаться и ходил со мною изредка в театр, хотя делал это с большою осторожностью, переодеваясь в самое простое платье, так что его никто не узнавал в театре. Тогда начинала входить в славу Катерина Семеновна Семенова. Я видел ее в первый раз в роли Ксении в «Дмитрии Донском» и разделял общее восхищение зрителей; но Шушерин, к великому удивлению моему, сказал мне, что она начинает портиться и что он решительно недоволен ею в трагических ролях, кроме ролей Антигоны и Корделии, что она попала в руки таких учителей, которые собьют ее с толку, выучат ее с *голосу* завыванию по нотам. «Да, любезный друг, — говорил мне Шушерин, — Семенова такой талант, какого не бывало на русской сцене, да едва ли и будет. Ты не можешь судить о ней, не видавши ее в тех ролях, которые она игрывала, будучи еще в школе, когда ею никто не занимался и не учил ее. Ее надобно видеть в «Примирении двух братьев» или «Корсиканцах» Коцебу. Как скоро будут давать эти пиесы, я иду вместе с

тобой в театр. Я заметил в ней даже перемену в Антигоне и Корделии, когда играл последний раз «Эдипа» и «Леара»: она начинала надуваться и завывать. Я тогда же ей сделал замечание; но она отвечала мне, что ее так учат. И знаешь ли ты, кто ее главный учитель? Ты, кажется, слышал его чтение у А. С. Шишкова? Это Н. И. Гнедич; хотя я его очень люблю и уважаю, но боюсь, что этот одноглазый черт погубит талант Семеновой». В непродолжительном времени мы вместе с Шушериным видели ее в обеих выше мною названных пьесах Коцебу; игра Семеновой меня очаровала, и я почувствовал ее истинное достоинство; но Шушерин говорил, что она прежде играла проще и естественнее. «Стоя на коленях, — с жаром воскликнул Шушерин, — надо было смотреть ее в этих двух ролях!» Он находил, что следы проклятой декламации уже начинали и здесь показываться. Я тогда не умел и не мог этого заметить.

Разнесся слух, что Гнедич переводит Вольтерова «Танкреда» для того, чтобы Семенова в роли Аменаиды показала во всем блеске свой талант и могла бы достойно соперничать с т-

Le George, игрою которой Гнедич не был вполне доволен; он особенно чувствовал в ней недостаток огня, которым сам был наделен даже в излишестве. Вскоре Гнедич заехал к Шушерину и сказал ему, что переводит «Танкреда» и даже привез прочесть начало своего перевода, который по тогдашнему времени казался нам превосходным. Перевод был кончен, и пьеса поставлена с необыкновенною поспешностью, в три месяца. Все исполнилось так, как предполагал переводчик: Семенова торжествовала, и в публике образовалась партия, которая не только сравнивала ее с m-lle George, но в роли Аменаиды отдавала ей преимущество. Впоследствии перевод «Танкреда» был напечатан с приложением портрета Семеновой и стихами к ней переводчика. Мы с Шушериным видели Семенову в роли Аменаиды два раза; во второй раз Шушерин смотрел ее единственно для проверки сделанных им замечаний после первого представления, которые показались мне не совсем справедливыми; но Шушерин был прав и убедил меня совершенно. Превозносимая игра Семеновой в этой роли представляла чудную

смесь, которую мог открыть только опытный и зоркий глаз такого артиста, каким был Шушерин. Игра эта слагалась из трех элементов: первый состоял из забытых еще вполне приемов, манеры и формы выражения всего того, что игрывала Семенова до появления mlle George, во втором — слышалось неловкое ей подражание в напеве и быстрых, переходах от оглушительного крика в шепот и скороговорку. Шушерину при мне сказывали, что Семенова, очарованная игрою Жорж, и день и ночь упражнялась в подражании, или, лучше сказать, в передразнивании ее эффектной декламации; третьим элементом, слышным более других — было чтение самого Гнедича, певучее, трескучее, крикливое, но страстное и, конечно, всегда согласное со смыслом произносимых стихов, чего, однако, он не всегда мог добиться от своей ученицы. Вся эта амальгама, озаренная поразительною сценическою красотою молодой актрисы, проникнутая внутренним огнем и чувством, передаваемая в сладких и гремящих звуках неподражаемого, очаровательного голоса, — производила увлечение, восторг и вырывала

гром рукоплесканий. После второго представления «Танкреда» Шушерин сказал мне с искренним вздохом огорченного художника: «Ну, дело кончено: Семенова погибла невозвратно, то есть она дальше не пойдет.[65]

Она не получила никакого образования и не так умна, чтобы могла сама выбиться на прямую дорогу. Да и зачем, когда все восхищаются, все в восторге? А что могло бы выйти из нее!..» И до своей смерти Шушерин не мог без огорчения говорить о великом таланте Семеновой, погибшем от влияния пагубного примера ложной методы, напыщенной декламации г-жи Жорж и разных учителей, которые всегда ставили Семенову на ее роли с *голоса*.

Другую знаменитостью на петербургской сцене был трагический актер Алексей Семенович Яковлев. Талант огромный, одаренный всеми духовными и телесными средствами, но, увы, шедший также по ложной дороге. Он вышел из купеческого звания, не имел никакого образования и, что всего хуже, имел сильную склонность к веселым компаниям.

Перед его вступлением на сцену некоторое время занимался им знаменитый ветеран театрального искусства Иван Афанасьевич Дмитревский, и потому-то первые дебюты Яковлева снискали ему благосклонность публики, которая неумеренными знаками одобрения поспешила испортить своего любимца. Где есть театр, там есть и записные театралы. Это народ самый вредный для молодых талантов: они кружат им головы восторженными похвалами и угощениями, всегда сопровождаемыми излишеством употребления *даров Вакха*, как говаривали наши стихотворцы. По несчастью, Яковлев и прежде имел к ним склонность. Чад похвал и вина охватил его молодую голову: он счел себя за великого актера, за мастера, а не за ученика в искусстве, стал реже и реже посещать Дмитревского и, наконец, совсем его оставил. Новые роли, не пройденные с Дмитревским, игрались нелепо. Благосклонность публики, однако, не уменьшалась. Стоило Яковлеву пустить в дело свой могучий орган — кстати или не кстати, — это все равно, и театр гремел и ревел от рукоплесканий и «браво». Стих Озерова в

«Дмитрии Донском»:

Мечи булатные и стрелы каленные, —

в котором слово *стрелы* произносилось бог знает почему с протяжным, оглушительным треском, или другой стих в роли «Тезея»:

Мой меч союзник мне, —

причем Яковлев вскрикивал, как испуганный, ударяя ладонью по рукоятке меча, — приводили зрителей в неистовый восторг, от которого даже останавливался ход пьесы; я бесился и перед этими стихами заранее выбежал в театральный коридор, чтоб пощадить свои уши от безумного крика, топанья и хлопанья. Яковлев до того забывался, что иногда являлся на сцене в нетрезвом виде. Но публика не замечала или не хотела заметить — и хлопала, по обыкновению.

В самую эту эпоху сидели мы один раз с Шушериным, и я что-то читал ему. Вдруг раздался необыкновенно громкий звонок, и через минуту ввалился в гостиную полупьяный Яковлев. Он остановился в дверях и громозвучным голосом сказал:

*Здравствуй, брат
Визират!
Как изволишь поживать?*

К удивлению моему, Шушерин проворно соскочил с дивана, на котором лежал, бросился навстречу гостю, снял колпак, начал кланяться и шутовским голосом отвечал:

*Слава-сте богу,
Живем понемногу.*

Откуда взялся этот разговор на виршах, я не знаю. Дело в том, что Шушерин, не любивший Яковлева, как счастливого соперника, захотел потешиться своим гостем и показать мне его во всей невыгодной его славе. Чтобы не беспокоить Надежду Федоровну, которая с моим братом сидела в соседней комнате, он вывел Яковлева в залу, затворил дверь в гостиную, приказал подать самовар, бутылку рому и огромную чашку, которую не грех было назвать маленькой вазой, и мы втроем сели посреди комнаты около круглого стола. Шушерин напоил гостя допьяна и целый вечер безжалостно дурачил. Он называл его великим Яковлевым, заставлял декламировать

разные места из его ролей, подстрекая словами: «Ну, Алексей Семеныч, покажи себя, не ударь лицом в грязь; мне хочется, чтобы вот молодой мой приятель (указывая на меня) увидел тебя во всей славе твоего великого таланта». И пьяный Яковлев доходил до неистовства, до отвратительного безобразия. Наконец, Шушерин с притворным участием упросил его рассказать о недавно случившемся с ним несчастном происшествии, которое Яковлев, трезвый, скрывал от всех и которое состояло в следующем: подгулявший Яковлев вышел с какой-то поздней пирушки и, не имея своего экипажа, потребовал, чтоб один из кучеров отвез его домой; кучера не согласились, потому что у каждого был свой барин или свой седок; Яковлев стал их бранить, называть скотами, которые не понимают счастья везти великого Яковлева, и как эти слова их не убедили — принялся с ними драться; кучера рассердились и так отделали его своими кнутьями, что он несколько дней был болен. Сцена отвратительная, но жалкая, а Шушерин валялся со смеху, слушая добродушный и вполне откровенный рассказ Яковлева.

Эта черта в Шушерине мне очень не понравилась, и я поспешил уйти домой; вслед за мною Шушерин выпроводил Яковлева без всяких церемоний. В этот же раз, покуда не совсем опьянел, Яковлев рассказал нам, что он знаком с Державиным и ходит к нему читать или декламировать его оды; что Державин, слушая их, приходит в восторг и делает разные жесты и что один раз, когда Яковлев, читая оду «Бог», произнес стих:

Кого мы называем бог! —

Державин схватил с головы колпак и так низко поклонился, что стукнулся лбом об стол, за которым сидел. Яковлев и Шушерин смеялись; но мне вовсе не казалось смешным такое горячее сочувствие знаменитого нашего лирика к своим высоким произведениям.

Мне случилось еще провести один вечер у Шушерина с Яковлевым; но в этот раз он был не один, а вместе с Иваном Афанасьичем Дмитриевским, которого я до тех пор не видывал, да и после не видал; итак, это был для меня один из самых интереснейших вечеров во всей петербургской моей жизни. Яковлев с

Дмитревским сошлись нечаянно; первый был еще совершенно трезв, и появление старика очень его смутило, потому что он не навещал бывшего своего наставника несколько месяцев. Дмитревский был уже очень слаб, даже дряхл; с трудом передвигал ноги и ходил с помощью человека. Он показался мне среднего роста; но как стан его был сторблен годами, то, может быть, я и ошибся; лица его я рассмотреть не мог, потому что глаза его не сносили света, и свечи были поставлены сзади; голос тогда был у него уже слабый и дребезжащий; он немного пришепетывал и сюсюкал; голова тряслась беспрестанно: одним словом, это были развалины прежнего Дмитревского. Посещение его, вовсе неожиданное для Шушерина, к которому ездил он чрезвычайно редко, я считал для себя особенною милостью судьбы. Шушерин представил меня Дмитревскому как дилетанта театрального искусства. Старик был со мной очень ласков и учтив как человек, живший всегда в хорошем обществе. Я говорил с ним о казанском театре и об его ученице Феклуше; он очень ее помнил и подтвердил мне все ее рассказы. Во

все время нашего разговора смущенный Яковлев молчал; но скоро Дмитревский сам к нему обратился, и я с удовольствием увидел, что Иван Афанасьич, дряхлый телом, был еще бодр и свеж умом. Он принялся так ловко щунять Яковлева за его поведение, за неуважение к искусству, за давнишнее забвение своего прежнего руководителя, проложившего ему путь к успехам на сцене, что Яковлев не знал, куда деваться: кланялся, обнимал старика и только извинялся тем, что множество ролей и частые спектакли отнимают у него все время. Дмитревский улыбался и в нескольких словах показал, что это все вздор, что он знает весь репертуар Яковлева не хуже его самого. В числе оправданий Яковлев упомянул о поездке своей в Москву; он распространился о своих блистательных успехах на московской сцене и в доказательство вынул из кармана и показал нам дорогую золотую табакерку, осыпанную крупными бриллиантами, с самой лестною надписью. Табакерку ценили в пять тысяч рублей. Досадно, что я не помню надписи; но кажется, она состояла в том, что московское дворянство изъявляет свою благодар-

ность знаменитому артисту Яковлеву. Эта табакерка ужасно возгордила его; даже теперь, взглянув на нее, он вдруг ободрился и начал говорить о себе с дерзкою самоуверенностью. Он сказал, между прочим, что никто еще в России не удостоился получить такого блистательного знака благодарности от целого сословия благородного московского дворянства, что суд знатоков в Москве гораздо строже, чем в Петербурге, потому что в Москве народ не занятой, вольный, живет в свое удовольствие и театром занимается серьезно, тогда как здесь все люди занятые службой, которым некогда углубляться в тонкости театрального искусства, все чиновники да гвардейцы; что его игра в роли Отелло[66] всего более понравилась московской публике и что она два раза требовала повторения этой пьесы. При сих словах вдруг обратился он с вопросом к Дмитревскому, сильно раздраженному его хвастовством: «Позвольте узнать, достопочтеннейший Иван Афанасьич, довольны ли вы моею игрою в роли Отелло, если вы только удостоили вашим присутствием представление этой пьесы?» Дмитревский часто

употреблял в разговорах слова «душа моя»: но букву *ш* он произносил не чисто, так что ее заглушал звук буквы *с*; помолчав и посмотрев иронически на вопрошающего, он отвечал: «Видел, дуса моя; но зачем тебе знать, что я думаю о твоей игре? Ведь тебя хвалят и всегда вызывают; благородное российское дворянство тебе подарило табакерку. Чего ж тебе еще? Ты хорос, прекрасен, бесподобен». Яковлев чувствовал, что это насмешка. «Нет, достопочтеннейший Иван Афанасьич, — продолжал Яковлев с жаром и даже с чувством, — мне этого мало. Ваша похвала для меня дороже похвалы всех царей и всех знатоков в мире. Я обращаюсь к вам, как артист к артисту, как славный актер настоящего времени к знаменитому актеру прошедшего времени». Яковлев поднялся с кресел, стал в позицию перед Дмитревским, ударил себя рукою в грудь и голосом Отелло произнес: «Правды требую, правды!» Скрывая негодование, Дмитревский с убийственным хладнокровием отвечал: «Если ты непременно хочешь знать правду, дуса моя, то я скажу тебе, что роль Отеллы ты играешь как сапожник».

Эффект был поразителен: Шушерин плавал в восторге, потому что терпеть не мог Яковлева и хотя не любил, но уважал Дмитревского; я весь превратился в напряженное внимание. Яковлев, так великолепно и смело вызвавший строгий приговор, пораженный почти собственным оружием, несколько мгновений стоял неподвижно, потом поклонился Дмитревскому в пояс и смиренно спросил: «Да чем же вы недовольны, Иван Афанасьич?» — «Да всем, — отвечал Дмитревский, давший вдруг волю своей горячности. — Что ты, например, сделал из превосходной сцены, когда призывают Отелло в сенат, по жалобе Брабанцио? где этот благородный, почтительный воин, этот скромный победитель, так искренно, так просто душно говорящий о том, чем понравился он Дездемоне? Кого ты играешь? Буяна, сорванца, который, махая кулаками, того и гляди что хватит в зубы кого-нибудь из сенаторов...» — и с этими словами Дмитревский с живостью поднялся с кресел, стал посреди комнаты и проговорил наизусть почти до половины монолог Отелло с совершенною простотой, истиной и благородством. Все мы бы-

ли поражены изумлением, смешанным с каким-то страхом. Перед нами стоял не дряхлый старик, а бодрый, хотя и не молодой Отелло; жеста не было ни одного; почтительный голос его был тверд, произношение чисто и голова не тряслась.[67]

Шушерин опомнился первый, бросился к Дмитревскому, схватил его под обе руки, целовал в плечо и, восклицая: «Вот великий актер, вот неподражаемый артист!» — с большим трудом довел его до кресел. Дмитревский так ослабел, что попросил рюмку мадеры. Яковлев стоял как опущенный в воду. Все молчали, точно испуганные сверхъестественным явлением. Оправившись, Дмитревский сказал: «Разгорячил ты меня, старика, дуса моя, и я пролежу оттого недели две в постели». Голос его дребезжал, язык пришепетывал, и голова тряслась по-прежнему. «Пора мне домой, — продолжал он. — Если хочешь, дуса моя Алеса, ведь я прежде всегда так называл тебя, то приезжай ко мне; я пройду с тобой всю роль. Прощай, Яков Емельяныч». Дмитревский едва мог подняться с кресел:

Степан вместе со слугой Дмитревского повели его под руки; Шушерин, забыв свою мнимую болезнь и холодную погоду, схватил свечу и в одном фланелевом шлафроке побежал проводить знаменитого гостя и сам усадил его в карету. Когда он воротился, Яковлев стоял в том же положении, задумчивый, смущенный и безмолвный. Шушерин принялся хохотать. «Что, брат? Озадачил тебя старикашка?» — «Да, — отвечал Яковлев, — я услышал истину». С прискорбием должен я сказать, что Шушерин не поддержал в Яковлеве такого доброго расположения. Он принялся шутить, хвалить Яковлева и даже сказал, что всякому слову Дмитревского верить нельзя, а в доказательство его фальшивости рассказал происшествие, случившееся с ним самим. «Когда я приехал из Москвы в Петербург, — так говорил Шушерин, — по вызову здешней дирекции, для поступления в службу на императорский театр, мне были назначены три дебюта: «Сын любви», «Эмилия Галотти» и «Дидона», трагедия Княжнина, в которой я с успехом играл роль Ярба. Я обратился к патриарху русских актеров, к Ивану Афанасьичу, который

знал меня давно в Москве, всегда очень хвалил и способствовал моему переходу в Петербург. Несмотря на это, я боялся, чтобы его отзывы о моих дебютах не повредили мне, потому что не надеялся на прежние похвалы его, сказанные мне в глаза. Я хотел его наперед задобрить и просил, чтобы он прослушал мои дебютные роли; и хотя он отговаривался, что это не нужно, что ученого учить только портить, но я просил неотступно, и он выслушал меня. По первым двум ролям моих дебютов я получил подозрение, что Иван Афанасьич хитрит: самые лучшие места в моих ролях, которые я обработал и исполнял хорошо, он как будто не примечал, а, напротив, те места, которые были у меня слабы и которыми я сам был недоволен, он очень хвалил. Постой же, старый хрыч, — подумал я, — я тебя выведу на свежую воду. Первые два дебюта сошли очень хорошо. Когда я приехал к Ивану Афанасьичу с ролею Ярба, то прочел ее всю как следует, кроме одного места, которое у меня было лучше всех и в котором московская публика меня всегда отлично принимала: это 1-е явление в 4-м действии, где Ярб бросается на

колени и обращается к Юпитеру:

*О ты, которого все чтут моим
отцом,
Великий Юпитер, держащий
страшный гром!
Зри сыну твоему творимые доса-
ды!
Впервые для своей молю тебя от-
рады:
Когда ты мой отец, яви, что я
твой сын.
Из мрака грозных туч, и проч.*

Видя же, что в природе ничего не делается и Юпитер молчит, Ярб с яростью встает и говорит:

*Но что, слова мои напрасно я те-
ряю
И своего отца без пользы умоляю!
Когда ты не разишь, отцом тебя
не чту,
И только тщетную в тебе я зрю
мечту.*

Я прочел эти стихи так слабо, так дрянно, что мне было стыдно смотреть на Ивана Афанасьича. Что же он? Обнял меня и говорит:

«Прекрасно, бесподобно, точно так, как я прежде игрывал эту роль». Я спросил даже, не слабо ли я играю это место, не нужно ли его усилить; но он уверял, что надобно точно так играть. Во время представления пьесы Иван Афанасьич сидел на креслах, между двух первых кулис. Я, разумеется, играл это явление совсем не так, как читал Дмитревскому; публике оно очень понравилось, долго хлопали и кричали «браво». Когда я сошел со сцены и подошел к Дмитревскому, он обнял меня, превозносил похвалами, а на ухо шепнул мне: «Ты, сельма, бестия, плут, мосенник; ты знаешь за что». Долго он не мог простить мне этой шутки, и сколько я ни уверял его, что это случилось нечаянно, что это был сценический порыв, которого я в другой раз и повторить не сумею — старик грозил пальцем и начинал меня ругать». Этот рассказ очень поколебал Яковлева в доверенности к Дмитревскому. Потом он сильно подпил и, уходя, сказал: «Поеду к старику, только надуть себя не дам». Я забыл сказать, что в этот же вечер, еще до приезда Дмитревского, Яковлев сказал нам, что написал поэму в стихах. Шушерин

лукаво улыбнулся и сказал, что очень бы желал ее послушать, и Яковлев вынул из кармана тетрадку и прочел несколько куплетов. Стихи были, или показались нам, очень хороши, и мы оба, изумленные такой неожиданностью, горячо их хвалили. Яковлев ударил себя кулаком в грудь (это был любимый его жест) и сказал, обращаясь к Шушерину: «Да, брат, это Этна, в которой много кипит огня. Завтра прочту свою поэму Гавриилу Романовичу Державину». Я после видел эту пиесу, напечатанную отдельно. Это была не поэма, а большая лирическая песнь духовно-нравственного содержания, написанная, по тогдашнему весьма хорошими стихами, и, конечно, обличала новое дарование в этом замечательном и талантливом человеке. Поступок Шушерина меня огорчил. Из всех рассказов об Яковлеве должно было заключить, что в основании характера этого человека много лежало благородного и прекрасного. Оставшись наедине с Яковом Емельянычем, я упрекал его, но он отшучивался и отвечал мне, что «я еще молод и когда поживу с его на свете, то иначе буду смотреть на людей». Только

Шушерин с этих пор сделался осторожнее и старался при мне ничего подобного не говорить.

Гнедич переводил тогда «Илиаду». Он позвал Шушерина к себе, чтобы выслушать осьмую песнь, только что им конченную. Шушерин был так любезен, что сейчас вспомнил обо мне и выпросил позволение привести меня с собою: до тех пор я не был лично знаком с Гнедичем. Он переводил «Илиаду», начав с седьмой песни, потому что считал перевод первых шести песен Кострова вполне удовлетворительным; переводил он ямбами с рифмами и дошел до половины десятой песни. Всем известно, что впоследствии, по совету С. С. Уварова, подкрепленному советом А. Н. Оленина, Гнедич уничтожил свой ямбический перевод и начал переводить «Илиаду» с первой песни гекзаметрами. Я помню, что тогда, не понимая дела, я очень сожалел об этой перемене. Мы пошли с Шушериным пешком, и он предупредил меня, что Гнедич будет читать с таким жаром и с такими жестами, что опасно сидеть близко к нему, особенно с кривого глаза, и заранее потешался уродливо-

стию его декламации. Все это в Шушерине мне было досадно. Гнедич принял нас радушно и после нескольких слов о театре и о Семеновой, причем Шушерин не пропустил okazji сказать, вопреки своему убеждению, что она очень успевает под руководством Николая Ивановича, — принялся читать осьмую песнь «Илиады». Предсказания Шушерина сбылись. Гнедич, читая перед актером и перед неизвестным ему молодым человеком, которого он считал также чем-то вроде актера — дал себе полную волю. Тут я увидел, что не имел понятия о чтении Гнедича, хотя и слышал его один раз у А. С. Шишкова, где он читал седьмую песнь «Илиады» при довольно многочисленном собрании почтенных слушателей. Гнедич декламировал неистово, с движениями и жестами, в самом деле очень смешными. Я сидел прямо против него, Шушерин — сбоку, и я видел, как он забавлялся, что мешало мне восхищаться славными стихами Гнедича. Судьба захотела в этот раз вполне оправдать Шушерина: Гнедич в пылу декламации так махнул рукой, что задел за подсвечник, который вместе с свечой проле-

тел мимо головы Шушерина; он бросился поднять подсвечник; но Гнедич схватил его за руку, удержал на месте и, яростно смотря ему в лицо, дочитал, как Диомид, посадив возницей Нестора на свою колесницу, полетел против Гектора... Я поднял свечку, натурально переломившуюся, и поставил на другой стол. Вскоре пришла и моя очередь. Гнедич вдруг обратился ко мне, перекинулся через столик, за которым сидел, и, произнося стих:

Сего же злого пса стрела не улучшает, — [68]

едва не выколол мне глаз своим указательным пальцем. Шушерин смеялся за спиною у чтеца и делал мне такие уморительные жесты, что я сам едва не расхохотался. После окончания чтения он был так неделикатен, что спросил у Гнедича: «не ушиб ли он руку о подсвечник?» Но последний с досадой отвечал: «Нет». Наконец, мы простились с хозяином. Я благодарил за удовольствие, которое доставили мне его стихи, а Шушерин благодарил очень двусмысленно, говоря, что Нико-

лай Иванович его утешил и что он никогда не забудет этого вечера. Когда мы вышли на улицу, Шушерин так принялся хохотать, что мы несколько времени простояли на одном месте. Я хмурился и не смеялся, и это еще более смешило Шушерина. Я сказал ему, что, несмотря на уродливые выходки, в чтении Гнедича так много силы и выразительности, что я слушал его с большим удовольствием; но Шушерин возразил, что было бы еще выразительнее, если б Гнедич, желая придать более силы своему стиху, пустил в меня подсвечником, как Гектор, бросивший камень в Тевкра... Шушерин не вполне понимал Гомера, и слова *пес*, особенно *псица*, как называет Ириса богиню Палладу Афины, возмущали и смешили его.

Была прекрасная летняя ночь, тихая и светлая, как это бывает иногда в Петербурге. Из Садовой мы вышли на набережную Фонтанки, хотя это было дальше, и так прошли до Сенной. Брата моего уже не было у Надежды Федоровны, в окнах было темно; он ушел спать домой, а Степан проводил его; мы жили тогда на другой квартире, в доме Волкова,

очень близко от Шушерина, в том переулке, который идет с Сенной на Екатеринку.

Проходя со мною роль Неизвестного в комедии Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние», имевшей большой успех на многих европейских театрах, Шушерин не был мною доволен и требовал от меня больше простоты и естественности. Чтоб показать мне, как должен я играть эту роль, он пошел со мною в немецкий театр, на котором актер Фьяло или Фьял (кажется, так), по мнению Шушерина и всех знатоков, играл эту роль превосходно. Оба мы не знали немецкого языка; но игра Фьяло была так выразительна, а пьеса нам так известна по русскому переводу, что мы оба понимали ее совершенно и на немецком языке. В самом деле, игра Фьяло могла назваться совершенством естественности и простоты чувства. С непривычки эта простота даже меня удивила, особенно потому, что окружающие его действующие лица хотя также играли довольно просто, но все не попадали в один тон с неподражаемым Фьяло. Я переделал свою игру в роли Неизвестного, и Шушерин был так доволен, что даже обнял и поце-

ловал меня.[69]

Я продолжал между тем, от времени до времени, смотреть Жорж. Отдавая всегда отчет в моих впечатлениях Шушерину, я возбуждал его любопытство, и он сам захотел взглянуть на европейскую знаменитость. Мы выбрали для этого «Федру», всю роль которой я перевел для Шушерина (некоторые места даже стихами), хотя он и читал «Федру» в старинном переводе. Я заранее обратил его внимание на эффектные места и даже натвердил некоторые стихи по-французски, стихи, которыми m-lle George постоянно приводила в восхищение публику. Шушерин, может быть, оттого что был предупрежден мною, оценил сразу по достоинству славную актрису; он говорил: «Удивляюсь, благоговею, преклоняюсь перед ее искусством,[70] но не слышу души». Тем не менее он захотел еще ее видеть, и в продолжение нескольких месяцев мы видели ее еще раз в «Федре», потом в «Андромахе», в «Танкреде» и в «Семирамиде». В роли Аменанды она действительно уступала Семеновой, но зато торжествовала в Семирамиде. Эту

роль она играла лучше всех ролей, и Шушерин хвалил ее даже пристрастно, потому что увлекался великолепной наружностью, красотой, голосом, царственным величием актрисы. Когда Семирамида вошла на трон в венце, со скипетром, в царственной мантии и, обратись к присутствующим, начала свою знаменитую речь, Шушерин едва усидел на креслах и сказал мне: «Я стану на колени». Мы разобрали игру m-lle George, как говорится, по ниточке, и вот, в коротких словах, в чем состоял весь механизм и вся ее характеристика. M-lle George играла свои роли холодно, без всякого внутреннего чувства. Пластика была великолепна, в полном смысле этого слова. George была совершенная красавица: правильные, довольно крупные черты ее лица — необходимое условие, чтоб казаться совершенством красоты на сцене, — были подвижны и выразительны, особенно глаза; высокий рост, удивительные руки, сила и благородство в движениях и жестах — все было превосходно. Я думаю, что одна ее мимика, без слов, произвела бы действие еще сильнее. Характеры ролей, истинность их всегда прино-

сились в жертву эффекту; следовательно — даже теперь выговорить страшно — ее игра была бессмысленна относительно к характеру представляемого лица. Всякую роль m-lle George предварительно рассекала на множество кусков: в каждом из них находились иногда два стиха, иногда полтора, иногда один, иногда несколько слов, а иногда и одно слово, которым она поражала слушателей; для усиления эффекта избранных стихов, выражений и слов она обыкновенно употребляла три способа. 1) Она тянула, пела, хотя всегда звучным, но сравнительно слабым голосом, стихи, предшествующие тому выражению, которому надобно было дать силу; вся наружность ее как будто опускалась, глаза теряли свою выразительность, а иногда совсем закрывались, и вдруг бурный поток громозвучного органа вырывался из ее груди, все черты лица оживлялись мгновенно, раскрылись ее чудные глаза, и неотразимо-ослепительный блеск ее взгляда, сопровождаемый чудною красотою жестов и всей ее фигуры, довершал поражение зрителя. 2) Громозвучная, певучая и всегда гармоническая деклама-

ция вдруг обрывалась, и выразительным шепотом, слышным во всех углах театра, произносились те слова, которым назначено было, так сказать, вливаться в душу зрителей. Не нужно прибавлять, что мимика и вся наружность соответствовали такому быстрому переходу. 3) Способ состоял в том, что из скороговорки вдруг вылетали несколько слов, и нередко одно слово, произносимое без напева, протяжно, как будто по складам, с сильным ударением на каждый слог, так что избранное выражение или слово поразительно впечатлевалось в слухе и, пожалуй, в душе иного зрителя. Этот последний способ, употребляемый иногда обратно, так что скороговорка врывалась в протяжно певучую речь, в Петербурге менее производил действия, как я слышал от многих, чем на других европейских театрах, так что впоследствии m-lle George употребляла его гораздо реже, и многие говорили, что игра ее в России усовершенствовалась. Из такой постановки ролей необходимо следует, что они были все обделаны предварительно, *перед зеркалом*, в продолжение долгого времени. Все мельчайшие инто-

нации голоса, малейшие движения лица, рук и всего тела, всякая складка на ее платье, должествующая образоваться при таком-то движении, — все было изучено и никогда не изменялось. Мне случилось быть один раз в театре вместе с двумя ее поклонниками и сидеть между ними; я командовал всеми движениями m-lle George, зная их наизусть, так что выходило очень смешно. Я шептал: «Ступи шаг вперед, отодвинь назад левую ногу, опусти глаза, раскрой вдруг глаза, тяни нараспев, шепчи, говори по складам, скороговоркой, откинь шлейф платья назад...» и все в точности исполнялось в ту же минуту. Один из моих соседей расхохотался, а другой рассердился. M-lle George так механически играла свои роли, что, слушая иногда, по-видимому с благоговеньем или сильным наружным волнением, она бранилась шепотом с своими товарищами за *поданные* не вовремя *реплики*, или с своей прислужницей, стоявшей недалеко от нее за кулисами, забывшею подать ей какую-нибудь нужную вещь при выходе на сцену. Это слышал не я один, а весьма многие; находились такие люди, которые ставили ей

В достоинство такое уменье — в одно и то же время разделяться на два лица. Игра m-lle George была положена, так сказать, на ноты, твердо выучена наизусть и с неизменною точностью повторялась всегда. George не обращала ни малейшего внимания на мысль автора, на общий лад (ensemble) пьесы и на тон реплики лица, ведущего с нею сцену; одним словом: она была одна на сцене, другие лица для нее не существовали. После этого можно ли назвать ее игру художественным воспроизведением личности представляемого лица? Это было проявление каких-то движений или волнений души, внешним образом выражающихся, нанизанных на нитку как ни попало. Нет, никогда не признаю я искусства в таком уменье передразнивать внешнюю природу человека, хотя бы оно было возведено до высокой степени! Конечно, она подражала не одной внешней природе, она подражала и выражению страстей человеческих, но это подражание вообще было безжизненно, бесхарактерно, безразлично. Зритель видел в ее чертах и слышал в ее голосе *какое-то* волнение, *какую-то* силу и, по

смыслу произносимых ею слов, по характеру представляемого лица, должен был принимать это волнение или за гнев, или за отчаяние и т. п. Но, конечно, ни один зритель не мог найти в игре m-lle George выражения печали, любви и преимущественно нежности, хотя бы роль требовала именно таких чувств. Говорили: George производит сильное действие, оставляет глубокое впечатление. Положим, так, да какого рода это впечатление? Если не художественное, то не дай бог его испытывать. Это впечатление на нервы, а не на душу. Такое впечатление может произвести всякое физическое явление: внезапный свет, темнота, стук. Если мы пойдем дальше и будем искать такого рода эффектов, то разве предсмертные томления умирающего человека или казнь преступника не произведут еще сильнее впечатление? Но представление таких предметов на сцене было бы оскорблением искусству и художественному чувству образованного человека, и чем вернее подражание, тем хуже. Впрочем, George не умела хорошо умирать на сцене (и слава богу), хотя имела на то претензию.[71]

Я, наконец, не мог уже видеть без неудовольствия m-lle George, между тем как Семёнова и Яковлев, у которых хотя не было ролей цельных, но всегда были места, в которых природный талант их, то есть *одушевление*, вырываясь с неподдельною силою, — доставлял мне иногда истинное наслаждение.

Припоминая все рассказы Шушерина об его жизни и театральном поприще, слышанные мною в разное время, я соединю их в одно целое и расскажу, по большей части собственными его выражениями и словами, которые врезались в моей памяти и даже некогда были мною записаны. К сожалению, все мои тогдашние записки давно мною утрачены, потому что я не придавал им никакого значения. Разумеется, я многое забыл, и потеря эта теперь для меня невознаградима.

«Я родился в Москве, — так говорил Шушерин, — бедняком, от родителей низкого происхождения и мало их помню, особенно мать, которой я лишился еще в ребячестве. Отец мой был приказного звания и меня назначал к тому же, для чего и был я выучен грамоте

хотя на медные деньги, но, по-тогдашнему, лучше других. Отец мой умер в самом начале московской чумы, которую все называли черной смертью, но я жил уже не вместе с ним, а с двумя разгульными товарищами, такими же повесами, как я. Мы все трое служили писцами в присутственном месте.[72]

Я писал лучше и работал прилежнее их и потому денег получал больше, — так что их доставало у меня на опрятное платье, до которого я всегда был охотник, и на всякую гульбу; но товарищи мои одевались отвратительно. Все свободное время мы пьянствовали и буянили. Я пил не меньше их, а буянил втрое больше; но пьян бывал реже, потому что был необыкновенно крепок и вообще имел чертовское здоровье. Товарищи мои были такая ракалия, что иногда обкрадывали меня и пропивали мое праздничное платье; но я продолжал жить вместе с ними и только искуснее прятал и крепче запирал мои вещи. Смерть отца не произвела на меня никакого впечатления, да и появление страшной чумы меня не испугало. Я даже мало наблюдал осторож-

ности, и сам хоронил отца, прикасаясь к нему голыми руками, а не железными крючьями на длинных палках, какие тогда употреблялись всеми для прикосновения к человеку, умершему чумой. Я упросил полицейских, чтоб не жгли отцова платья и вещей, и подержав их над дымом зажженного навоза, взял их себе и употреблял без всякого вреда. Стыдно вспомнить, какая я был скотина и какую жизнь вел! В церковь ходил редко, говел через несколько лет. Только и было на уме, как бы где погулять на шерамыгу. Любимое мое удовольствие составляли кулачные бои, на которых я уже имел репутацию сильного и ловкого бойца, так что синяки носил редко, а других наделял ими часто; болен не бывал никогда. Так шла эта безобразная жизнь, пока не привлек моего внимания театр, заведенный и содержимый в Москве Медоксом. Эта забава мне очень понравилась и отчасти изменила мое поведение: я стал употреблять деньги на театр, а не на пьянство, отчего и гулять стал меньше. Новая моя охота росла, и, наконец, мне захотелось самому поиграть *на театре*, как его тогда называли. Я познако-

мился с мелкими актеришками, попотчевал, подружился с ними и открылся в моем желаниии. Уладить дело было нетрудно, потому что один из *офицантов*, выносящих на сцену стулья и говорящих иногда по нескольку слов — умер, и мне доставили это место. Я писал и читал бойко и скоро сделался нужным лицом при театре; я переписывал роли, за что получал по три копейки медью с листа, и когда суфлер бывал пьян или нездоров, то я занимал его место. Роли также я стал получать позначительнее, то есть четвертки в две и в три; но жалованье было скудно, так что нечем было бы жить, если бы я не вырабатывал денег на стороне переписываньем бумаг. Я сказал, что охота к театру изменила несколько мое поведение; вступление же на театр в *актеры* (так произносили тогда это слово) сделало меня еще поскромнее, потому что я постановил себе за правило, в тот день, когда играл, — ничего хмельного не пить. Надо признаться, что долго играл я сквернейшим образом. Публика ругала меня беспощадно, как и многих других, и я слышал своими ушами, стоя на сцене, как потчевали меня

в первых рядах кресел. Я слушал и смеялся. Наконец, один господин задел меня за живое. Я слышал, как он говорил: «Зачем эта дубина, Шушерин, вступил на театр, не имея к тому ни малейших способностей. То ли бы дело, тесак да лямку через плечо, а парень здоровый». Вдруг мне сделалось чрезвычайно обидно. «Постой же, — подумал я, — я докажу тебе, что у меня есть способности, и заставлю тебя мне похлопать». Господина этого я знал в лицо: он был известный охотник до театра. Я выпросил себе роль несколько позначительнее, выучил твердо и попросил советов Плавильщикова, хотя недавно вступившего на театр, но зато человека ученого. Я сыграл роль изряднехонько и получил, в первый раз в моей жизни, маленький аплодисмент. Это меня поощрило. Вскоре представился случай, по внезапной болезни одного актера, выучить в один день и сыграть другую роль, еще позначительнее. Разумеется, я напросился на это у режиссера сам. Роль я сыграл так удачно, что ее оставили за мной и по выздоровлении игравшего ее актера, который долго на меня косился. Мне прибавили двадцать пять

рублей ассигнациями жалованья. Но дела шли все по-прежнему. Вероятно, такая посредственность наконец бы надоела мне; я воротился бы к прежнему моему образу жизни, и, конечно, не бывать бы мне тем, что я теперь, если б я не влюбился. Влюбился я не на шутку, а так, как нынче не умеют влюбляться: от макушки до пяток. Я влюбился в молодую, прекрасную нашу актрису, занимавшую амплу первых любовниц в драмах и комедиях, М. С. С. Разумеется, искателей было много. Достигнуть до предмета моей любви было одно средство: сделаться хорошим актером, чтоб играть с ней роли любовников. Публика принимала ее с восхищением, и между ею и мною лежала целая морская бездна. Я, не задумавшись, бросился в нее и — выплыл на другой берег. Прошедшее и даже настоящее тогдашнее мое поведение опротивели мне. Я не переменялся, а переродился. Я сыскал себе расположение в Плавильщикове, Померанцеве и Лапине, бывшем прежде на петербургском театре. Я уверил их (и не обманул), что оставил прежнюю жизнь, что посвящаю себя театру до гробовой доски и что хочу

учиться. Они увидели, что это было мое искреннее желание, приняли меня в свое знакомство, давали мне книги и не оставляли меня советами. Кроме них, я ни с кем не знался. С утра до вечера я читал или писал, чтоб выработать деньги; вечера проводил в театре, когда был театр, а остальные — большей частью у Плавильщикова или у Лапина. Я пил воду, ел щи да кашу, но одевался щегольски; денег доставало у меня даже на книги, и в моей небольшой библиотеке ты сам можешь увидеть по надписям, в какие года я покупал их. В продолжение трех лет я работал, как лошадь, и, как у меня было много огня, много охоты и не бестолковая голова, то через три года я считался уже хорошим актером и играл вторых любовников, а иногда и первых, но в трагедиях еще не играл. Публика начала меня принимать очень хорошо, и господин, назвавший меня дубиной, дай бог ему здоровья, хлопал мне чаще и больше других. Ничего не значащая роль арапа Ксури в комедии Коцебу «Попугай» много помогла мне перейти на роли первых любовников. Бог знает почему так понравилась публике моя игра! Я

был осыпан аплодисментами и в первый раз в моей жизни — вызван. Право, я думаю, что прапорщик не так бы обрадовался генеральскому чину, как я этому вызову. Во второе представление «Попугая» я был принят еще лучше. Русский переводчик посвятил мне перевод «Попугая». Один богатый и просвещенный вельможа, князь Юсупов, всем известный любитель и знаток театра, мнения которого были законом для всех образованных людей, прислал мне от неизвестного сто рублей, а что всего важнее, он, сидя всегда в первом ряду кресел, удостоил меня не хлопанья (он этого никогда не делал), а троекратного прикосновения пальцев правой руки к ладони левой. Этого знака одобрения он только изредка удостоивал первых наших актеров. Когда я увидел этот знак, то с радости чуть не сбросил с руки чучелу попугая и едва не поклонился. С этого времени все переменялось: жалованье сейчас мне дали тройное, а потом четверное, назначили роли первых любовников, даже в трагедиях, и спустя два года я сделался любимцем публики, первым актером, знаменитым Шушериным». — «А что же лю-

бовь, Яков Емельянович?» — спросил я. «Любовь, брат?.. Выдохлась, или, вернее сказать, перешла в любовь к театру. Притворные любовники в драмах и комедиях убили настоящего! Впрочем, я... Ну, да что поднимать старину — кто молод не бывал!..»

«С появления моего в роли Ксури я постоянно поверял достоинство моей игры — движением рук того вельможи, о котором я сейчас тебе сказал. Как бы публика ни хлопала мне, если его руки оставались спокойны, я знал, что играю нехорошо; я начинал вдумываться в роль, разбирать ее, советовать, работать и, когда добивался знака одобрения от старика, тогда был доволен собою. Я пользовался советами Лапина и Плавильщикова. Померанцев талантом был выше всех, но играл по внушению сердца и в советчики не годился. У Лапина не было большого дарования, но он был умный, опытный, старый актер. Он долго жил в Петербурге и много игрывал на театре с Дмитревским и с обоими Волковыми, а потому от него можно было очень позаимствоваться. Плавильщиков же был удивительный чудак, человек умный, ученый, пи-

сатель, кончил курс в Московском университете и начнет, бывало, говорить о театральном искусстве, так рот разинешь. Читал мастерски, я лучше его чтеца не знаю, по всему следовало бы ему быть знаменитым артистом, но он не был им; он, конечно, занимал первые роли и пользовался славой, но все не такой, какой бы мог достигнуть. Причина состояла вот в чем: у него было довольно теплоты и силы, но пылу, огня не было, а он именно их хотел добиться, отчего впадал в крик, в утрировку и почти всегда сбивался с характера играемой роли. В таких пьесах, где нельзя горячиться, он был превосходен, как, например, в «Титовом милосердии», в «Купце Боте», в роли пастора в «Сыне любви» и в «Отце семейства». Мне рассказывал много лет спустя один верный человек, что Плавильщиков, доходивший в роли «Эдипа в Афинах» до такого неистовства, что ползал на четвереньках по сцене, отыскивая Антигону, — один раз играл эту роль, будучи очень слаб после горячки, и привел в восхищение всех московских знатоков. Ну, так вот какой человек был Плавильщиков! Перенимать у него методу игры, или,

яснее сказать, исполнение ролей на сцене — не годилось, а советы его были мне всегда полезны. Вообще должно сказать, что Плавильщиков имел свой, и довольно большой, круг почитателей. Был у меня и еще добрый советчик и друг мой, которого ты знаешь, купец Какуев; он и тогда, в молодости, был страстным охотником до театра и отличался самым скромным поведением. — Лучшими моими ролями были в трагедиях Сумарокова: Хорев, Трувор и Ростислав; [73] в трагедиях Княжнина: Владисан, Рослав и Ярб; потом роль Безбожного в трагедии «Безбожный»; графа Кларндона [74] в «Евгении» Бомарше; графа Аппиано в «Эмилии Галотти» Лессинга; Сеида в «Магомете» и Фрица в «Сыне любви». Эта последняя роль, поистине ничего не значащая, до того нравилась московской публике, что я впоследствии пробовал ее играть и здесь, но московского успеха не было.

Слава моя и также Плавильщикова дошла до Петербурга. Иван Афанасьич Дмитриевский приехал посмотреть нас; он и прежде бывал и игрывал в Москве, и мы его видали. В этот приезд он также играл несколько раз, и я все-

гда смотрел на него с восхищением и старался перенимать его игру. Он очень хвалил нас обоих, но от него ведь правды не вдруг узнаешь. Некоторые роли мы с Плавильщиковым играли поочередно, как, например, Безбожного и Ярба. Плавильщикову Дмитревский говорил, что он лучше меня, а мне, что я лучше Плавильщикова. Дело состояло в том, что Дмитревский предложил нам, от имени директора, перейти на петербургский театр, на котором актеры считались в императорской службе и по прошествии двадцати лет получали пенсiон, — только жалованье предлагал небольшое. Мы с Плавильщиковым соглашались, но жалованья требовали вдвое больше и условились не уступать ни копейки. Дмитревский торговался с нами, как жид: он позвал нас к себе, угостил, обещал золотые горы и уговаривал подписать условие, но мы не согласились и ушли. Вдруг, дорогой, Плавильщиков отстает от меня и говорит, что ему надо воротиться на ту же улицу, где жил Дмитревский, и к кому-то зайти — и воротился в самом деле. Мне сейчас пришло в голову, что он воротился к Дмитревскому и что он хо-

чет уехать в Петербург один, без меня; он понимал, что мое соперничество было ему невыгодно. Я не ошибся: на другой день узнаю, что Дмитревский прикинул Плавильщикову двести рублей ассигнациями и что он подписал условие. До самого отъезда в Петербург Плавильщиков прятался от меня, потому что я не только бы обругал его, но и прибил. Он пробыл в Петербурге всего один год; [75] дебюты его были неудачны, как ему показалось, публика принимала его посредственно, товарищи-актеры косились, и начальство не оказывало ему внимания. Он соскучился по Москве, вышел в отставку и воротился к нам на театр. Из его рассказов я вывел, однако, заключение, что сначала петербургская публика его приняла довольно благосклонно, но что впоследствии он сам повредил себе, вдаваясь постепенно в тот неистовый крик и утрировку, о которых я тебе уже говорил; этому способствовала много петербургская трагическая актриса Татьяна Михайловна Троепольская, которая страдала точно тою же болезнию, как и Плавильщиков, то есть утрировкой и крикливостью. Я сам после с ней

много игрывал и расскажу, какие я употреблял средства, чтоб удерживать ее в границах благопристойности. Странное дело: и Троепольская и Плавильщиков извиняли себя тем, что не могут совладеть с своею горячностью, а ведь это неправда. Настоящей горячности, то есть огня, с которым точно трудно ладить, у них не было. Я даже думаю, что именно недостаток огня, который невольно чувствуется самим актером на сцене, заставлял их прибегать к крику и к сильным жестам. Сколько раз случалось мне играть с Плавильщичковым, условившись заранее, чтобы он не вскрикивал, не возвышал голоса без надобности. Я даже прибегал к хитрости: уверял его, что он давит меня своим органом и что я от этого не могу хорошо играть и мешаю ему самому. Он соглашался. Перед самым выходом на сцену обещал взять тон слабее, ниже и вести всю роль ровнее, и сначала исполнял свое обещание, так что иногда целый акт проходил очень хорошо; но как, бывало, только скажешь какую-нибудь речь или слово хотя без крику, но выразительно, сильно, особенно если зрители похлопают — все

пропало! Возьмет целой октавой выше, хватит себя кулаком в грудь, заорет, закусит удила и валяет так до конца пьесы. Точно, тут была какая-то горячность, но совсем не тот огонь, который приличен представляемому лицу и который не нуждается в крике.

Много прошло времени, в продолжение которого ничего особенного не случилось. Слава моя не падала, а, смею сказать, увеличивалась. Мне сделали вторичное предложение из Петербурга, законным порядком, на бумаге; а Дмитревский[76] писал ко мне частным образом, тоже от имени директора, что если я прослужу лет десять на петербургском театре, то мне зачтут годы частной службы у Медокса и обратят мое жалованье в пенсion. Жалованья предложили мне две тысячи рублей ассигнациями и полный бенефис в зимний карнавал. В таком же роде предложение, хотя с меньшими выгодами, сделано было актеру Сахарову и, по моему ходатайству, вдове покойного моего приятеля, Надежде Федоровне Калиграф: ей предложили шестьсот рублей жалованья. Мы все трое подумали, посоветовались и решились переехать в Петер-

бург.

Дебюты наши были довольно удачны, особенно мои. Сахаров понравился в роли Христиерна, в трагедии Княжнина «Рослав», [77] Надежда Федоровна — в «Мисс Сарре Сампсон» и в «Титовом милосердии», а я — в «Эмилии Галотти» и в «Ярбе». Хотя я не вдруг приобрел благосклонность петербургской публики, у которой всегда было какое-то предубеждение и даже презрение к московским актерам с Медоксова театра, но я уверен, что непременно бы добился полного благоволения в Петербурге, если б года через два не появился новый дебютант на петербургской сцене, А. С. Яковлев, которого ты довольно знаешь. Он и теперь ничего не смыслит в театральном искусстве, а тогда был совершенный мужик, сиделец из-за прилавка. Нечего и говорить, что бог одарил его всем. И. А. Дмитревский был его учителем и покровителем. Дмитревский не то, что мы: он знаком со всею знатью и с двором; в театральных делах ему верили, как оракулу. Он поехал по всему городу, заранее расхвалил нового дебютанта, и Яковлев был так принят публикой, что, я

думаю, и самого Дмитревского во время его славы так не принимали. Грешный человек, я подозреваю, что Иван Афанасьич хлопотал об Яковлеве не из одной любви к его таланту, а из невинного желания втоптать меня в грязь, потому что он не мог простить мне, как я осмелился вывести его на свежую воду при моем дебюте в «Ярбе»; он не любил людей, которые видят его насквозь и не скрывают этого. Впрочем, я совершенно убежден, что он сам не предвидел таких блистательных успехов своего ученика и что он был не совсем ими доволен. Я не хочу перед тобой запираяться и уверять, что успех Яковлева не был мне досажен. Скажу откровенно, что он чуть не убил меня совсем. Публика, начинавшая меня и ценить и любить, вдруг ко мне охладела, так что если б не надежда на пенсию, на кусок хлеба под старость, то я не остался бы и одной недели в Петербурге. Стыдно бывало играть! В той самой роли, в которой за две недели встречали и провожали меня аплодисментами — никто разу не хлопнет, да еще не слушают, а шумят, когда говоришь. Горько было мне, любезный друг, очень горько. По-

ложим, Яковлев талант, да за что же оскорблять меня, который уже несколько лет доставлял публике удовольствие?.. И добро бы это был истинный артист, а то ведь одна только наружность. — Все думали, что я не выдержу такого афронта и возвращусь в Москву, которая некогда носила меня на руках; но бог подкрепил меня. Много ночей провел я без сна, думал, соображал и решился — не уступать. Я сделал план, как вести себя, и крепко его держался. Меня ободряла мысль, что не будет же Дмитревский все роли учить Яковлева, как скворца с органчика, и что он даже выученное скоро забудет и пойдет так врать, что публика образумится. Этот расчет только отчасти не обманул меня. Яковлев скоро зазнался, загулял и стал реже ходить к Дмитревскому: старик осердился и принялся побранивать во всех знакомых ему домах игру бывшего своего ученика. Лучшая половина публики очнулась, поняла свою ошибку; но остальная, особенно раек, продолжала без ума хлопать и превозносить нового актера. Между тем некоторые из моих молодых ролей совсем перешли к Яковлеву, и я сам от

них отказался; но зато тем крепче держался я за те роли, в которых мое искусство могло соперничать с его дарованьем и выгодной наружностью. Я постоянно изучал эти роли и их довел до возможного для меня совершенства. Образованная часть публики, опомнившись от угара, начала принимать меня если не по-прежнему, то все довольно хорошо. Я начал отдыхать. Вдруг Яковлев вздумал сыграть «Сына любви», роль, которую всегда играл я с успехом: забасил, задекламировал и скорчил героя вместо простого солдата. Публика приняла его очень плохо. Я упросил дирекцию, через одного приятеля, чтобы через два дня дали мне сыграть «Сына любви» и — был так принят, как меня никогда в этой роли не принимали: публика почувствовала разницу между актером, понимающим свое дело, и красивым, хотя даровитым невеждой. Почти то же случилось, когда Яковлев вздумал сыграть Ярба, который считался лучшею моею ролью. Дмитревский, играя Ярба, никогда не чернил себе лица; это был каприз, и при его великом искусстве и таланте публика не обращала внимания на цвет его лица. Яковлев

вздумал сделать то же и явился белым посреди своей черной свиты; публике это очень не понравилось, и его приняли хотя не так плохо, как в «Сыне любви», но гораздо хуже, чем в других ролях. Но, боже мой, как бы он мог быть хорош в этой роли с его чудесными средствами! Через неделю назначили «Дидону». Я должен был явиться в Ярбе; мне много стоило, чтоб победить в себе неуверенность в успехе. И точно, я был принят несколько хуже прежнего, но несравненно лучше Яковлева; итак, дела находились в сносном положении.

Я сказал тебе, что петербургская трагическая актриса Татьяна Михайловна Троепольская страдала одною болезнию с Плавильщиковым, то есть, говоря их словами, излишнею горячностью, и что они взаимно сбивали друг друга. Мне рассказывали, что Плавильщиков, во время пребывания своего в Петербурге, перед началом представления пиесы, всегда старался подгорячить Троепольскую и говорил: «Ну, матушка Татьяна Михайловна, не ударимте себя лицом в грязь, сыграемте сегодня на славу!» — и оба доходили до таких из-

лишеств, что приводили публику в смех. Я употреблял совершенно противоположную методу: я всегда говорил Троепольской перед выходом на сцену, что мне как-то нездоровится, что я чувствую какую-то слабость или что я совсем не расположен сегодня играть, чувствую себя как-то не в духе, и просил ее помочь мне спустить спектакль кое-как, переваливая пень через колоду. Эта проделка мне удавалась: в той сцене, где надобно было побольше огня, поджечь Татьяну Михайловну ничего не стоило, и пьеса сходила ладнехонько. Это было в самом начале моего пребывания в Петербурге.

Наконец, наступила пора изменения в трагическом репертуаре: явилась трагедия Крюковского «Пожарский» и потом трагедия Озерова «Эдип в Афинах». В первой Яковлев играл Пожарского, и хотя публика принимала его отлично хорошо, но и меня, в роли Заруцкого, приняла с таким же одобрением; это, конечно, было для меня очень лестно. Мои приятели и почитатели называли это моим торжеством, говоря, что я умел из ничтожной роли Заруцкого сделать замечательное лицо и

уравнять его с героем пиесы, которого играл даровитый любимец публики. Я принимал такие похвалы с скромностью, приписывая их снисхождению публики к старому актеру. Разумеется, я молчал и никого не выводил из заблуждения, а в самом-то деле из роли Пожарского и сделать ничего нельзя. Если б Яковлев играл ее лучше, то есть проще, — публика была бы еще менее довольна, тогда как роль Заруцкого имеет страсти, выражение которых всегда на сцене эффектно и выгодно. Скорее можно назвать моим торжеством трагедию Озерова. Я решился взять в ней роль Эдипа и первый раз в моей жизни вышел на сцену в старике. Это был мой первый, полный успех на петербургской сцене. На месте Яковлева я бы взял в этой трагедии роль Полиника, которая могла затмить Эдипа; но ему, во уважение высокого роста и богатырской фигуры, предложили играть царя и героя Тезея. Конечно, публика и здесь ему очень много хлопала; но роль Тезея ничто в сравнении с Полиником: если б я был молод, ни за что бы с этой ролью не расстался. Тогдашний Полиник, г. Щеников, играл очень плоховато, и

для меня это было небезвыгодно. Семенова, не игравшая еще в трагедиях, явилась в первый раз в роли Антигоны в «Эдипе в Афинах». Как она была хороша! Какой голос! Какое чувство, какой огонь!.. Ну да вот какой огонь: когда в третьем акте Креон, в отсутствие Тезея, похищает Эдипа и воины удерживают Антигону, то она пришла в такую пассиву, что, произнеся первые четыре стиха:

*Постойте, варвары! Пронзите
грудь мою,
Любовь к отечеству довольствуй-
те свою.
Не внемлют — и бегут поспешно
по долине;
Не внемлют — и мой вопль теря-
ется в пустыне... —*

вырвалась у воинов и убежала вслед за Эдипом, чего по пиесе не следовало делать; сцена оставалась, может быть минуты две, пустою; публика, восхищенная игрой Семеновой, продолжала хлопать; когда же воины притащили Антигону на сцену насильно, то гром рукоплесканий потряс театр! Все вышло так естественно, что публика не могла заме-

тить нарушения хода пьесы. Потом Озеров написал еще трагедию «Фингал». Я играл роль старика Старна; разумеется, Яковлев играл Фингала. Здесь повторилось почти то же, что было в трагедии «Пожарский», то есть: мстительный Старн произвел более впечатления, чем великодушный герой Фингал, хотя Яковлев был дивно великолепен в этой роли. Я по совести скажу, что хорошо играл Старна, но вот какое странное приключение случилось со мной: «Фингала» приказано было дать на эрмитажном театре; русские спектакли на нем давались довольно редко, и обыкновенно лучшие актеры, занимавшие главные персонажи, получали подарки какими-нибудь драгоценными вещами; я ни разу не играл в Эрмитаже, не получив перстня. Во время представления «Фингала» государь был очень доволен, и особенно мною, как мне потом рассказывали; но на другой день Яковлев и Семёнова, игравшая Моину, получили подарки: первый — бриллиантовый перстень, а вторая — бриллиантовые серьги, я же — ничего. Сначала думали, что это ошибка, но потом достоверно узнали, что государь именно велел

послать подарки Яковлеву и Семеновой, и когда ему напомнили о Шушерине, он повторил прежнее приказание.

Через несколько времени поступила на театр давно мне известная по старинному переводу и глубоко мною чтимая трагедия «Леар» (то есть «Король Лир») Шекспира, переведенная или переделанная Н. И. Гнедичем, тоже, кажется, из Дюсиса; но, впрочем, не для меня и не по моей просьбе, а для Семеновой. Конечно, для нее тут была прекрасная роль Корделии, и Семенова играла ее чудо как хорошо; но главное в пьесе лицо — старик Леар, которого играл я. Во всем моем репертуаре не было ничего подобного этой роли. Хотя все превозносили меня похвалами, но я чувствую и признаюсь тебе, что играл эту роль слабо и неверно. Внутренний голос говорил мне, как надо играть Леара, и я на первой пробе репетировал согласно с внутренним моим чувством; но все на меня восстало и нашло, что это тривиально, что Леар будет смешон, и сам переводчик говорил то же; оно, конечно, казалось так, потому что язык пьесы и игра всех актеров были несколько напыщенны,

неестественны, и простота моей игры слишком бы от них отличалась; но я знал через добрых людей, что Шекспир изуродован в этом переводе или в этой переделке, и сам читал описание, с какою простотой игрывал эту роль Гаррик. Поспорив немного, я уступил, потому что сам был не уверен в успехе моей новой игры.[78]

Я придал лицу Леара везде царственную величавость и важность тона, позволив себе приблизиться к натуре только в сцене помешательства во время бури. Успех был огромный, неслыханный. После окончания пиесы и вызовов, сначала меня, а потом Семеновой и Яковлева (последнего бог знает за что вызвали, и роль-то Ленокса была пустая) — прибежали ко мне в уборную мои советчики. Обнимая меня и поздравляя с успехом, один из них, кн. Шаховской, сказал: «Ну, вот видишь, Яков Емельяныч! хорошо, что ты нас послушался!..» — «Точно так, ваше сиятельство, — отвечал я с поклоном, — покорнейше вас благодарю...», но на уме у меня было совсем другое.

[С трагедией «Леар» вышла смешная и неприятная история: Гнедич напечатал, не помню где именно, стихи к Семеновой при поднесении ей экземпляра «Леар», которые начинаются так:

*Прими, Семенова, Леара своего:
Он твой, твои дары украсили его.*

В то же время Гнедич подарил экземпляр своего перевода и Шушерину с собственноручною надписью этих самых стихов, с переменою слова «Семенова», на слова: «О Шушерин». Я увидел это и указал Шушерину, который немножко обиделся и при мне сказал шутя Гнедичу: «Какой вы эконо́м в стихах, любезный Николай Иванович! Одни и те же стишки пригодились и мне и Семеновой! Только ведь мы могли заспорить, чей Леар: ее или мой? Я желал бы знать, кому стихи написаны прежде? Вероятно, мне, потому что я играл Леара и потому что я постарше». Гнедич ужасно смутился, уверял, что стихи написаны Шушерину, но что он их забыл и бессознательно повторил в стихах к Семеновой. После

этого пустого случая он стал реже видаться с Шушериным.]

Наконец, явилась русская, то есть из русской истории, трагедия Озерова «Дмитрий Донской».[79]

Я играл ничтожное лицо, князя Белозерского, а Яковлев — Дмитрия Донского. Эта роль была его триумф; она восстановила его несколько пошатнувшуюся славу, и восторг публики выходил из всяких пределов. Много способствовало блистательному успеху Яковлева то, что тогда были военные обстоятельства: все сердца и умы были настроены патриотически, и публика сделала применение Куликовской битвы к ожидаемой тогда битве наших войск с французами. Когда, благодаря за победу, Дмитрий Донской становится на колени и, простирая руки к небу, говорит:

Но первый сердца долг к тебе, царице царей!

Все царства держатся десницею твоей.

Прославь, и возвеличь, и вознеси

*Россию!
Сотри ее врагов коварну, горду
вью,
Чтоб с трепетом сказать ино-
племенник мог:
Языки, ведайте — велик россий-
ский бог! —*

такой энтузиазм овладел всеми, что нет слов описать его. Я думал, что стены театра развалятся от хлопанья, стука и крика. Многие зрители обнимались, как опьянелые, от восторга. Сделалось до тех пор неслыханное дело: закричали фора в трагедии. Актеры не знали, что делать. Наконец, из первых рядов кресел начали кричать: «Повторить молитву!» — и Яковлев вышел на авансцену, стал на колени и повторил молитву. Восторг был такой же, и надобно правду сказать, что величественная фигура Яковлева в древней воинской одежде, его обнаженная от шлема голова, прекрасные черты лица, чудесные глаза, устремленные к небу, его голос, громозвучный и гармонический, сильное чувство, с каким произносил он эти превосходные стихи — были точно увлекательны!

С появления этой трагедии слава Яковлева вдруг выросла опять до тех размеров, каких она начинала достигать после первых трех его дебютов, и утвердилась прочным образом, что ты видишь и теперь: а я опять начал испытывать холодность большинства публики. Точно как будто нельзя было, восхищаясь Яковлевым, отдавать справедливость Шущерину! Только в трех ролях: Эдипа, Старна и Леара — публика принимала меня благосклонно; даже по правде нельзя этого сказать про роль Старна, в которой я стал менее нравиться зрителям с тех пор, как мне не дали подарка за эрмитажный спектакль. Неприятность моего положения возвратилась вновь и не поправлялась. Так тянул я два года и сделался болен. Не думаю, чтоб моя болезнь происходила от постоянного душевного огорчения, как думал мой доктор, потому что я, пролежав три дня, стал скоро поправляться; но я решился, наконец, привести в исполнение мое давнишнее задушевное намерение. Десятилетний срок моей службы на петербургском театре уже прошел; мне стукнуло шестьдесят лет, и я, пользуясь своим нездоровьем,

прикинувшись слабым и хворым, подал просьбу об увольнении меня на пенсию. Хотя я не пользовался благорасположением начальства, особенно по репертуарной части, потому что мало его слушался в постановке ролей, но оно желало от меня избавиться и усердно ходатайствовало об исполнении моей просьбы; ты знаешь, что у меня есть добрые приятели и милостивцы, которые приняли во мне участие. Теперь, кажется, уже нет сомнения, что я скоро получу мою пенсию и перееду на житье в Москву, которую люблю и которая всегда меня любила. Уже двадцать пять лет, как я начал копить деньги на старость: каждый год откладывал я что-нибудь и клал в ломбард, и у меня накопилось с процентами с лишком двадцать тысяч. Я куплю себе маленький домик в каком-нибудь переулке, перевезу из Петербурга всю свою мухобель,[80] которую с намерением я заводил здесь в прочном виде, и заживу паном. За здешнею дирекциею у меня есть бенефис, и я уже выпросил позволение взять его в Москве: [81] это даст мне по крайней мере пять тысяч, а чтоб московской дирекции не было обидно,

то предварительно сыграю разок для нее и, конечно, доставлю кассе полный сбор. Петербург никогда мне не нравился, а теперь так опротивел, что я ушел бы из него пешком. По правде тебе сказать, я чувствую себя так крепким и бодрым, что надеюсь еще прожить долго. Я не намерен расставаться совсем с театром, а буду поигрывать от времени до времени, когда мне захочется, в свое удовольствие. Дирекции это будет очень выгодно, и она с радостью согласится или делить со мною пополам сборы, или назначить мне бенефис. Кажется, мои планы и намерения самые сбыточные, и я могу надеяться на их исполнение. В Москву, в Москву, любезный друг! На мою родину, в древнюю русскую столицу; я соскучился, не видав столько лет Кремля, не слыша звона его колоколов; в Москве начну новую жизнь — вот чего жаждет душа моя, о чем молюсь ежеминутно богу, о чем грежу во сне и наяву...» Надобно было видеть Шушери-на, чтоб почувствовать всю горячность этого желанья, всю искренность этих слов! Увлеченный ими, я сам обещал ему, что перейду служить в Москву, куда, вероятно, будет ино-

гда приезжать все мое семейство.

Между тем судьба еще не так скоро исполнила пламенное желание Шушерина. Прошло около года, а пенсия не выходила. Мое знакомство с ним с каждым днем становилось ближе. Он очень любил меня. Д. И. Языков рассказывал мне случай, который служит тому убедительным доказательством: я уезжал в отпуск в деревню и, будучи на охоте, по неосторожности прострелил себе руку; рана была довольно жестока, но при помощи хорошего доктора никакой опасностью не угрожала. Не понимаю, отчего дошла об этом весть до Петербурга, с довольно сильным украшением, то есть, что я убил себя наповал. Один раз у Шушерина обедало человек шесть приятелей. В том числе: Д. И. Языков, Гнедич, Н. И. Ильин (сочинитель известных драм)[82] и какой-то гость, в первый раз приглашенный к Шушерину. Этот господин, не зная о моей дружбе с Шушериним, вдруг за обедом говорит Языкову; «Слышали ли вы, что ваш знакомый молодой человек, Аксаков, застрелил себя на охоте и тут же умер?» Шушерин был так поражен, что всех перепугал. Он был

крепкого духа человек, которого ничто не могло смутить, а тут выпали у него из рук ножик и вилка, которые он держал в то время, и ручки слез хлынули из глаз; он должен был выйти из-за стола и оставить гостей с Надеждой Федоровной. В тот же день ездил он сам к Г. И. Карташевскому, чтоб узнать печальную истину, не застал его дома и оставил записку. Степан сказывал мне по моем возвращении, что «Яков Емельянович почти всю эту ночь не почивали, все ходили по комнате». На другой день, рано поутру, Шушерин получил от Г. И. Карташевского записку с уведомлением, что я точно прострелил себе руку, но что я уже выздоровел и на днях буду в Петербурге. Шушерин так невзлюбил того господина, впрочем, ни в чем не виноватого, который напугал его известием о моей смерти, что никогда не хотел уже его видеть у себя в доме.

Ничего не могу сказать о том, что замедлило назначение пенсии Шушерину, только ожидание это было для него томительно. Уже два года всякий день отвечали: «В непродолжительном времени все будет сделано». Конечно, мое присутствие было большой отра-

дой для Шушерина, и мне очень приятно об этом вспомнить.

С тех пор как Шушерин не играл, на петербургском театре «Эдипа» давали один раз, вскоре после моего приезда в Петербург, и я теперь никак не могу вспомнить, кто играл роль Эдипа вместо Шушерина. Помню только, что актер был крайне плох, чему доказательством служит и то, что пиесу эту перестали давать. «Леара» совсем не играли, и Шушерин очень сожалел, что я не видел Семеновой в роли Корделии. Но судьбе было угодно, уже незадолго до моего отъезда из Петербурга, доставить мне это истинное наслаждение. Один раз, пришедши по обыкновению к Шушерину, я нашел у него Боброва, игравшего роли деми-карактер (как говорилось тогда на театральном языке), а иногда — и чисто комические. У Боброва были роли, которые он играл очень хорошо и с такою естественностью, какой тогда не было ни у кого. Как только Бобров ушел, Шушерин с живостью обратился ко мне и сказал: «Поздравляю тебя, любезный друг, ты увидишь Семенову в Корделии. Бобров вздумал взять себе в бенефис «Леара», ко-

того сам хочет играть. Это будет тоже пре-
курьезная штука. Он приходил со мною посо-
ветоваться и просил позволения прочесть
мне роль. Я очень рад ему советовать, да
только выйдет ли из этого какой-нибудь
прок. Странная вещь! как это входит в голову
комическим актерам хвататься за трагиче-
ские роли! Рыкалова[83] нелегкая угораздила
сыграть Эдипа, а теперь Боброву пришла охо-
та сыграть Леара. Разумеется, для бенефиса
это выгодно: пьеса давно не игралась, Семен-
нова в ней публике очень нравилась, и вся-
кий для курьеза пойдет посмотреть, как Ско-
тинин[84] превратится в короля Леара. Пой-
дем и мы с тобою, любезный друг. Я заранее
скажу Боброву, чтоб он оставил нам двое кре-
сел рядом. С меня денег он не возьмет; ну, а
ты заплатишь».

Через несколько дней Шушерин сказал
мне, что Бобров был у него и прочел ему роль,
которую понимает довольно хорошо, что во
многих местах он будет недурен, но что за
успех ручаться нельзя, ибо публика, привык-
шая смеяться над Скотининым и дядей Клеши-
ным,[85] сейчас расхохочется и над Леаром

в тех местах, где Леар точно может возбудить улыбку, но смешанную с сожалением.[86]

Шушерин, кажется, искренно занимался Бобровым и смотрел главную репетицию на сцене. Он упрашивал Семенову, чтоб она утешила старого актера, может быть в последний раз в его жизни, и сыграла Корделию как можно проще. Предположения Шушерина оправдались только отчасти, то есть: публика порывалась расхохотаться в некоторых местах, смотря на Боброва в «Леаре»; но Шушерин никак не ожидал, чтоб зрители покрыли такими сильными рукоплесканиями сцену бури в лесу, куда убежал Леар, изгнанный дочерью. Должно сказать по совести, что Бобров был в этой сцене — просто дурен. Напротив, те места, которые были сыграны Бобровым очень верно, просто и с достоинством, остались незамеченными. Семенова... никогда не забуду я того впечатления, которое произвела она на меня. Сколько было чувства в ее гармоническом голосе, во всех движениях, в глазах, полных слез, устремленных с такою любовью на отца! Неумолимый Шушерин и тут

утверждал, что она была лучше, когда в первый раз играла эту роль с ним; но я ничего лучшего представить себе не мог и теперь не могу. Не думал Шушерин, что видит Семенову действительно в последний раз в своей жизни!

Я собирался уехать из Петербурга на неопределенное время, по особенному семейному обстоятельству. Шушерин, все еще не получивший отставки и пенсии, терял всякое терпение и приходил даже в раздражение; он упрашивал меня, чтоб я остался на какой-нибудь месяц, в продолжение которого дело его решится, и он проводит меня до Москвы. К сожалению, я не мог исполнить его просьбы, и он не только огорчился, но и сердился. За два дня до моего отъезда зашел я к Шушерину часов в десять утра, чего прежде никогда не случалось, и нашел его в зале, очень радушно угощающего завтраком какого-то седенького, худенького, маленького, но бодрого старичка. Это был актер Шумский, современник обоих Волковых и Дмитревского. Шушерин мне говорил, что Шумский старше их всех и что ему тогда было за сто лет. Находясь очень давно

на пенсии, он жил у кого-то, на седьмой версте по Петергофской дороге, и каждый месяц приходил в Кабинет[87] за своим месячным пенсионом; этого мало: не знаю, по каким причинам, только он обыкновенно брал двадцатипятирублевый мешок медных денег и относил его на плече домой, никогда не нанимая извозчика. В этот раз также был с ним мешок, который и стоял в углу. Надобно вспомнить, что в шестнадцати рублях тогдашней медной монеты находилось ровно пуд весу; итак с Невского проспекта до своего жилища, следовательно верст десять, ему надобно было пронести на плече с лишком полтора пуда. Он несколько раз в год заживал на перепутье к Шушерину, чтоб отдохнуть и позавтракать, а как это всегда случалось довольно рано поутру, то я его никогда и не видывал. Шушерин утверждал, что Шумский был необыкновенный актер на роли слуг (прежде это было важное амплуа), молодых повес и весельчаков из простого звания. Я был очень рад, что мне удалось увидеть Шумского. Я с любовью и уважением смотрел на этот славный обломок нашего первоначаль-

ного театра, замечательного сильными талантами, так чудно пощаженный временем. Шумский был весел, жив и словоохотен. Он проговорил со мной часа два. Без сомнения, его талант был чистый инстинкт или, пожалуй, вдохновение. Верный почти общему свойству долго зажившихся стариков — находить все прошедшее хорошим, а все настоящее дурным, — Шумский утверждал, что нынешний театр в подметки не годится прежнему, и доказывал это, по его мнению, неопровержимыми доказательствами. «Да вот, недалеко ходить (он говорил живо и отрывисто), Яков Емельянович, чать помнишь али нет? или был еще молод? Как, бывало, Офрен[88] в «Заире», в роли Оросмана, скажет: «Zaire, vous pleurez?»[89] — так полчася хлопают и дамы и кавалеры плачут! А нынче что? ничего. Ну, да вот ты, Яков Емельянович, ведь и ты хорошо игрывал Оросмана, и тоже, бывало, как скажешь: «Заира, плачешь ты?» — тоже, бывало, долго хлопают, а нынче что? ничего. Никто и платочка не вынет, чтоб глаза утереть. Нынче все любят шум да крик. Я ходил вашего Яковлева смотреть. Ну что, ничего. Мужик рос-

лый, голос громкий, а душевного нет ничего». В таком роде был весь разговор Шумского.

В июне 1811 года я уехал в Оренбургскую губернию. Через два месяца получил письмо от Шушерина, который уведомлял меня, что, наконец, давно ожидаемая пенсия и отставка им получены, что он теперь вольный казак, что он уже отправил весь свой багаж и Степана в Москву к Какуеву и сам на днях выезжает туда же вместе с Надеждой Федоровной.

В январе 1812 года приехал я с своим семейством в Москву. Я немедленно отыскал Какуева и, к удовольствию моему, узнал, что Шушерин здоров и совершенно доволен своим положением, что он живет в переулке, близ церкви Смоленской божией матери, в собственном домике, уже давно для него купленном и даже отделанном, разумеется все тем же его другом Какуевым. Я поспешил к Шушерину. Мы обрадовались друг другу чрезвычайно. Он был счастлив в полном смысле этого слова. Домик был премиленький, отделан с большим вкусом; петербургская мебель, шкафы с книгами и фарфором, картины, часы, все было уставлено так ловко, так уютно,

что точно было сделано нарочно по стенам этого дома. Надежда Федоровна помещалась прекрасно и совершенно отдельно. Шушерин был рад своему дому буквально как ребенок, который рад игрушке, у него не бывалой! Он затаскал, замучил меня, показывая свой дом со всеми его надворными строениями и хозяйственными принадлежностями, растолковывая мне и заставляя вникать меня во все малейшие подробности. «Да понимаешь ли ты это счастье: иметь на старости свой угол, свой *собственный* дом, купленный на деньги, нажитые собственными трудами? да нет, ты этого никогда не поймешь!.. У меня много еще в голове планов, — продолжал он, — которые я буду приводить в исполнение постепенно. Нынешний год сделаю только палисадник и разобью садик; на будущий год непременно сделаю каменную кухню и поставлю ее отдельно, а на следующий год перекрашу прочным образом весь дом и все строения и потом уже стану заниматься одним садом; вид из него чудесный на Москву-реку; я засажу мой сад цветущими кустами, которые через год будут цвести и давать тень»... — так

говорил Шюшерин, и я верил вполне, что все это точно так исполнится. Никакого зловещего предчувствия, никакой черной мысли не мелькало у меня в голове.

Шюшерин, ожидая меня в Москву, приготовил мне работу; он уже условился с московской дирекцией насчет будущего своего бенефиса и выбрал для него пиесу: трагедию «Филоктет», написанную Лагарпом. Причиною такого выбора было, во-первых, то, что роль Филоктета шла к его годам и некоторым образом подходила к лицам Эдипа и Леара, которыми он прославился в последнее время, и, во-вторых, потому, что французский знаменитый трагик, Larive или Lequen, хорошенько не помню, выбрал эту пиесу для последнего своего бенефиса и прощанья с театром. Я должен был перевести «Филоктета» стихами. Пиеса была небольшая, я принялся за дело с жаром, и месяца через два Шюшерин повез меня читать мой перевод к Ф. Ф. Кокошкину, всеми уважаемому тогда литератору и страстному любителю и знатоку театра, первому чтецу и благородному актеру своего времени, с которым, разумеется, я был познакомлен предва-

рительно. У Кокошкина ожидали нас: Мерзляков, Иванов, Вельяшев-Волынцев и Каченовский. Я принялся переводить «Филоктета» без всяких претензий на литературное достоинство перевода, только чтоб как-нибудь исполнить желание Шушерина, который сам признавался мне, что ничего, кроме золотой посредственности, от моего перевода не ожидал; но, прочитав его, Шушерин сказал, что это один из лучших переводов того времени, и потому он захотел им похвастаться. Хотя я и имел доверенность к эстетическому чувству Шушерина, но решительно не поверил его отзыву. У Кокошкина и мое чтение и мой перевод были осыпаны похвалами, что меня, по совести говорю, очень удивляло. Шушерин торжествовал за меня. Перевод мой переписали и послали в цензуру.[90]

Прошел великий пост и святая неделя, начались спектакли, но никакой луч надежды не мелькал в моей голове увидеть Шушерина на сцене прежде его бенефиса, и то надо было приехать для этого зимою в Москву. И вдруг совершенно неожиданно исполнилось это

мое давнишнее и горячее желание. Вот как это случилось: зашел я однажды вечером к Шушерину и нашел у него двух московских актеров: г-на Злова и г-на Мочалова (отца того Мочалова, которого не так давно потеряла Москва). Оба они не имели еще никакой известности и получали ничтожное жалованье. Дирекция, возлагавшая на них надежды в будущем, для поощрения назначила им бенефис, через две или три недели после святой. Мочалов и Злов, говоря об этом с Шушеринным, изъявили в то же время сомнение, чтоб бенефис мог принести им выгоду, потому что пиесы игрались незаманчивые. Москва разъехалась по деревням и по дачам, а бенефицианты не имеют такой репутации, чтоб привлечь в театр своим именем остальную публику. Шушерин слушал их с участием. Он вспомнил свои молодые годы; ему вдруг сделалось так жаль этих даровитых людей, что он с живостью сказал им: «Господа! хотите ли, чтоб я вам помог? я сделаю это очень охотно. И вот какая штука пришла мне в голову: дайте себе в бенефис небольшую комедию Коцебу «Попугай»; ее можно поставить в

неделю, а я сыграю вам арапа Ксури. Москва очень любила меня в этой роли, и все из курьеза пойдут посмотреть, как шестидесяти-трехлетний Шушерин сыграет восемнадцатилетнего негра!» Разумеется, и Злов и Мочалов не знали, как и благодарить за такое великодушное предложение. Они сию минуту отправились к директору А. А. Майкову, пересказали ему слова Шушерина; он, разумеется, охотно согласился, дело было улажено, и за постановку «Попугая» принялись усердно. Шушерин не позволял мне смотреть репетиций, и я тем с большим нетерпением и волнением ожидал этого спектакля. Недели через полторы новый деревянный большой арбатский театр наполнился зрителями и бенефициантами, за всеми расходами, получили каждый по две тысячи пятисот рублей ассигнациями. Гром рукоплесканий продолжался несколько минут, когда показался Ксури. Спина устала у бедного Шушерина от поклонов на все стороны; он же раскланивался по-старинному. С жадностью глотал я каждое его слово, ловил каждое движение и вот что скажу об его мастерском исполнении этой весьма незначи-

тельной роли. Начну с того, что Шушерина нельзя было узнать. Голос, движения, произношение, фигура — все это принадлежало совершенно другому человеку; разумеется, чернота лица и костюм помогали этому очарованию. Передо мною бегал не старик, а проворный молодой человек; его звучный, но еще как будто неустановившийся молодой голос, которым свободно выражались удивление, досада и радость дикаря, перенесенного в Европу, раздавался по всему огромному театру, и его робкий шепот, к которому он так естественно переходил от громких восклицаний, был слышен везде. Какая-то ребяческая наивность, искренность была видна во всех его телодвижениях и ухватках! Как мастерски подрисовал он себе глаза, сделал их большими и навывкате. Как он умел одеться и стянуться! Ни малейшей полноты его лет не было заметно. Все видели здорового, крепкого, но молодого негра. Одним словом, это было какое-то чудо, какое-то волшебство, и публика вполне предалась очарованию. Все мои замечания состояли в том, что Шушерин иногда слишком много и живо двигался и слишком про-

ворно говорил. Я на другой день сказал об этом Шушерину, и он откровенно признался, что мое замечание совершенно справедливо и что он для того позволил себе эту утрировку, чтоб скрыть свои шестьдесят три года. Много было и письменных и печатных стихов и похвал в прозе Шушерину; я тоже написал четыре стиха тогдашней современной фактуры и напечатал их сюрпризом для Шушерина в «Русском вестнике» С. Н. Глинки. Номер вышел через несколько дней после спектакля. Шушерин, прочтя мое четверостишие и не зная имени сочинителя, сказал, что эти стихи ему приятнее всех других. Вот они.

ЯКОВУ ЕМЕЛЬЯНОВИЧУ ШУШЕРИНУ

На спектакль в бенефис гг. Мочалова и Злова.

Мая... дня.

*В сей день ты зрелище явил нам
превосходно
И с трудностию нас заставил
разбирать,
Что более в тебе должны мы ува-
жать:*

*Великий ли талант, иль сердце
благородно.*

Увидев на сцене Шушерина в роли Ксури, я понял, отчего за тридцать лет перед сим он имел такой блистательный успех, отчего ничтожная роль составила ему тогда первоначальную славу. Ящик отпирается просто: играя дикого негра, Шушерин позволил себе сбросить все условные сценические кандалы и заговорил просто, по-человечески, чему зрители без памяти обрадовались и приписали свою радость искусству и таланту актера. Итак, по тогдашним понятиям надобно было быть диким, чтоб походить на сцене на человека.

У нас говорится, что беда не приходит одна — то же можно сказать и о приятных событиях. По крайней мере так случилось тогда со мною, и так случалось нередко в продолжение моей жизни. Не успел я опомниться от радости, что видел Шушерина в роли Ксури, как судьба приготовила мне другой спектакль, о котором не могло мне и во сне прийтись. В этот раз Шушерин сам зашел ко мне возвестить неожиданную и радостную

новость. Как теперь гляжу на него, с ног до головы одетого в серый цвет, то есть по-летнему; проходя мимо нашей квартиры, он посту- чал своей камышовой тростью в мое окно, и когда я выглянул, то он с улыбающимся ли- цом мне сказал: «Ну, брат! Судьба хочет тебя побаловать: только я теперь рассказывать не стану, потому что, идя пешком, устал, а рас- скажу тогда, когда ко мне придешь. Если же хочешь сейчас узнать, то бери шляпу, прово- ди меня до дому и отобедай со мной». Любо- пытство мое было сильно возбуждено; я от- правился с Шушериным и вот что узнал: Ф. Ф. Кокошкин не только был охотник играть на театре, но и большой охотник учить деклама- ции; в это время был у него ученик, молодой человек, Дубровский, и тоже отчасти учени- ца, кажется, в театральной школе, г-жа Бори- сова; ему пришла в голову довольно странная мысль: выпустить ее в роли Дидоны, а учени- ка своего Дубровского в роли Энея; но как в это время года никто бы из оставшихся жите- лей в Москве не пошел их смотреть, то он придумал упросить Шушерина, чтоб он сыг- рал Ярба. Разумеется, директор был очень это-

му рад и вместе с Кокошкиным атаковал Шушери́на самыми убедительными просьбами. Рассказав все это мне, Шушерин прибавил в заключение: «Ярба я никогда не стал бы играть добровольно; но вот видишь ли, любезный друг, какая штука: дирекция мне нужна вперед, а Кокошкина директор очень уважает. Отказаться мне нетрудно, но ведь осердятся и, пожалуй, напакостят что-нибудь в моем будущем бенефисе. Я мог бы отложить этот спектакль до осени; но теперь ты здесь и, конечно, будешь рад увидеть меня на сцене. Разумеется, я желал бы показаться тебе не в Ярбе, а, например, в «Короле Леаре»; ну, да делать нечего — я согласился, и через полторы недели идет «Дидона». Не нужно говорить, как я был этому рад. Конечно, я не мог ожидать такого счастья. Мы сами собирались уже уехать из Москвы, и я упросил моего отца и мать отложить на несколько времени наш отъезд. Репетиции начались немедленно и продолжались ежедневно на сцене, потому что надобно было сладить пиесу с двумя молодыми неопытными актерами. Шушерин придавал репетициям большую важность[91]

и не пускал на них посторонних зрителей до главной пробы, которая делалась в костюмах, во весь голос, на сцене и всегда накануне представления; но Шушерин и тут не пустил меня, а слышал я только одну репетицию вначале, вполголоса. Несмотря на совершенно устарелые стихи и нелепость самого Ярба, чтение Шушерина показалось мне превосходно. Наконец, наступил день, давно ожидаемый и желанный. Многочисленная публика наполнила театр. Поднялся занавес, прошел первый несносный акт; Борисова была принята очень благосклонно, что она и заслуживала, и даже к Дубровскому, не имевшему никаких дарований и не подававшему никаких надежд, зрители были снисходительны. Великолепен, блистателен явился Ярб. Это был тоже арап, как и Ксури, но высокого роста и богатырского телосложения. Как умел так превращаться Шушерин, не понимаю.[92]

Бешенство Ярба начинается с первых слов:

*Се зрю противный дом, несносные
чертоги,
Где все, что я люблю, немилосер-*

ды боги
Троянску страннику с престолом
отдают! —

и продолжается до последних стихов включительно:

*Дидона!.. Нет ее!.. Я злобой омрачен;
Бросая гром, своим сам громом поражен.*

Что сказать о целом исполнении этой поистине нелепейшей роли? Цельное исполнение ее невозможно. Ярб должен буквально бегать все четыре акта, на что, конечно, не останется никакого огня и чего никакие силы человеческие вынести не могут, а потому Шушерин, для отдыха, для избежания однообразия, некоторые места играл слабее, чем должно было, если следовать в точности ходу пьесы и характеру Ярба. Так поступал Шушерин всегда, так поступали другие, и так поступал Дмитревский в молодости. О цельности характера, о драматической истине представляемого лица тут не могло быть и помину. Итак, можно только сказать, что все те места яр-

сти, бешенства и жажды мщения, в которых Шушерин давал себе полную свободу, принимая это в смысле условном, были превосходны — страшны и увлекательны; в местах же, где он сберегал себя, конечно, являлась уже одна декламация, подкрепляемая мимикою, доводимую до излишества; трепета в лице и дрожанья во всех членах было слишком много; нижние, грудные тоны, когда они проникнуты страстью, этот сдерживаемый, подавляемый *рев тигра*, по выражению Шушерина, которыми он вполне владел в зрелых годах, — изменили ему, и знаменитый некогда монолог:

*Свирена ада дочь, надежда
смертных — мечь,
К чему несчастного стремишься
ты привести?
Лютейшей ярости мне в сердце
огнь вливая,
Влечешь меня на все, мне очи за-
крывая... и проч. и проч. —*

не произвел такого действия, какого надеялся Шушерин и какое он производил некогда. Что касается до меня, не выдавшего в Яр-

бе никого, кроме Плавильщикова, то я был поражен изумлением от начала до конца пьесы, восхищаясь и увлекаясь искусством, которое, властвуя неистощимым огнем души артиста, умело вливать его в эти варварские стихи, в эту бессмысленную дребедень каких-то страстей и чувств. Конечно, я составил себе такое высокое предварительное понятие об игре Шушерина в Ярбе и особенно о том месте, в котором он обманул Дмитревского, что настоящее исполнение роли меня не вполне удовлетворило; но теперь, смотря на целую пьесу и на лицо Ярба уже не теми глазами, какими смотрели все и я сам за сорок три года тому назад, я еще более удостаиваюсь, что только великий артист мог производить в этой пьесе такое впечатление, какое производил Шушерин. Он же сам был решительно недоволен собою и сожалел, что явился, в первый раз по возвращении из Петербурга, перед московской публикой (появление в роли Ксури он считал шуткою, добрым делом) в такой роли, которой ему уже не следовало играть. Публика же, напротив, была в полном восторге, за исключением весьма

немногих людей, слегка заметивших кое-какие недостатки.

В самое то время, как Москва беззаботно собиралась в театр, чтоб посмотреть на старого славного артиста, военная гроза, давно скоплявшаяся над Россией, быстро и прямо понеслась на нее; уже знали прокламацию Наполеона, в которой он объявлял, что через несколько месяцев обе северные столицы увидят в стенах своих победителя света; знали, что победоносная французская армия, вместе с силами целой Европы, идет на нас под предводительством великого, первого полководца своего времени; знали, что неприятель скоро должен переправиться через Неман (он переправился 12 июня) — все это знали и нисколько не беспокоились. Подсмеивались над самохвальством Наполеона, который занятие Москвы и Петербурга считал так же легко возможным, как занятие Вены и Берлина. По крайней мере так понимало большинство публики тогдашнее положение России. Всего менее думали о Наполеоне я и Шушерин; мы думали о будущем его бенефисе, обещанном ему в исходе декабря, и о том,

как бы мне к тому времени приехать в Москву. Я с семейством уехал в половине июня и весело простился с Шушериным в надежде увидеться с ним через полгода...

Известно, что совершилось в эти шесть месяцев. Сгорела Москва, занятая неприятелем. Наполеон дождался в ней суровой осени, не дождавшись мира, потерял множество войск и бежал из обгорелых развалин Москвы. Радостно вздохнула Русь, благодарные молитвы огласили храмы божии, и с христианским смирением торжествовал народ свое спасение и победы на враги. Стали собираться понемногу распуганные жители столицы, и не замедлил приехать Яков Емельянович Шушерин, а с ним и Надежда Федоровна (кажется, они прожили эту грозу в Рязани), чтоб узнать, не уцелел ли его скромный домик; но, увы! одни обгорелые печи стояли на прежнем месте. Не веря тому, чтоб Москва могла быть отдана Наполеону, Шушерин не вывез своего имущества заблаговременно и потерял все, все, что наживал с таким трудом и так долго; но эта потеря, как рассказывал мне самовидец Н. И. Ильин, была великодушно перенесе-

на Шушериным; он только радовался изгнанию французов и был очень весел. Зная твердость духа и образ мыслей этого замечательного человека, я совершенно убежден, что он перенес свою потерю спокойно. Москва не была еще тогда вполне очищена от человеческих и скотских трупов; больных и раненых было множество; появилась тифозная гнилая горячка. Вскоре по приезде Шушерин заразился ею и умер в шестой день; в этот же день Надежда Федоровна, ходившая за старым своим другом неусыпно, потеряла употребление языка, впала в нервную горячку и умерла через пять недель... Все это я узнал в 1814 году, проезжая через Москву в Петербург.

В 1812 году Иван Афанасьич Дмитревский, [93] уже давно оставивший театр, к общему изумлению и восторгу петербургской публики, явился на сцене в пиесе Висковатого «Всеобщее ополчение», разумеется, в роли старика. И тогда уже Дмитревский был так слаб от старости, что его беспрестанно поддерживали другие актеры, и едва ли кто мог расслушать произносимые им слова; но восторг зрителей

был общий; гром рукоплесканий приветствовал каждый его выход и каждое удаление со сцены: по окончании драмы, разумеется, он был вызван единогласно, единодушно. Но замечательно то, что вызывали не просто Дмитревского, то есть не просто актера по фамилии, как это всегда водилось и водится, а *господина Дмитревского*; таким особенным знаком уважения не был почтен ни один актер ни прежде Дмитревского, ни после его. Я очень хорошо понимаю, что при тогдашнем патриотическом настроении Петербурга появление старца Дмитревского в патриотической драме должно было привести в восторженное состояние публику; но, смотря на это дело с художественной стороны, я несколько не жалею, что не видал этого спектакля. На театральных подмостках должен владычествовать один интерес — искусство. Действительность превращается на них в вымысел, теряет свое значение и действует на душу неприятно. Напротив, вымысел должен казаться действительностью. Искусно сыгранная роль дряхлого старика на театре может доставить эстетическое наслаждение как дей-

ствительность, перенесенная в искусство; но *действительный* старец Дмитревский, болезненный, едва живой, едва передвигающий ноги, на краю действительной могилы, *представляющий дряхлого старика* на сцене — признаюсь, это глубоко оскорбительное зрелище, и я радуюсь, что не видал его.

Яковлев кончил жизнь в 1817 году, находясь в полной силе и цвете возраста человеческого. Он оставил жену и детей. Дмитревский пережил его четырем годами; он хотел даже участвовать в бенефисе, который дан был театральной дирекцией в пользу вдовы и детей покойного Яковлева, о чем было объявлено в афише. Дмитревский должен был играть старика в маленькой пьесе князя Шаховского, написанной им еще в 1813 году, под названием: «Встреча незваных», то есть французов, имевшей в свое время большой успех. Но болезнь не допустила Дмитревского исполнить свое великодушное намерение.

ВОСПОМИНАНИЯ О ДМИТРИИ БОРИСОВИЧЕ МЕРТВАГО

(Письмо к В. П. Безобразову)

М. г. Владимир Павлович! Вы просили меня, чтобы я сообщил вам все то, что было лично мне известно при моих сношениях с покойным Д. Б. Мертваго: исполняю очень охотно ваше и мое собственное желание. Едва ли кто-нибудь из читателей мог так обрадоваться появлению в печати «Записок Дмитрия Борисовича Мертваго», как обрадовался я, для которого это было совершенною неожиданностью. Но мне в голову не входило, что он оставил после себя «Записки». Прибавить какую-нибудь черту к этим «Запискам» я считаю за счастье. Многоуважаемая память моего покойного крестного отца, в обширном и строгом смысле честнейшего человека, которого вся жизнь была борьба правды и чести с ложью и подлою корыстью, постоянно жила и живет в моей душе. Его «Записки» без сомнения будут драгоценным приобретением

для всей читающей, образованной публики. «Биографическое сведение об авторе записок, составленное братом его, С. Б. Мертваго», написано совершенно беспристрастно, несмотря на горячую, всем известную, взаимную дружбу обоих братьев. Оно имеет один недостаток — краткость.

С тех пор, как я начал себя помнить, я помню, что Дмитрий Борисович, мой крестный отец, бывал у нас в доме очень часто, во все время пребывания моего семейства в Уфе. В 1797 году мы переехали на житье в деревню, а Дмитрий Борисович еще прежде оставил Уфу и поступил в Петербург на новую службу. Несмотря на мой детский возраст, я очень замечал, да и другие говорили, что мой крестный отец не так ласков ко мне и не так занимается мною, как другие друзья или короткие наши знакомые. К этому замечанию обыкновенно прибавляли, что он не любит маленьких детей, особенно таких, которых родители балуют. Я сам не один раз слышал, как Дмитрий Борисович подтрунивал и подшучивал над моею матерью, говоря, что «она не любит, а обожает своего сына», и у меня поселилось

неприятное чувство к моему крестному отцу; но это не мешало мне замечать, что он был всеми любим и уважаем, что все слушали его остроумные и веселые разговоры с необыкновенным вниманием и удовольствием, и что все называли его «душой компании». Я тогда еще слышал от моих родителей, что Дмитрий Борисович не только сам честный человек, но и других принуждает быть честными.

Разъехавшись в разные стороны, мы не видались несколько лет, и я уже забывал моего крестного отца, как вдруг пришло известие, что Дмитрий Борисович Мертваго вышел в отставку и приехал в «Старую Мертвощину» к своей матери и сестре, которые жили от нас в 30 верстах. Марья Михайловна Мертваго, его мать, пользовалась необыкновенным уважением от всех своих соседей и всех знакомых; она считалась женщиною великого и политичного ума; дочь ее, Катерина Борисовна Чичагова, была дружна с моею матерью, да и муж ее, П. И. Чичагов, любил все наше семейство. Через несколько дней мы поехали в Мертвощину, и мать всю дорогу твердила мне, чтобы я не дичился и не играл бы в мол-

чанку, потому что она желает, чтобы мой крестный отец увидел во мне умненького мальчика, довольно образованного для своих лет, а не деревенского неуча. Такие слова не прибавили мне бодрости, а еще более меня смутили. Представляя меня Дмитрию Борисовичу, мать сказала, что я его помню, люблю, уважаю и дорожу тем, что он мой крестный отец. В этих словах было мало правды, мне стало неловко, я покраснел и молчал. Дмитрий Борисович, погладив меня по головке, сказал: «А, какой молодец вырос», и потом уже не обращал на меня ни малейшего внимания. Матери моей это было очень досадно: как это ее сынок, такой книжный чтец и декламатор сумароковских трагедий, а подчас говорун, не умеет разинуть рта перед своим крестным отцом, важным (бывшим) петербургским чиновником и умным человеком, который может подумать, что она не дала сыну никакого образования! Она не вытерпела и через несколько времени, обратясь ко мне, сказала: «Что это ты все молчишь, Сережа? Крестный отец подумает, что ты глуп». Я покраснел еще более, а Дмитрий Борисович, из

шутливого и веселого разговора, вдруг перешел в серьезный тон и, быстро взглянув на меня, строго сказал: «Не слушай, Сережа, своей матери! Никогда не вмешивайся в разговоры старших, покуда тебя не спросят!» Это не прибавило моего расположения к крестному отцу; но на этот раз я был ему благодарен: мать уже не принуждала меня разговаривать. Мы прожили в Мертовщине еще два дня. Родных и соседей съехалось туда такое множество, что негде было помещаться; петербургский гость очаровывал всех, старых и молодых, особенно дам и девиц, своею ласковою любезностью. Он был очень хорош собою, хотя в это время небольшая лысина уже светилась на его голове; его называли даже красавцем, но при том говорили, что у него женская красота; он немножко пришепетывал, но это не мешало приятности его речей, и некоторые дамы находили, что это даже очень мило. Он был постоянно весел, шутлив, остроумен без колкости. Я слышал, что ему отдавали преимущество перед Петром Ивановичем Чичаговым, который также был в обществе необыкновенно весел и остроумен, но меткие

эпиграммы нередко срывались с его языка.

Дмитрий Борисович всегда оказывал своей матери глубокую почтительность и нежность. Сестре своей, К. Б. Чичаговой, брату Степану Борисовичу, а также и зятю, он был друг, в настоящем значении этого слова; даже третьему брату, Ивану Борисовичу, который уже несколько лет имел несчастье потерять рассудок (от безнадежной любви, как мне говорили), показывал он такое нежное внимание, так заботился о нем, что Марья Михайловна, со слезами благодарности к богу, при мне говорила о том моей матери.

Дмитрий Борисович, объезжая всех родных и соседей, разумеется, вместе с матерью, сестрой и зятем, гостил везде по несколько дней — что было тогда в общем обыкновении — а у нас прожил он с своим семейством целую неделю. Тут я рассмотрел поближе своего крестного отца и, несмотря на свою детскость, бессознательно почувствовал глубокое уважение к высоким качествам его ума и сердца. Через несколько времени он уехал в Крым, опять на новую службу, и я до 1808 года его не видел.

В 1808 году я нашел в Петербурге своего крестного отца уже женатым, постаревшим и переменявшимся. Беззаботной веселости в нем уже не было. Он служил тогда генерал-провиантмейстером, и хлопотливая, тяжелая эта должность, казалось, очень его озабочивала. Впоследствии я узнал, что находились другие причины, от которых служба была для него так невыносимо тягостною. Неподкупная его честность была известна всем; но не всем, может быть, было известно, до какой строгости и чистоты возводилась эта честность во всех его служебных отношениях; мог ли такой человек не иметь врагов по службе?.. Он встретил мое семейство, как старинный друг, а меня, если не так ласково, как желалось моей матери и уже мне, то по крайней мере очень внимательно; много расспрашивал меня о Казани, об университете, о службе, в которую я намеревался поступить, — но я никак не мог заметить, доволен ли он мною или нет? Он приказал только, чтобы я ходил к нему каждую неделю.

Первые мои посещения, после отъезда из Петербурга моего семейства, ничего хороше-

го не предвещали. Крестный мой отец обыкновенно говорил: «А, здравствуй! Как поживаешь? Что пишут отец и мать? Что поделываешь на службе?» В словах этих не слышно было никакого особенного участия, и они держали меня в постоянном и холодном отдалении. Случалось даже, что, выслушав мои короткие ответы, он говорил: «Ну, брат, мне некогда; ступай к Варваре (так звал он свою жену) и оставайся обедать». Весьма естественно, что такие приемы не могли нравиться молодому человеку, и я намеревался уже ограничить мои посещения двумя, тремя праздничными визитами в год, как вдруг случилась следующая перемена: пришел я один раз к Дмитрию Борисовичу довольно рано поутру; он велел меня провести в свой кабинет и сказал, что сейчас придет. Я бывал в этом кабинете при других и мало обращал внимания на окружающие меня предметы; теперь же, от нечего делать, я начал все рассматривать, и мне кинулась в глаза небольшая картинка, висевшая над письменным столом моего крестного отца; я подошел поближе и увидел, что это был вид деревни «Званка» и сельского

дома Гаврила Романыча Державина; внизу находились следующие четыре стиха:

*Средь сих лесов, болот и ржавин,
С бессмертным эхом вечных скал,
Бессмертны песни повторял
Бессмертный наш певец, Державин.*

Картина была нарисована водяными красками и кем-то подарена Дмитрию Борисовичу, кажется, женщиной. Кем написаны стихи — до сих пор не знаю. Я был страстным почитателем Державина; забывшись, с восторгом и довольно громко, повторил я эти четыре стиха наизусть, не заметив, что крестный отец стоял уже за мною. «А, брат, ты видно любишь старика!» — сказал он, и я, покраснев до ушей, с волнением высказал все, что чувствовал и думал о Державине, прибавя, что знаю все его стихи наизусть. Хозяин из любопытства сделал мне экзамен, и я прочел ему две, три пьесы, декламируя напропалую, по-студентски. «Ого, брат, — сказал с усмешкой мой крестный отец, — да ты не вздумай в актеры!» Он посадил меня возле себя, чего прежде не делал, и рассказал про свое зна-

комство с Державиным, прибавя, что он «не только великий стихотворец, приносящий честь и славу своему отечеству, но и честный сановник, и добрейший человек, и что все, что говорят про него дурного, выдумка подлых клеветников и завистников». С этого счастливого утра я стал сближаться с моим крестным отцом. Сам ли он того пожелал, или я, найдя в нем сочувственную себе струну, стал искать его расположения — не знаю, только через полгода он уже охотно, хотя без особенной ласковости, иногда долго говорил со мной о своей прежней и настоящей службе, об общественных отношениях, и горько сетовал, что мало честных людей, не на словах, а на деле. Дмитрий Борисович жил на Фонтанке, в каменном доме, или лучше сказать в третьей части дома, принадлежавшего его жене (урожденной Полторацкой) и сестрам ее, Сухаревой и Олениной. Принадлежность владения обозначалась разностью красок. Часть Мертваго была палевого цвета. Из залы был балкон на набережную; на нем любил сидеть Дмитрий Борисович, а иногда сиживал с ним и я. Один раз он сказал мне, ука-

зав пальцем: «Видишь ли ты этого господина, который тащится по набережной, так гадко одетый?» Я отвечал, что вижу. — «Это великий человек! Это нищий, которому казна должна миллион, истраченный им для чести и славы отечества. Это адмирал Сенявин!» А как он в это время поровнялся с нами, то Дмитрий Борисович назвал его по имени и сказал ему: «Зайди ко мне». Адмирал зашел. Мы все трое пошли в кабинет. Я, разумеется, пошел по приглашению хозяина. Сенявин пробыл с час; просто и открыто говорил он о своем крайнем положении, об оскорблениях, им получаемых, о своих надеждах, что когда-нибудь заплатят же ему и всем офицерам призовые деньги, издержанные им на флот (этим делом занималась тогда особая комиссия). Адмирал ушел.[94]

Не утверждаю, но мне показалось, что Дмитрий Борисович доставал деньги из ящика и тихонько отдал их своему гостю и давнишнему приятелю. Рассказ адмирала произвел на меня такое глубокое и горькое впечатление, которого никогда нельзя забыть.

Крестный отец досказал мне всю историю, русского с ног до головы, славного нашего адмирала; рассказал и положение, до которого он был доведен. «Сенявин, — прибавил он в заключение, — доведен до того, что умер бы с голоду, если б не занимал денег, покуда без отдачи, у всякого, кто только даст — не гнушаясь и синенькой; но у него есть книга, где он записывает каждую копейку своего долга, и, конечно, расплатится со всеми, если когда-нибудь получит свою законную собственность».

В 1809 году я уезжал в отпуск в Оренбургскую губернию и воротился в Петербург в первых числах января 1810 года. Крестный отец встретил меня уже не холодно по-прежнему, а напротив, очень ласково, и даже с некоторым чувством. «Ну, брат, — сказал он мне один раз, — кажется, надобно будет службу бросить». — «Отчего же? — спросил я с удивлением. — Вы сами знаете, что приносите много пользы и что государь об вас самого лучшего мнения?» — «Это правда, — отвечал Дмитрий Борисович, — да бывший непосредственный начальник мой, граф Аракчеев, все-

гда меня гнавший, поставил меня в такое унижительное и вредное для меня и службы положение, что выйти в отставку, даже прогневав государя, сделалось необходимостью. Граф Аракчеев всегда не любил меня; но особенно возненавидел за то, что я запретил Варваре Марковне продолжать знакомство с г-жою Пуколовой, его фавориткой. Моя жена могла быть знакома с этой дрянью, как и со многими другими; но как скоро эта дрянь сделалась всемогущею особою у моего начальника, то моя жена уже не должна быть с нею знакома. Г-же Пуколовой уже отказывали три раза, она все продолжала ездить; в четвертый я велел отказать так, чтобы она уже более не приезжала. Как нарочно так случилось, что сидел я на известном тебе балконе, и со мной была Варвара Марковна; вдруг подъезжает открытая коляска; в ней сидела г-жа Пуколова. Я не позволил жене уйти с балкона, позвал человека и громко сказал ему, так что приехавшая гостья все до слова слышала: «Скажи, что барыни нет дома». Г-жа Пуколова перестала ездить, и тут-то началось злобное преследование меня. Прежний начальник,

перестав быть моим непосредственным начальником, сохранил всю свою силу и вмешивался во все дела».

Недели через две я пришел к Дмитрию Борисовичу и хотел пройти к нему в кабинет уже без доклада; но человек сказал мне, чтоб я подождал, потому что в кабинете какой-то генерал, и что туда не приказано никому входить. Я как-то почувствовал, что это не даром, и стал дожидаться в соседней комнате. Наконец дверь отворилась, и Дмитрий Борисович, провожая генерала, спокойно, холодно и громко сказал: «Итак, доложите его сиятельству, что я не могу входить в объяснение по таким словесным замечаниям. Если ему угодно будет сделать их на бумаге, то я стану оправдываться. Впрочем, зная, что я лично не нравлюсь его сиятельству, я уже давно подал просьбу об отставке, которая лежит у министра. Я не хочу вредить месту, которое занимаю, и губить себя без всякой вины». — Дмитрий Борисович рассказал мне, что это уже не в первый раз, что его бывший начальник имел дерзость делать ему выговоры через своего адъютанта, что, разумеется, он его не

стал слушать и что вот наконец он прислал с тем же своего фаворита, генерала К...ча. «Делать нечего, надо решительно выйти в отставку, — сказал он, — тут пользы не сделаешь, а только наживешь больше врагов и долгов, а у меня и так уже довольно и тех и других». Действительно, Дмитрий Борисович вскоре оставил службу.

Прошло несколько лет, в продолжение которых совершились вековые достопамятные события 1812 года, и я даже не знаю, где жил в это время мой крестный отец. Я увиделся с ним уже в 1816 году, в Москве, в собственном его доме, у Красных ворот, в приходе Трех Святителей.[95]

Он не был еще тогда сенатором; но говорил мне, что желал бы занять эту должность. Всем известно, что впоследствии он занимал ее. — Я уехал в Оренбургскую губернию на десять лет и не видался уже более с моим крестным отцом, скончавшимся в 1824 году.

Вот все, что сохранила моя память об одном из достойнейших людей прошедшего времени.

Хотя я не участвую ни в каких журналах, кроме «Русской беседы», но охотно предоставляю вам полное право напечатать мое письмо в «Русском вестнике». С истинным почтением честь имею быть и пр.

1857 г., января 20-го
Москва.

ПРИМЕЧАНИЯ

СОБИРАНИЕ БАБОЧЕК

Осенью 1857 г. группа бывших студентов Казанского университета решила издать «учено-литературный сборник» «в пользу недостаточных студентов этого заведения». Инициаторы обратились к С. Т. Аксакову — «первому студенту» Казанского университета — с просьбой: дать название сборнику и принять в нем участие. Аксаков предложил название «Братчина» и прислал очерк «Собирание бабочек», имевший подзаголовок: «Рассказ из студентской жизни». Очерк был датирован 21 июля 1858 г. и опубликован в этом сборнике, вышедшем под редакцией П. И. Мельникова уже после смерти Аксакова (СПб. 1859, стр. 3–64). Мы воспроизводим текст этого издания.

Стр. 159. *«Детское чтение»*. — «Детское чтение для сердца и разума» — первый детский журнал в России, выходил в 1785–1789 гг. в качестве еженедельного при-

ложения к «Московским ведомостям», издававшимся Н. И. Новиковым.

Стр. 160. **Блуменбах** Иоганн Фридрих (1752–1840) — немецкий естествоиспытатель.

Тимьянский Василий Ильич (род. в 1791 г.) — впоследствии профессор естественной истории и ботаники Казанского университета.

Стр. 166. **Вагнер** Николай Петрович (1829–1901) — ученый-зоолог, профессор Казанского и Петербургского университетов, автор известных «Повестей, сказок и рассказов Кота-Мурлыки».

Стр. 173. **Н. П. В.** — Здесь и в последующих случаях, вероятно, Николай Петрович Вагнер (см. пред. примеч.).

Эверсман Эдуард Александрович (1794–1860) — профессор Казанского университета по кафедре ботаники и зоологии.

Бутлеров Александр Михайлович (1828–1886) — великий русский ученый-химик, создатель современной органической химии; был одно время профессором Казанского университета. По материнской линии приходился родственником Аксакову.

Стр. 188. **Верешок** — черенок.

Стр. 202. **Синель** — сирень.

Стр. 206. **Озерецковский** Николай Яковлевич (1750–1827) — ученый-путешественник, академик; Аксаков имеет, вероятно, в виду его книгу «Начальные основания естественной истории» (СПб. 1792).

ВСТРЕЧА С МАРТИНИСТАМИ

Это последнее опубликованное при жизни Аксакова произведение датировано декабрем 1858 г. Оно появилось в «Русской беседе», 1859, кн. I, стр. 31–76. Текст печатается по этому изданию.

Мартинисты — религиозно-мистическая секта, основанная в XVIII в. Мартинесом Паскуалисом (1715–1779) и Луи Сен Мартемом (1743–1803). Члены этой секты верили в возможность чудес в результате общения с духами. В начале XIX в, русские мартинисты развивали активную деятельность, усиленно пытаясь вербовать новых сторонников. Возглавляемые известным масоном А. Ф. Лабзиным, они издавали многочисленные сочинения

мистического характера — переводные и оригинальные, выпускали собственный журнал «Сионский вестник», усиленно вербовали в свои ряды новых сторонников. Едко, а порой даже с сарказмом описывает Аксаков мистическую тарабарщину мартинистов и их тщетные попытки обратить его в свою веру. «Встреча с мартинистами» содержит интересный материал, характеризующий нравы определенной части великосветского петербургского общества, а также важный период в истории духовного развития молодого Аксакова.

Стр. 215. *Рубановский*. — Имеется в виду Василий Васильевич Романовский (1757–1827), который упоминается в воспоминаниях о Шушерине (см. ниже в наст. томе), член масонской ложи Лабзина «Умирающий сфинкс».

Стр. 219. *Лабзин* Александр Федорович (1766–1825) — видный масон-мартинист, автор многих сочинений мистического характера; издавал в 1806 и 1817–1818 гг. религиозный журнал «Сионский вестник», в 1800 г.

основал масонскую ложу «Умиращий сфинкс».

Стр. 222. **Черевин Александр Григорьевич** (ум. в 1818 г.) — масон, последователь А. Ф. Лабзина.

Мартынов Александр Петрович (род. в 1782 г.) — масон, входил в масонскую ложу Лабзина «Умиращий сфинкс».

Мартынов Павел Петрович (ум. в 1838 г.) — полковник, земляк и приятель С. Т. Аксакова.

Стр. 223. Подпись **У. М.** означала не «Ученик Масонства», а «Ученик Мудрости».

Стр. 224. **«Путешествие молодого Костиса от Востока к Полудню»** — сочинение немецкого писателя-мистика Карла Эккартсгаузена (1752–1803), перев. А. Ф. Лабзина (СПБ. 1801).

«Приключения по смерти» — сочинение немецкого писателя-мистика Юнга-Штиллинга (1740–1817), в 3-х частях, на русском языке вышла в переводе У. М. (т. е. Лабзина) (СПБ. 1805).

Стр. 226. **Сабанеев Иван Васильевич** (1770–1829) — генерал, участник походов Су-

ворова и Отечественной войны 1812 г.

Стр. 227. **Капцевич** Петр Михайлович (1772–1840) — генерал, впоследствии генерал-губернатор Западной Сибири.

Стр. 228. **Розенкампф** Густав Андреевич (1764–1832) — юрист и государственный деятель, автор ряда исследований по теории и истории права.

Стр. 230. **Штофреген** Конрад Конрадович (1767–1841) — доктор медицины, лейб-медик Александра I.

Стр. 235. **Ильин** Николай Иванович (1777–1823) — драматург; его драма «Лиза, или Торжество благодарности» впервые представлена на петербургской сцене в 1802 г., вышла из печати в 1803 г.

Стр. 240. **Жена Лабзина** — Анна Евдокимовна Лабзина (1758–1828), автор «Воспоминаний» (СПб. 1914).

Стр. 255. **Новосильцев** Николай Николаевич (1761–1836) — царский сановник, крайний реакционер.

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ АЛЕКСАНДРЕ СЕМЕНОВИЧЕ ШИШКО-

Настоящие воспоминания Аксакова представляют интерес для современного читателя, разумеется, отнюдь не теми сведениями, которые сообщаются в них о личности А. С. Шишкова (1754–1841). Основатель пресловутой «Беседы любителей русского слова», президент Российской академии, министр народного просвещения — во всех этих ролях Шишков стяжал себе недобрую славу рутинера и консерватора. Случилось, однако, так, что этот видный деятель александровской, а затем и николаевской реакции, принципиально враждебный всему тому, что носило на себе печать новизны, молодости и здоровья, сыграл известную роль в личной судьбе Аксакова, который юношей был введен в его дом и стал свидетелем, а порой — участником любопытных событий, здесь происходивших.

Имя Шишкова было хорошо известно Аксакову еще в Казанском университете. Отзвуки ожесточенной борьбы между карамзинистами и шишковистами доходили и сюда, своеобразно преломляясь в тех литературных

спорах, которые кипели в стенах университета. Среди студентов и профессоров были сторонники и Карамзина и Шишкова. Аксаков со всем пылом юности защищал «русское направление» и нашел свой символ веры в «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка», признав его автора, Шишкова, «неопровержимым авторитетом, мудрейшим и ученнейшим из людей». Центральная часть воспоминаний Аксакова о Шишкове охватывает короткий период: с конца 1808 до середины 1811 года. Но за эти несколько лет отношение молодого Аксакова к Шишкову изменилось. Слепое «благоговение», которое сперва испытывал к своему кумиру Аксаков, постепенно уступало место иным, более сложным чувствам. Он начинал замечать в характере Шишкова такие черты, которые вступали в явное противоречие с его недавним представлением об этом человеке.

Работая над воспоминаниями много лет спустя, Аксаков хорошо передал эволюцию своего отношения к Шишкову. Чем короче Аксаков узнавал Шишкова, тем менее оставалось в нем былого преклонения перед ним и,

может быть, даже незаметно для автора все более отчетливо начинает вырисовываться со страниц воспоминаний образ ученого схоласта и старовера. Умная и тонкая аксаковская ирония ясно проглядывает в нарисованном писателем портрете Шишкова. Характерно, например, заключение мемуариста о псевдонациональном направлении деятельности Шишкова и его последователей: «Они вопили против иностранного направления — и не подозревали, что охвачены им с ног до головы, что они не умеют даже думать по-русски»; примечательны и язвительная реплика о том, что Шишков «восставал против победоносного могущества новизны и таланта», и замечание о разглагольствовании этого «га-сильника» по поводу того, что «мужику не нужно знать грамоте». Словом, многое из того, что Аксаков узнал о своем «кумире», не раз повергало в смущение, как он пишет, его «молодую голову». Любопытна в этом отношении фраза А. О. Смирновой в письме к С. Т. Аксакову от 6 марта 1856 г.: «Желала бы знать, что вы думали о Шишкове; у вас он вышел живой совершенно; *многие полагают, что*

вы хотели совсем уронить его значение...» (выделено нами. — С. М.; «Русский архив», 1894, кн. I, стр. 159). А что думал сам автор воспоминаний о своем герое, красноречиво свидетельствовало его беспокойство относительно цензурных неприятностей, с которыми столкнутся, как он полагал, воспоминания о Шишкове. В одном из писем к Погодину, еще задолго до того, как эти воспоминания были закончены, Аксаков с горечью писал: «О Шишкове многого не пропустят» (Л. Б., ф. Погодина, II, 1/59).

Но, повторяем, не в Шишкове главный интерес этого произведения. Значение воспоминаний Аксакова состоит в том, что они содержат в себе ценный автобиографический материал. А кроме того, в них разбросано немало характерных подробностей, помогающих читателю ощутить живую атмосферу эпохи.

Первоначально «Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове» было опубликовано в первом издании «Семейной хроники и Воспоминаний» (М. 1856) и в том же году с незначительными стилистическими исправлениями снова напечатано во втором изда-

нии этой книги. В настоящем издании воспроизводится текст второго и последнего прижизненного издания. Имена и названия, обозначенные инициалами или сокращенно, даются полностью по четвертому изданию (М. 1870).

Стр. 258. Эпиграф — из пушкинского «Второго послания к цензору» (1824). Первую строку следует читать: «Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа».

Стр. 260. *«Детская библиотека»* — издавалась на немецком языке педагогом и писателем Иоахимом Генрихом Кампе (1746–1818). В переводе А. С. Шишкова вышли две части (СПб. 1788), выдержавшие несколько изданий.

Бартельс Мартин Федорович (1769–1837) — профессор математики; в 1806 г. был избран почетным членом Казанского университета, а год спустя получил здесь кафедру математики.

Стр. 261. **Вронченко** Федор Павлович (1780–1852) — чиновник министерства финансов, впоследствии министр финансов.

Стр. 262. ...*отвел в сторону старшего чиновника письмоводства, Н. С. Скуридина.* — Во «Встрече с мартинистами» (см. наст. том, стр. 253) упоминается А. С. Скуридин. Имеется ли в виду одно и то же лицо, или же речь идет о двух разных — неизвестно. В истории Казанской гимназии значатся братья Скуридины — Николай и Александр (см. Н. К. Горталов. Из прошлого императорской Казанской 1-й гимназии. Казань, 1910, стр. 39).

...*положено было представить меня главе славянофилов.* — Слово «славянофил» имеет здесь не тот смысл, который оно обретет в 40-х гг. Славянофилами в начале XIX в. называли ревностных сторонников А. С. Шишкова.

Стр. 265. *Ширинский-Шихматов* Сергей Александрович (1783–1837) — поэт, член шишковской «Беседы любителей русского слова», в идейно-литературной борьбе начала XIX в. занимал крайне реакционную позицию. Его поэма «Петр Великий, лирическое песнопение», упоминаемая Аксаковым, вышла из печати в 1810 г.

Стр. 272. *Шишков* Александр Ардалионо-

вич (Шишков 2-й) (1799–1833) — поэт-переводчик; был убит на улице в г. Твери.

Стр. 273. **«Разговоры о словесности» между двумя лицами: Аз и Буки** — соч. А. С. Шишкова (СПб. 1811).

Стр. 275. **Булнина Анна Петровна** (1774–1828) — посредственная поэтесса, была избрана почетным членом шишковской «Беседы».

Стр. 276. **Кикин Петр Андреевич** (1775–1834) — генерал, флигель-адъютант Александра I, яростный приверженец Шишкова.

Невзоров Максим Иванович (1762–1827) — поэт и переводчик, доктор медицины, масон.

Стр. 278. **Мордвинов** Николай Семенович (1754–1845) — видный царский сановник.

Бакунин Михаил Михайлович (1764–1837) — генерал, петербургский губернатор.

Стр. 279. **Метастазео** Пьетро (1698–1782) — итальянский поэт.

Стр. 281. **Цизальпинская республика** — была создана в 1797 г. Наполеоном в Северной Италии и просуществовала до 1805 г.

Стр. 284. ...*приказал ехать к Воронцовым*. — Воронцов Семен Романович (1744–1832) — дипломат.

Стр. 288. *Хвостов Александр Семенович* (1753–1830) — двоюродный брат Д. И. Хвостова, поэт и переводчик, ярый шишковист.

Стр. 289. *Ефимьев Дмитрий Владимирович* (1768–1804) — драматический писатель.

Стр. 292. *Хвостов Дмитрий Иванович* (1757–1835) — знаменитый своей бездарностью поэт, его стихи постоянно служили предметом насмешек.

Шаховской Александр Александрович (1777–1846) — драматург и театральный деятель.

Стр. 293. *Строганов Павел Александрович* (1774–1817) — генерал, видный царский сановник, один из советников Александра I в начале его царствования.

Оленин Алексей Николаевич (1763–1843) — литератор, археолог, директор Публичной библиотеки в Петербурге, президент Академии художеств.

Писарев Александр Александрович (1780–1848) — драматург, генерал, был одно

время военным губернатором Варшавы.

Ширинский-Шихматов Платон Александрович (1790–1855) — писатель, сторонник Шишкова, впоследствии — министр народного просвещения.

Захаров Иван Семенович (1754–1816) — славянофил, писатель, переводчик, председатель шишковской «Беседы».

Висковатов Степан Иванович (1786–1831) — драматург, переводчик.

Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854) — дипломат и публицист крайне реакционного направления.

Горчаков Дмитрий Петрович (1758–1824) — поэт, член шишковской «Беседы».

Станевич Евстафий Иванович (1775–1835) — поэт-шишковист.

Львов Павел Юрьевич (1770–1825) — писатель, член шишковской «Беседы», автор на шумевшей в свое время сентиментальной повести «Российская Памела» (СПб. 1789).

Герасимов Гавриил Васильевич (1775–1838) — автор бездарных произведений охранительного направления.

Стр. 297. Речь идет о пародии К. Н. Батюшкова «Певец в Беседе любителей русского слова», направленной против шишковской «Беседы».

Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866) — реакционный поэт; о принадлежности Батюшкову указанной пародии он писал в своих воспоминаниях «Мелочи из запаса моей памяти» (М. 1869, стр. 199–200).

Стр. 300. *...одиннадцатый том Русской истории Карамзина, изданный после его смерти Д. Н. Блудовым.* — Сведения неточные. XI т. «Истории государства российского» Карамзина вышел в 1824 г., т. е. еще при жизни автора. Очевидно, Аксаков имел в виду XII т., который действительно был издан уже после смерти Карамзина в 1826 г. — графом Дмитрием Николаевичем Блудовым (1785–1864).

Венелин Юрий Иванович (1802–1839) — литератор, славист и этнограф.

ЗНАКОМСТВО С ДЕРЖАВИНЫМ

Эти воспоминания С. Т. Аксаков написал в

мае 1852 г. Под названием «Отрывок из воспоминаний молодости. Знакомство с Державиным» они были предназначены для второго тома «Московского сборника», запрещенного «высочайшим решением» в начале 1853 г. Познакомившись с рукописью, И. С. Тургенев писал 20 ноября 1853 г. автору: «Посылаю вам статью вашу о Державине. Она чрезвычайно интересна и любопытна — и хотя великий поэт является в ней в чуть-чуть комическом свете, тем не менее общее впечатление трогательно — словно из другого мира звучит этот голос. Непременно надобно напечатать эту статью» («Вестник Европы», 1894, № 2, стр. 480).

«Знакомство с Державиным» впервые появилось в свет в первом издании книги «Семейная хроника и Воспоминания» (М. 1856) и вызвало ряд положительных отзывов. Благодаря Аксакова за присылку его «знаменитой книги», М. А. Максимович писал ему из Киева: «Как у вас дышит жизнью все, от певучего, докучного комара — до восторженных движений угасающего вулкана — Державина! Какая полнота и теплота жизни в картинах приро-

ды и в изображении людей и людцов русско-го мира!» (ЦГАЛИ, ф. 10, оп. 3, д. № 90, л. 5).

Текст воспроизводится по второму при-жизненному изданию «Семейной хроники и Воспоминаний» (М. 1856), в которое Аксако-вым было внесено несколько стилистических исправлений.

Стр. 304. ...**чтобы взглянуть на брата...**
— Имеется в виду Аркадий Тимофеевич Акса-ков (1803–1860).

... в... **Гарновском доме** — известный в Пе-тербурге своим роскошеством дом артилле-рийского офицера, полковника Михаила Ан-тоновича Гарновского (1764–1817); впослед-ствии владелец оказался в опале, а в его доме, по повелению Павла I, были устроены конно-гвардейские конюшни, а затем военные ка-зармы.

Стр. 305. **Подпрапорщики Капнисты** — сыновья писателя В. В. Капниста, приходив-шегося родственником Г. Р. Державину.

Кавелин Александр Александрович (1793–1850) — впоследствии генерал от ин-фантерии; одно время служил при дворе в ка-

честве воспитателя наследника — будущего царя Александра II.

Годеин Павел Петрович — командир школы гвардейских подпрапорщиков.

Стр. 307. **Тончи** Сальватор (Николай Иванович) (1756–1844) — итальянский живописец и поэт; вторую половину своей жизни провел в России; жил в Петербурге, а с 1802 г. служил в Москве инспектором дворцового архитектурного училища. Портрет Державина его работы, о котором говорит Аксаков, хранится ныне в Государственной Третьяковской галерее, в Москве.

Стр. 309. **Яковлев** Алексей Семенович (1773–1817) — замечательный русский актер-трагик.

Стр. 311. **«Ирод и Мариамна»** — трагедия Г. Р. Державина (СПб. 1809).

Стр. 313. Незавершенная трагедия Державина называется не **«Аталиба»**, а «Атабалибо, или Разрушение перуанской империи».

«Сумбека (кажется, так), или Покорение Казани». — Имеется в виду пьеса Державина «Грозный, или Покорение Казани» (1814).

Стр. 314. ...любил одно осьмиистише... — По-видимому, речь идет о четверостишии «Суд о басельниках»:

Эзоп, Хемницера зря, Дмитрева, Крылова,
Последнему сказал: ты тонок и умен;
Второму: ты хорош для модных, книжных
тем.

С усмешкой первому сжал руку — и ни слова.

Стр. 318. **Кокошкин** Федор Федорович (1773–1838) — театральный деятель, посредственный драматург; сторонник классицистической рутины.

Валберхова Мария Ивановна (1788–1867) — драматическая актриса, переводчица.

Стр. 319. **Брянский** Яков Григорьевич (1790–1853) — выдающийся актер-трагик петербургской сцены.

Стр. 321. **Львов** Федор Петрович (1766–1836) — поэт, приверженец Шишкова.

Стр. 323. **Родзянко** Аркадий Гаврилович (1793–1846) — второстепенный поэт.

ЯКОВ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ ШУШЕРИН

Имя выдающегося русского актера Я. Е. Шушерина (1753–1813) занимает видное место в истории духовного развития молодого Аксакова. Знакомство и общение с Шушериным во многом содействовали формированию взглядов Аксакова на сценическое искусство, становлению тех реалистических принципов театральной эстетики, которые с такой замечательной силой раскрылись в его критических статьях второй половины 20-х — начала 30-х гг. Задумав на склоне лет обширный цикл воспоминаний о самых знаменательных событиях своей жизни, о встречах с наиболее интересными современниками, Аксаков недаром решил посвятить специальную статью Шушерину, истории знакомства и своих отношений с ним.

22 декабря 1853 г. Аксаков извещал Тургенева: «Я начал писать статью из моих воспоминаний об Я. Е. Шушерине, с которым был коротко знаком» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 9). Это первое упоминание в переписке Аксакова о предпринятом им труде. А полтора месяца спустя он сообщал Погодину:

«Я пишу теперь статью «Воспоминания о Шушере и о современных ему театральных знаменитостях с 1808 по 1812 год». Эта статья действительно будет интересна для всякого рода читателей...» (Л. Б., ф. Погодина, II 1/60).

Воспоминания о Шушере были впервые опубликованы в 1854 г. в журнале «Москвитянин» (№ 10, май, кн. 2, стр. 85–118, и № 11, июнь, кн. 1, стр. 119–152) с подзаголовком: «Отрывок из воспоминаний. (Посвящается М. С. Щепкину.)». Текст датирован мартом 1854 г.

Отзывы современников о новой работе Аксакова превзошли все его ожидания. Первым откликнулся Тургенев. «Здесь все — и, разумеется, начиная с меня, — в восторге от Вашего Шушера, — писал он 7 августа 1854 г. — Это просто прелесть; а что касается до слога — мы все у вас должны учиться. Отголосок этих мнений вы найдете в августовском «Современнике», в фельетоне Панаева» («Вестник Европы», 1894, № 2, стр. 486).

«Фельетон», на который ссылается Тургенев, назывался: «Заметки и размышления Нового Поэта по поводу русской журналистики». Характеризуя состояние современной

русской литературы, И. Панаев отмечал, что, к сожалению, еще не перевелись писатели, предпочитающие благородной простоте и безыскусной правдивости всякого рода эффекты и литературные фейерверки. Этим сторонникам «высокопарной прозы» автор статьи противопоставляет Аксакова. «...Никто из нас, не исключая лучших современных беллетристов, — пишет он, — не сумеет ни за что рассказать нам с такою художественною простотою, с таким отсутствием всяких литературных кокетств какой-нибудь факт из своей жизни, свою встречу с каким-нибудь более или менее замечательным лицом, как рассказал нам автор «Записок об уженье» в «Отрывке из своих воспоминаний» свое знакомство с актером Шушериным... Статья его под названием «Яков Емельянович Шушерин и современные ему театральные знаменитости» может служить для всех нас, молодых писателей, образцом, что такое художественная простота, для нас, которые только и кричим о простоте в последнее время, хотя преуспеваем в ней слабо. Личности Шушерина, Яковлева, Дмитревского и других тогдашних теат-

ральных знаменитостей — как живые перед вами в этой статье» («Современник», 1854, № 8, стр. 132). Панаев называет воспоминания Аксакова «превосходной статьей», удостоверяющей в том, как «умно, живо, легко и просто рассказывает автор» (там же, стр. 142).

Отзывы Тургенева и Панаева глубоко взволновали Аксакова и заставили его даже высказать сомнение в обоснованности подобных оценок. «Отзыв ваш о моей статье «Шушерин» был мне очень приятен, — отвечал он Тургеневу, — я верю вашему вкусу и вашей искренности, хотя в то же время признаю выражение, что вы *должны учиться у меня слогу*, преувеличенным выражением вашей дружбы. Я очень благодарен и Панаеву за все его похвалы, тоже несколько излишние...» («Русское обозрение», 1894, № 11, стр. 17–18).

Воспоминания Аксакова, по общему признанию критики, ярко воссоздавали личность Шушерина и черты эпохи. Но, написанные четыре десятилетия спустя после изображаемых событий, они содержали в себе и ряд фактических ошибок, неточностей. На неко-

торые из них тотчас же указал известный мемуарист С. П. Жихарев в статье «Воспоминания старого театрала» («Отечественные записки», 1854, № 10, отд. II, стр. 93–132, и № 11, отд. II, стр. 23–52). Отдельные неточности были обнаружены у Аксакова историками русского театра — см., напр.: М. Лонгинов, «Заметки для истории русского театра» («Русский архив», 1870, стр. 1354–1366); А. Н. Сиротинин, «Яков Емельянович Шушерин» («Русский архив», 1890, № 5, стр. 79–96); А. Н. Сиротинин, «П. А. Плавильщиков, актер и писатель прошлого века» («Исторический вестник», 1891, т. 45, стр. 415–446).

Выступление Жихарева вызвало короткую ответную статью Аксакова «Несколько слов о статье «Воспоминания старого театрала» («Москвитянин», 1854, т. V, смесь, стр. 201–202). Согласившись с некоторыми критическими замечаниями «старого театрала», Аксаков вместе с тем возражал против тона этих замечаний и отдельных резких выражений. Критику Жихарева он учел в последующем издании воспоминаний о Шушерине, куда были внесены соответствующие исправле-

ния.

После первой публикации воспоминания о Шущерине появлялись в печати при жизни Аксакова дважды — в первом и втором издании книги «Семейная хроника и Воспоминания» (М. 1856). Воспроизводится текст второго издания. Имена и названия, обозначенные инициалами или сокращенно, даются полностью по четвертому, посмертному, изданию (М. 1870).

Стр. 328. **Воробьева** Матрена Семеновна (ум. в 1831 г.) — драматическая актриса, дебютировала на московской сцене в 1799 г.

«**Гуситы под Наумбургом**» — драма Коцебу, перев. Н. Краснопольского (СПб. 1807).

...**нестерпимейший актер г. Прусаков** — московский артист Артамон Никитич Прусаков (ум. в 1841 г.).

Стр. 330. **Дмитревский** Иван Афанасьевич (1733–1821) — выдающийся русский актер, драматург.

Стр. 335. **Mlle George** (сценический псевдоним Маргариты Жозефины Веймер) (1787–1867) — известная французская актриса,

гастролировала в России; ее дебют на петербургской сцене состоялся 13 июля 1808 г.

Стр. 337. **Медокс** Михаил Егорович (1747–1822) — театральный антрепренер, содержал частный театр в Москве.

Языков Дмитрий Иванович (1773–1845) — ученый-филолог, переводчик, академик.

Калиграф Иван Иванович (ум. в 1780 г.) — крупный драматический актер московской сцены, ученик Ф. Г. Волкова.

Стр. 339. **«Бедность и благородство души»** — комедия Коцебу, перев. А. Ф. Малиновского (М. 1798).

Стр. 340. **Семенова** Екатерина Семеновна (1786–1849) — выдающаяся трагическая актриса, дебютировала в 1805 г.

«Примирение двух братьев» — комедия Коцебу, перев. с нем. (М. 1801).

«Корсиканцы» — комедия Коцебу, перев. с нем. (Смоленск, 1801).

«Танкред» — трагедия Вольтера, впервые была представлена на сцене 8 апреля 1809 г., напечатана в переводе Н. И. Гнедича в 1816 г.

Стр. 345. **Дюсис (Дюси)** Жан Франсуа (1733–1816) — французский драматург, был

известен своими «переделками» произведений Шекспира.

Стр. 348. *«Эмилия Галотти»* — трагедия Лессинга, перев. с нем. (СПБ, 1784).

Стр. 350. *Костров* Ермил Иванович (ок. 1750–1796) — поэт, перевел первые шесть песен «Илиады» (М. 1787).

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) — министр народного просвещения, президент Академии наук, крайний реакционер.

Стр. 355. *Каратыгин* Василий Андреевич (1802–1853) — известный петербургский трагик (об отношении к нему Аксакова см. вступительную статью к 1 т. наст. изд.).

Стр. 356. *«Людовик XI»* — трагедия К. Делавиня.

«Мария Стюарт» — трагедия Ф. Шиллера. Русский перевод Н. Павлова (М. 1825) был сделан с французской переделки Пьера Лебрюна (1760–1837).

...в самом начале московской чумы. — Эпидемия чумы в Москве свирепствовала в 1770–1771 гг.

Стр. 358. *Актриса М. С. С.* — вероятно, Мария Степановна Сахарова (урожд. Синявская)

(1762–1828) — известная драматическая актриса, выступала на московской, а потом на петербургской сцене.

Стр. 359. Пьеса Коцебу *«Попугай»* вышла в переводе А. Ф. Малиновского (М. 1801).

Юсупов Николай Борисович (1750–1830) — видный царский сановник, в 1791–1799 гг. — главный директор театров.

Стр. 360. **Померанцев** Василий Петрович (ум. в 1809 г.) — московский драматический актер.

Лапин Иван Федорович — московский драматический актер.

Стр. 361. *«Безбожный»* — трагедия Иоахима Вильгельма Браве (1738–1758), перев. И. Елагина (СПб. 1771).

Стр. 363. **Сахаров** Николай Данилович (ум. в 1810 г.). — актер.

«Мисс Сарра Сампсон» — трагедия Лессинга.

«Ярб». — Имеется в виду трагедия Я. Княжнина *«Дидона»*, героем которой является Ярб.

Стр. 366. **Крюковский** Матвей Васильевич (1781–1811) — драматург, его трагедия *«Пожарский»* (СПб. 1807) имела шумный успех.

Стр. 367. **Щеников** Александр Гаврилович (1781–1859) — петербургский актер.

Стр. 368. **Гаррик** Давид (1717–1779) — выдающийся английский актер, замечательный исполнитель шекспировских ролей.

Стр. 373. **Бобров** Елисей Петрович (1778–1830), **Рыкалов** Василий Федотович (1771–1813) — комические актеры.

Стр. 375. **Шумский, современник обоих Волковых.** — Один из первых русских актеров, Яков Данилович Шумский, дебютировал в 1751 г.; Волков Федор Григорьевич (1729–1763) — основатель русского национального театра, актер, режиссер, драматург. Волков Григорий Григорьевич (род. в 1735 г.) — брат Федора Григорьевича, талантливый драматический актер.

Стр. 376. **Офрен** Жан (1720–1806) — французский актер, последние двадцать лет жизни выступал на петербургской сцене.

«**Заира**» — трагедия Вольтера, перев. с франц. Адриана Дубровского (СПб. 1799).

Стр. 377. Аксаков перевел трагедию Софокла «**Филоклет**» не с греческого оригинала, а с французского перевода Лагарпа и издал его

в Москве, в 1816 г. Аксаков предпослал своему переводу стихотворное посвящение Шушерину:

*Когда бы я владел таким в стихах искусством,
Каким одушевлен к тебе почтенья чувством,
Славней Софоклова гремел бы Филоктет,
И в восхищении ему внимал бы свет;
Но скуден дар во мне чувств выражать премены,
Гонения судьбы, страстей противных брань;
Прими ж, о Шушерин, любимец Мельпомены,
Таланту своему благоговенья дань! —*

которое было написано, по словам автора, еще при жизни Шушерина.

Свое посвящение Аксаков сопровождал следующим примечанием:

«Филоктет» был переведен для последнего бенефиса г. Шушерина. Французы, помешавшие многому, между прочим помешали пред-

ставлению сей пьесы; а смерть г. Шушерина, кажется, и навсегда отдалила ее от театра. Итак, она печатается для чтения, а более чтоб почтить память почтенного человека и славного нашего актера. Вырученные деньги предоставляются в пользу бедных».

В «Литературных и театральных воспоминаниях» Аксакова (см. т. 3 наст. изд.) содержится ряд любопытных подробностей об истории этого перевода, а также дополнительных фактов, характеризующих отношения Аксакова и Шушерина.

...французский знаменитый трагик, Larive или Lequen — Ладив Жан (1749–1827) и Лекэн Анри Луи (1729–1778) — известные французские актеры драматической сцены.

Иванов Федор Федорович (1773–1838), *Вельяшев-Волынцев* Дмитрий Иванович (1770–1818) — драматурги-переводчики.

Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842) — историк, журналист, издатель журнала «Вестник Европы».

Стр. 378. *Злов* Петр Васильевич (1774–1823) — драматический актер и певец (бас).

Мочалов Степан Федорович (1775–1823) — драматический актер, отец знаменитого трагика Мочалова Павла Степановича (1800–1848).

Стр. 379. **Майков** Аполлон Александрович (1761–1838) — малоизвестный писатель, в 1821–1825 гг. — директор императорских театров.

Стр. 380. **Глинка** Сергей Николаевич (1775–1847) — писатель; в 1808–1824 гг. издавал журнал «Русский вестник».

Стр. 385. Приводим вариант «**известий о Дмитревском и Яковлеве**», которым заканчивалась статья в «Москвитянине»: «Все это я узнал через год, проезжая через Москву в Петербург; там ожидали меня известия о других утратах. В достопамятном 1812 году не стало Яковлева и Дмитревского. Яковлев кончил жизнь рановременно, в полной силе и цвете возраста человеческого. Он оставил жену и детей; Дмитревский пережил его несколькими месяцами, но успел участвовать в бенефисе, который дан был театральной дирекцией в пользу вдовы и детей покойного Яковлева. Князь Шаховской написал для этого спектак-

ля небольшую пьесу под названием: «Встреча незваных», то есть французов, имевшую тогда сильный современный интерес, и дряхлый старец Дмитревский, уже очень давно оставивший театр, вышел в этой пьесе на сцену в роли старосты, также дряхлого старика. Этот спектакль долго оставался в памяти петербургской публики. В нем было даже слишком много интересов, так что сочувствия, ими возбуждаемые, мешали одно другому; сожаление о потере Яковлева и участие к его семейству; появление на сцену знаменитого артиста, для большей части публики известного как славное имя прошедшего театрального мира, так благородно доказавшего искреннюю привязанность к бывшему своему ученику, и, наконец, живое напоминание едва совершившегося великого события, то есть пребывания и потом изгнания французов из Москвы. Мне рассказывали, что последний интерес ослабил другие, между тем каждого из них было бы слишком достаточно для произведения сильного впечатления, даже сильнейшего, чем произвели они все вместе. Что касается до меня, то я нисколько не

жалею, что не видел этого спектакля. На театральных подмостках должен владычествовать один интерес — искусство. Действительность превращается на них в вымысел, теряет свое значение и действует на душу неприятно. Напротив, вымысел должен казаться действительностью. Настоящую вдову и настоящих сирот Яковлева, выпущенных на сцену для возбуждения сострадания зрителей — было бы для меня грустно, и тяжело, и неприятно видеть. Искусно сыгранная роль дряхлого старика на театре может доставить эстетическое удовольствие как действительность, перенесенная в искусство; но действительный старец Дмитревский, едва живой, едва передвигающий ноги, на краю действительной могилы, *представляющий старика* на сцене — признаюсь — это глубоко оскорбительное зрелище, и я радуюсь, что не видел его» («Москвитянин», 1854, № 11, июнь, кн. I, стр. 152).

ВОСПОМИНАНИЯ О ДМИТРИИ БОРИСОВИЧЕ МЕРТВАГО

Впервые: «Русский вестник», 1857, т. VIII, март, кн. I, стр. 125–133.

С семьей Мертваго и с Дмитрием Борисовичем Мертваго, крестным отцом С. Т. Аксакова, мы впервые встречаемся на страницах «Семейной хроники» и «Детских годов Багрова-внука». Д. Б. Мертваго (1760–1824) — советник уфимского наместнического правления, затем начальник крымских соляных промыслов, позднее — таврический гражданский губернатор.

Настоящие воспоминания были написаны Аксаковым по просьбе Владимира Павловича Безобразова (1828–1889) — известного ученого, публициста, экономиста, академика. Журнал «Русский вестник» получил рукопись воспоминаний С. Т. Аксакова от В. П. Безобразова вместе с его письмом, воспроизведенном в редакционном примечании: «Препровождая к вам для помещения в «Русском вестнике» письмо ко мне Сергея Тимофеевича Аксакова по поводу записок моего деда Дмитрия Борисовича Мертваго, я уверен, что оно будет встречено с благодарностью читателями «Русского вестника»; в этих строках истинно чест-

ный гражданин-современник воскрешает с силой нравственных убеждений память о другом честном гражданине прошедшего времени. Подобные воспоминания никогда не проходят без пользы, особенно в настоящую эпоху пробуждения общественного сознания. Но, кроме того, это письмо возвращает нас, хотя на несколько мгновений, к очарованию «Семейной хроники» и «Воспоминаний», к тому наслаждению, с которым они были прочтены всеми. Наконец, я позволю себе выразить глубокую благодарность всего семейства Д. Б. Мертваго за это живое слово, которым почтил его память автор «Семейной хроники», С.-Петербург, 19-го января, 1857 года» («Русский вестник», 1857, т. VIII, март, кн. I, стр. 125–126).

После первой публикации «Воспоминания о Д. Б. Мертваго» были с некоторыми существенными стилистическими исправлениями включены С. Т. Аксаковым в его книгу «Разные сочинения» (М. 1858). Текст печатается по этому изданию.

Стр. 387. *Едва ли кто-нибудь из читате-*

лей мог так обрадоваться появлению в печати «Записок Дмитрия Борисовича Мертваго». — Первая глава этих «Записок» под названием «Пугачевщина» появилась в январской книжке «Русского вестника» за 1857 г. Полностью они были опубликованы в «Русском архиве» (1867, №№ 8 и 9) и одновременно — отдельным оттиском. Воспоминания С. Т. Аксакова о Д. Б. Мертваго были здесь перепечатаны «вместо предисловия».

Стр. 392. **Сестры Полторацкие** — дочери директора придворной певческой капеллы Марка Федоровича Полторацкого (1729–1795).

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831) — известный русский флотоводец, адмирал.

Стр. 393. **Пуколова** Варвара Петровна (род. в 1784) — фаворитка Аракчеева, ставшая его любовницей с ведома своего мужа, обер-прокурора синода, и нагло вмешивавшаяся в государственные дела.

Стр. 394. **Елагина** Авдотья Петровна (1789–1877) — хозяйка литературного салона в Москве, мать славянофилов Киреевских — Ивана Васильевича (1806–1856), видного пуб-

лициста, философа, и Петра Васильевича (1808–1856), известного собирателя произведений народно-поэтического творчества.

Примечания

Татарские и суконные слободы существуют и поныне, но крепостные крестьяне уже откупались и записались в мещане.

[^^^]

2

Теперь это делается иначе: дощечки прорезываются насквозь, и вместо дна вставляется пробка.

[^^^]

3

Хорошо, очень хорошо, превосходно (франц.).

[^^^]

Замечательно (лат.).

[^^^]

[Водополье озера Кабана, по особенному положению его местности, очень замечательно. Кабан, в который стекается множество весенних ручьев со всего города и соседних окрестностей, очень рано оттаивает от берегов и спускает излишнюю воду по Булаку в реку Казанку, а потом, когда, вышед из берегов, разливается Казанка и становится выше его уровня, Булак принимает обратно мутные и быстрые волны этой реки; Волга же, разливаясь всегда позднее всех меньших рек, снова заставляя переполненные воды Кабана, опять по Булаку, устремляться в Казанку.

Этим любопытным наблюдением и вообще сведениями о настоящем состоянии Казани, а также новейшими сведениями по натуральной истории обязан я молодому ученому, недавно оставившему Казанский университет, Н. П. Вагнеру.]

[^^^]

6

Эта весенняя ярмарка продолжается и теперь, даже в больших размерах, как мне сказывали; вся же местность торга на водах и берегах Булака получила общее название «Биржи».

[^^^]

Арское поле теперь почти не существует: оно все застроено улицами и домами; даже бывшее на нем стародавнее трехдневное гулянье, начинавшееся с троицына дня и продолжавшееся всегда дней пять, перенесено на другое место.

[^^^]

Сады Болховской и рядом с ним Нееловский существуют и теперь, но прежних их имен никто уже не знает: они составляют сад Родионовского института благородных девиц.

[^^^]

Все описания бабочек составлены мною или с натуры, или с рисунков, или по Блуменбаху, поправленному и дополненному нами тогда же. В описаниях моих может встретиться разница с описаниями натуралистов. Она происходит оттого, что многие дневные бабочки имеют два вылета: весенний и осенний, чего мы тогда не знали. Краски весенних бабочек бледнее (ибо они перезимовали), а осенних гораздо ярче. Вообще я не поправляю наших тогдашних ошибочных понятий и взглядов на науку. В пятьдесят лет она ушла далеко.

[^^^]

Теперь это делается иначе, как я узнал от Н. П. В.: ящик имеет стеклянное дно и, обернув его, можно видеть испод бабочкиных крыльев. Так устроены собрания насекомых, принадлежащие казанским ученым Эверсману и Бутлерову.

[^^^]

Эти бабочки теперь не попадают в Казани.

[^^^]

12

Род Сфинкса. Около Казани ее уже нет, и она встречается не ближе Сарепты.

[^^^]

Вероятно, память обманывает меня: булавообразных усов у Барашка, по всем рисункам, нет, а есть обыкновенные усики сумеречных бабочек, широкие в середине и узенькие к концам.

[^^^]

Потому что они сами всегда устраивают себя
в всячем положении.

[^^^]

У Блуменбаха, в русском переводе, он назван Подалирий, но мы всегда произносили по-латыни: Podalirius.

[^^^]

Теперь считается до десяти видов Кавалеров, водящихся в Европе; китайские же бабочки (Aglia и Strex) превосходят их величиною вчетверо.

[^^^]

Чемесов сад существует и теперь, но находится в большом запущении и кроликов уже давно нет.

[^^^]

Вот как тот же почтенный молодой ученый, о котором я уже говорил, Н. П. В., объясняет это странное явление: «Существует четырехкрылое насекомое, называемое Наездник; оно кладет свои яйца в гусеницы бабочек; вышедшие из этих яиц червячки живут в гусенице и питаются ее внутренностями, что не мешает ей превратиться в куколку. В ней совершается превращение червячков Наездника, которые потом и выходят из нее, так что вместо ожидаемой бабочки является отвратительная оса, или Наездник».

[^^^]

Несение неоплодотворенных яиц, из которых развивались гусеницы, было давно известно и впервые подмечено у тли и очень маленькой породы бабочек *Psyche*. Но мы тогда ничего этого не знали. Одновременно с открытием подобного явления, о котором сейчас будет сказано, оно было замечено у шелковичной бабочки.

[^^^]

Брошюра «Три открытия в естественной истории пчелы», написанная незабвенным, так рано погибшим, даровитым профессором Московского университета, К. Ф. Рулье, напечатанная в Москве 1857 года.

[^^^]

Так мы думали тогда, но ошибались: червяков в траве и листьях, и особенно хризалид в хлопчатой бумаге, можно везти безопасно.

[^^^]

Н. П. В. полагает вероятным, что это была Ивовая сумеречная бабочка (*Liparis Salicis*).

[^^^]

Очевидно, что мы ошибались: в числе ночных бабочек находятся самые мелкие породы моли.

[^^^]

Такая необъяснимая особенность замечается и в других породах животных: я читал, что слоны имеют общее кладбище. Во время же мора на зайцев я сам нахаживал до десятка заячьих трупов, иногда на одной небольшой полянке. Вот как объясняет это явление г. Вагнер: «Бабочки собираются около лужиц, сырых мест по дорогам и пьют воду. Многие из них прилетают после акта оплодотворения, за которым у самцов непосредственно следует смерть. Эти-то самцы (а иногда и самки, уже положившие яйца), мучимые жаждою, слетаются к лужам и оканчивают здесь свою жизнь».

[^^^]

Бабочек Павлинов находится три рода: большой, средний и малый.

[^^^]

Мы тогда не знали, что можно раскладывать и сухих бабочек, размачивая их над сырым песком в закрытом сосуде.

[^^^]

Бабочка эта, то есть Сфинкс, Celerio, не водится в России, по словам г. Вагнера. Итак, надобно предположить, что мы приняли за нее какого-нибудь другого Сфинкса.

[^^^]

Известная комедия Бомарше «Женитьба Фигаро» была переведена Лабзиным и напечатана с большим предисловием от переводчика, подписанным буквами: У. М. Переводчик горячо защищает в нем против замечаний какого-то рецензента и превозносит похвалами игру двух московских актрис, сестер Синявских.

[^^^]

Генерал Сабанеев командовал тогда, после Барклая де Толли, 2-м егерским полком. Он блистательно отличился в эту кампанию.

[^^^]

Это обстоятельство рассказано мною подробнее в моих «Воспоминаниях» во «Втором периоде гимназии».

[^^^]

Эта пьеса, появившаяся на сцене в 1802 году, имела блистательный успех, хотя была составлена очень неискусно, не говоря уже о том, что действительная жизнь совершенно искажена в ней, весь ее успех зависел от множества сентенций, в которых были высказаны мысли, тогда еще новые и как будто либеральные. В 1808 году нередко давали эту драму, и она очень хорошо принималась публикой. Надобно заметить, что она была необыкновенно удачно разыграна.

[^^^]

Эти два стиха написаны золотыми буквами под бюстом Александра Семеновича Шишкова, поставленным в Российской академии.

[^^^]

Профессор русской словесности.

[^^^]

Напечатанную еще в 1803 году, но которая только через два года дошла до Казанского университета.

[^^^]

Шишков имел привычку, занимаясь чтением и размышлением, скатывать восковые шарики, обирая и общипывая воск со свечей. Он очень любил разные лакомства, особенно плоды и ягоды.

[^^^]

Шишков читал многим поэму Шихматова, переплетенную с белыми листами, исписанными множеством его собственноручных отметок, замечаний и объяснений. Он наблюдал такой порядок: сначала прочитывал целый куплет, а потом возвращался к замеченному слову или выражению. Я, познакомясь короче, списал себе в особый экземпляр все замечания Шишкова, но потерял его и теперь пишу на память. Я мог бы припомнить гораздо больше, но считаю достаточным этого образчика. По совести должен я сказать, что Александр Семеныч употреблял хитрость, читая Шихматова: он выбирал или лучшие места, или такие выражения, которые, будучи им объяснены, переставали, как он думал, казаться читателю странными.

[^^^]

Урожденная Шельтинг. Она была голландка и лютеранка. Дед ее был приглашен из Голландии в русскую службу и дослужился до адмиральского чина. По-французски она говорила очень плохо, за что и страдала впоследствии в большом свете, куда судьба неожиданно ее затащила. Она вышла за Шишкова вдовою; но я забыл фамилию первого ее мужа.

[^^^]

Они вовсе не были родня Казначееву, но он назвал их родственниками, чтобы иметь более права познакомить своих приятелей с домом дяди.

[^^^]

Этот француз умел подделаться впоследствии к Шишкову похвалами России и русскому языку.

[^^^]

Петр Андреевич Кикин был одним из самых горячих и резких тогдашних славянофилов; он сделался таким вдруг, по выходе книги Шишкова: «Рассуждение о старом и новом слоге». До того времени он считался блестящим остряком, французолубцем и светским модным человеком, как он сам рассказывал мне и Казначееву. Книга Шишкова образумила и обратила его, и он написал на ней: «Mon Evangile» (Мое евангелие). Я видел сам эту надпись, и хотя был очень молод, но мне показалось это смешно. В свете называли Кикина новообращенным, новокрещенным, ренегатом, и, точно, как человек перешедший быстро от одного убеждения к другому, он слишком горячился и впадал в крайности, которые никогда не ведут к убеждению других. Он беспощадно и грубо, прямо в глаза, казнил своих прежних знакомых мужчин, дам и девиц, недавно знавших его совсем другим человеком. Он продолжал считаться остряком, и язык его называли бритвой. С глубоким уважением предался он Шишкову, который сам

очень его любил и уважал.

[^^^]

Родная сестра бывшего некогда одесским комендантом генерал-майора Кобле.

[^^^]

М. М. Бакунин был губернатором в Петербурге.

[^^^]

Впоследствии крестьяне упросили положить на них какой-нибудь оброк, говоря, что им совместно против других крестьян. Оброк был положен, разумеется, небольшой, да и тот собирался и употреблялся на их же собственные нужды. Вот как Шишков понимал помещичье право.

[^^^]

* Тогда была мода ходить с толстыми сучковатыми палками (la massue — палка, дубина).

[^^^]

Я не поверил тогда, что она написана Батюшковым, но М. А. Дмитриев недавно доказал, что эта пародия точно принадлежит Батюшкову.

[^^^]

* У Шихматова почти не было рифм на глаголы.

[^^^]

Эта картина впоследствии была в Москве у родного племянника Державина, А. Н. Львова, скончавшегося в 1849 году.

[^^^]

Перевод Филоктета.

[^^^]

Недавно узнал я, что напечатана трагедия
«Василий Темный».

[^^^]

Урожденная Дьякова, вторая супруга Державина.

[^^^]

Может быть, не всем известен этот технический термин. На «считке» автор или доверенное от него лицо читает вслух всем актерам пьесу, приготовляемую к представлению. Этим чтением дается смысл и тон, который автор желает сообщить своей пьесе; актеры и актрисы обязаны соотноситься с ним. Так по крайней мере бывало прежде.

[^^^]

«Мизантроп» вскоре был дан в бенефис г-жи Валберховой. Державин поручил мне взять для него бенуар, но, кажется, сама бенефициантка отвезла билет и атласную афишу знаменитому нашему барду. «Мизантроп» был разыгран весьма посредственно и даже нетвердо. Я говорил об этом Шаховскому на предпоследней репетиции; он отвечал мне, что теперь нет времени хорошенько поставить пиесу, но что впоследствии она пойдет отлично. Брянский был положительно нехорош в роли Крутона (Альсеста), но, правду сказать, я не знаю, почему влюбленный Альсест у Мольера называется мизантропом? Скорее можно назвать его филантропом, потому что он, с начала до конца пиесы, горячится, выходит из себя от гнева на людей за их дурные поступки. Где же тут ненависть? Это скорее любовь. Мизантропа, в настоящем смысле, Брянский играл недурно: то есть был холоден и груб; но характер Альсеста, ярко нарисованный Мольером, требовал совсем другого исполнения. М. И. Валберх, или Вал-

берхова, играла Прелестину (Селимсну, grande coquette) также без одушевления. Кн. Шаховской это чувствовал и на репетиции беспрестанно бормотал: «Марья Ивановна, montez la scene, montez la scene» <больше подъема>. Скажут, может быть, что кокетка и должна быть холодна, но в сценическом исполнении речь идет не о холодности в душе, а об одушевлении, об оживлении, так сказать, целой роли. Притом есть огонь внешний, искусственный, огонь кокетства, без которого никакая красота не увлекла бы Альсеста. Сосницкий, не помню в какой роли, был просто карикатурен.

[^^^]

Карамзин жил тогда в Петербурге, на Фонтанке, в доме Муравьевой.

[^^^]

Я бывал у Карамзина не как любитель словесности или словесник, а как его земляк, сосед и дальний родственник.

[^^^]

Из оперы «Водовоз».

[^^^]

Статья эта написана прежде всех других моих статей, а именно в мае 1852 года.

[^^^]

Крепостная девушка содержателя казанского театра П. П. Есипова, который, по страсти своей к театру, посвятил всю свою жизнь на устройство его в Казани, что, разумеется, стоило ему очень дорого; но Казань обязана П. П. Есипову полною благодарностью; Казань имела замечательный театр тогда, когда губернских театров, и то весьма плохих, в целой России было очень мало. Главные актеры и актрисы казанского театра были следующие: г. Волков, режиссер и театральный utilite, на всякие роли; г. Грузинов на роли благородных отцов; г. Расторгуев на роли молодых любовников, повес и весельчаков; г. Прытков на роли слуг. Это были актеры наемные. Все остальные принадлежали г. Есипову: Федор Львов — герой и первый любовник; Михайла Калмыков — главный комик; Николай Комяков — буф-арлекин; Анисья Комякова — любовница в драмах и комедиях; Фекла Аникиева — первый талант на роли первых любовниц в трагедиях, драмах, комедиях и операх; Марфа Аникиева — молодая любов-

ница, предпочтительно в операх. Впрочем, в случае надобности — все играли в операх. Других актеров и актрис не помню.

[^^^]

Торжеством г-жи Воробьевой была роль Берты в «Гуситах под Наумбургом». Я сам бывал свидетелем, как все плакали навзрыд, слушая страданья матери, и сам плакал вместе с другими зрителями.

[^^^]

Г-жа Пети, не принятая на московскую сцену, определилась на какой-то губернский театр и вскоре, как я слышал, умерла. Что сделалось с ее мужем, — не знаю.

[^^^]

Мой бесенок (франц.).

[^^^]

Я много игрывал в Казани на университетском театре, что известно уже моим читателям.

[^^^]

Степан, еще будучи мальчиком, был куплен Шушериным, кажется, на имя Я...ва и воспитан в неге и баловстве. В настоящее время он уже был вольноотпущенным и служил Шушерину по найму; и господин и слуга очень любили друг друга.

[^^^]

Посторонними посетителями бывали: Д. И. Языков, В. Н. Берг, Н. И. Гнедич, Н. И. Ильин, С.....в и некоторые актеры.

[^^^]

Разумеется, в том числе были роли, которых я никогда не игрывал, но, чтобы заставить Шустерина проходить их со мной, я его обманывал и говорил, что их играл или что должен буду играть на домашнем театре у Шишкова и у Лабзина.

[^^^]

Шушерин был совершенно прав: чудный талант К. С. Семеновой не развился, и игра ее с каждым годом становилась слабее до самого окончания ее театрального поприща.

[^^^]

Трагедия «Отелло» была переведена с французской переделки Дюсиса г-м Вельяминовым.

[^^^]

Шушерин рассказывал мне, что голова у Дмитревского давно начинала трястись, но что когда бывал он на сцене, это было не приметно, а равно и недостаток его произношения.

[^^^]

Гекзаметром этот стих переведен Гнедичем так: «Только сего не дается свирепого пса мне уметить».

[^^^]

Попробовать эту переделку на сцене мне не удалось.

[^^^]

Шушерин употреблял слово искусство не в том значении, которое придано ему теперь, а в смысле умения, мастерства.

[^^^]

В. А. Каратыгин, пользовавшийся также громкой славой, был некоторым образом также George в своей игре, хотя я ставлю его в одном отношении выше: роли у него были также сделаны, то есть выучены перед зеркалом с разными заранее придуманными, эффектными выходками; пластика — также иногда великолепно, хотя хриплый, подорванный голос и нерезкие, малоподвижные черты лица мешали ему достигнуть того совершенства, которым отличалась в мимике George; но вот в чем он превосходил ее: все его роли были обдуманы и проникнуты мыслью; характеры верны и выдержаны, и он грешил только в излишней эффектности внешнего исполнения, не проникнутой внутренним огнем. Вообще у него мало выражалось чувства, вероятно подавляемого несчастною методою, но была сила, отчасти заменявшая чувство. Лучшими его ролями я считаю: Людовика XI и особенно Лейчестера в «Марии Стюарт», в которой актер играет актера на сцене. Я сказал, что пластика была у него иногда великолепно

на, потому что были роли, в которых эта пластика являлась не совсем изящною.

[^^^]

В каком — не помню. Вообще должно сказать, что память моя, сохранив верно нить происшествий и многие выражения Шушерина, изменила мне в некоторых именах и годах; впрочем, годов я и тогда хорошенько не знал.

[^^^]

В трагедиях «Хорев», «Синав и Трувор» и «Семира».

[^^^]

В 1788 году Дмитревский играл эту роль в Москве, и в объявлении было сказано: «Лорд Граф Кларандон, любовник Евгениин и мнимый муж ее, г-н Дмитревский, придворного Санкт-петербургского Российского Театра первый актер».

[^^^]

Вероятно, это было в 1793 году, потому что в комедии «Школа злословия», в первый раз игранной в этом году, роль дяди Клешнина играл Плавильщиков, что и напечатано в самой комедии,

[^^^]

Он уже в это время оставил театр.

[^^^]

Сахаров славился в ролях злодеев. В самом деле, в тоне его голоса, в выражении его глаз и всего лица было что-то злобное, хотя, по словам Шушерина, он был предобрый мальчик.

[^^^]

Удивительно, как Шушерин, не получив никакого образования, был во многих понятиях выше не только современных актеров, кроме Дмитревского, но выше многих литераторов; я верил ему тогда на слово и только много лет спустя оценил верность взглядов Шушерина по достоинству.

[^^^]

Озеров написал еще в 1798 году трагедию из русской истории: «Ярополк и Олег», которая была играна, но успеха не имела.

[^^^]

Так называл Шушерин свою мебель и разные домашние вещи.

[^^^]

В это время в Москве уже давно был казенный театр.

[^^^]

Драмы Н. И. Ильина: «Лиза, или Торжество благодарности» и «Рекрутский набор» долго держались на сцене обоих столичных театров и принимались публикою с необыкновенным восторгом. В «Рекрутском наборе» весь театр плакал от умиления и жалости.

[^^^]

Комический актер Рыкалов в свое время пользовался большою известностью и даже славой, но я не был согласен с тогдашним общим мнением. Рыкалов имел важный недостаток в произношении: он не то что заикался, но язык у него ворочался не свободно, и Шушерин всегда говорил, что у него рот набит кашей; у него была и натура, но натура — фарс. Большинству публики нравились и нечистый выговор и фарс. Я, вероятно, Рыкалова видел в роли Эдипа.

[^^^]

В «Недоросле» Бобров играл Скотинина с неподражаемым совершенством, да и физика его вполне соответствовала этой роли. Вообще Бобров был замечательный актер и стоял в искусстве несравненно выше Рыкалова, хотя не пользовался такой славой.

[^^^]

Комическое лицо в комедии «Школа злословия», которое Бобров играл мастерски.

[^^^]

Недавно на московской сцене было подобное странное явление: превосходный наш комический актер П. М. Садовский играл в свой бенефис «Короля Лира». Хотя г-н Садовский так хорошо понимает искусство, что, без сомнения, роль его была обдуманна и поставлена верно, но успеха он не имел и не мог иметь. К сожалению, я не видал этого замечательного спектакля.

[^^^]

Тогда пенсии актерам выдавались из императорского кабинета, который помещался в здании, теперь перестроенном, где находится императорская Публичная библиотека.

[^^^]

Знаменитый, великолепный французский трагик.

[^^^]

Заира, вы плачете? (франц.).

[^^^]

Отрывок из этого перевода Кokoшкин прочел в «Обществе любителей словесности при Московском университете» в 1815 году, а в 1821-м, решительно за перевод «Филоктета», я был выбран единогласно в члены общества. Чистосердечно говорю, что теперь мне смешно вспомнить, какой успех имело это чтение! Прочитанный отрывок поместили в «Трудах общества», откуда перепечатали его в «Собрание образцовых стихотворений». Как легко было тогда попасть в образцы... зато ненадолго!

[^^^]

Шушерин говорил: «Репетиции — душа пьесы; только тогда пьеса получает полное достоинство, когда хорошо срепетирована. Посмотренных людей никогда на репетиции пускать не должно: они мешают и развлекают, и притом при них совестно будет заметить что-нибудь другому и самому получить замечание. Генеральная репетиция должна происходить точно с такою же строгою отчетливостью, как и настоящее представление. Как бы пьеса ни была тверда, сколько бы раз ее ни играли — непременно надобно сделать репетицию вполголоса, но со всеми интонациями, поутру в день представления. Во всю жизнь мою я убеждался в необходимости этого правила. Нередко случалось играть мне, будучи не совсем здоровым, или несколько рассеянным, или просто не в духе — утренняя репетиция оставалась свежою в памяти и помогала мне там, где я мог бы сбиться и сыграть неверно». Я предоставляю всем артистам решить, до какой степени справедливо мнение их славного предшественника.

[^^^]

Я спрашивал об этом Шушерина; он сказал мне, что эта перемена произошла от головного убора в виде венца на голове с длинными перьями и что под подошвы ног были подложены картонные стельки.

[^^^]

Известия о Дмитревском и Яковлеве, сообщенные мною в конце этой статьи, напечатанной в первый раз в «Москвитянине», в 1854 году, оказались весьма неточными. Я понадеялся на свою память и, говоря о слышанном мною за сорок лет, не навел справок и перепутал как порядок хронологический, так и самые события. Исправляю теперь мою непростительную ошибку по источникам самым достоверным.

[^^^]

Деньги точно были заплачены, только не помню, при жизни ли адмирала.

[^^^]

Этот дом стоит самым оригинальным образом: он не на улице, не в переулке и не на площади — к нему ведет особый проезд, точно как в чувашских деревнях. В этом доме, принадлежавшем, после кончины Дмитрия Борисовича Мертваго, сначала А. П. Елагиной, а потом покойному сыну ее, Ивану Васильевичу Киреевскому, доме, воспетом звучными стихами Языкова, — много лет собирался известный круг московских литераторов и ученых. Сколько глубоких мыслей, светлых взглядов, честных порывов любви к просвещению и литературе было высказано и принято в этом доме... и как немного осталось в живых из прежних его посетителей. В числе самых горьких и свежих утрат находятся достойные и незабвенные братья И. В. и П. В. Киреевские.

[^^^]